



ЮЛИЙ
КРЕЛИН

Хирург

Хроники одной больницы

*Дни
хирурга
Мишқина*

“КНИГА - СЭФЕР”
2013



Хроники одной больницы

Юлий Крелин

Хирург

«Книга-Сэфер»

1970-1973

Крелин Ю. З.

Хирург / Ю. З. Крелин — «Книга-Сэфер»,
1970-1973 — (Хроники одной больницы)

Самый известный роман великолепного писателя, врача, публициста Юлия Крелина «Хирург», рассказывает о буднях заведующего отделением обычной районной больницы. Доктор Мишкин, хирург от Бога, не гоняется за регалиями и карьерой, не ищет званий, его главная задача – спасение людей. От своей работы он получает удовлетворение и радость, но еще и горе и боль... Не всегда все удается так, как хочется, но всегда надо делать так, как можешь, работать в полную силу. О нравственном и этическом выборе жизни обычного человека и пишет Крелин. Прототипом главного героя был реальный человек, друг Ю. Крелина доктор Михаил Жадкевич. О нем рассказывается в книге – «Очень удачная жизнь».

© Крелин Ю. З., 1970-1973

© Книга-Сэфер, 1970-1973

Содержание

Вместо предисловия	5
ЗАПИСЬ ПЕРВАЯ	7
ЗАПИСЬ ВТОРАЯ	16
ЗАПИСЬ ТРЕТЬЯ	22
ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТАЯ	30
ЗАПИСЬ ПЯТАЯ	44
ЗАПИСЬ ШЕСТАЯ	55
ЗАПИСЬ СЕДЬМАЯ	61
ЗАПИСЬ ВОСЬМАЯ	68
ЗАПИСЬ ДЕВЯТАЯ	70
ЗАПИСЬ ДЕСЯТАЯ	77
ЗАПИСЬ ОДИННАДЦАТАЯ	83
ЗАПИСЬ ДВЕНАДЦАТАЯ	88
ЗАПИСЬ ТРИНАДЦАТАЯ	90
ЗАПИСЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ	95
ЗАПИСЬ ПЯТНАДЦАТАЯ	100
ЗАПИСЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ	108
ЗАПИСЬ СЕМНАДЦАТАЯ	113
ЗАПИСЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ	116
ЗАПИСЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ	128
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТАЯ	133
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ	137
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ	141
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ	144
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ	148
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ	151
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ	156
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ	162
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ	172
ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ	173
ЗАПИСЬ ТРИДЦАТАЯ	178
ЗАПИСЬ ПОСЛЕДНЯЯ	185



Юлий Крелин Хирург

Вместо предисловия

Часто вспоминаю слова моего друга, хирурга и писателя Юлия Крелина (передаю по памяти, не буквально): «Когда я за операционным столом, и в руках моих жизнь одного-единственного человека, – будь тут внезапная война или конец света, и от меня будет зависеть спасение человечества ценой жизни вот этого моего больного – я не побегу спасать человечество этой ценой, потому что я ЗАНЯТ одним и не имею права его бросать – я останусь с ним, со СВОИМ больным, я продолжу СВОЮ работу, пока могу...»

Владимир Леви, психолог

Литературный герой, если это характер подлинный, продолжает жить и вне книги о нем; писатель, как Господь Бог, создал его из праха, из ничего, из мелькнувшей мысли, ощущения – и дальше у него начинается уже своя собственная жизнь.

У Крелина, среди множества очень любопытных людей, его книги населяющих, есть один самый удивительный – доктор Мишкин, хирург от Бога. Телевидение повторяет порой крелинский сериал о докторе Мишкине, героя там играет Ефремов. Хороший фильм, он и сегодня, спустя годы,

живой. Но пусть простят меня поклонники покойного Ефремова, которого я тоже высоко ценю, не получился у него Мишкин таким, как написан он у Крелина. Там действительно удивительный характер – личность неожиданная, необычайно обаятельная. Я очень советую тем, кто эту книгу не читал и кому она попадется, прочесть ее – «Хронику одной больницы», толстый том, где несколько повестей, в каждой действует Мишкин, а в конце авторское послесловие, своеобразный комментарий к судьбе главного героя: Крелин рассказывает о прототипе героя, докторе Михаиле Жадкевиче.

Это написано с такой страстью, силой, любовью и яростью, там столько сказано о человеке, с которым Крелин работал вместе много лет, его ровеснике, о том, как он умирал, заболев тяжелой формой рака, причем сам Жадкевич такие именно случаи оперировал; и то, как все врачи больницы боролись за жизнь товарища; как ему неожиданно стало лучше, он даже вернулся к работе, стал оперировать, а потом вынужден был снова уйти домой и... Это, повторяю, написано с такой силой, любовью и яростью, такая в этом напряженность, азарт, подлинный драматизм, сложность человеческих отношений...

Думаю, если бы Крелин и не написал больше ничего, одного этого было бы достаточно, чтобы убедиться: Казакевич был прав, герой Крелина останется и будет жить в нашей литературе

Феликс Светов. Из предисловия к книге Ю. Крелина «Извивы памяти»

ЗАПИСЬ ПЕРВАЯ

Доктора-хирурга Мишкина Евгения Львовича вызвали в горздравотдел по поводу жалобы на него. Сейчас будут обсуждать правильность действий его. Он несколько удивлен и озабочен, естественно. Пожалуй, даже обижен. Он сделал больше, чем мог, и вдруг... Почему и от кого жалоба? Сейчас будет все известно. А пока Мишкин Евгений Львович едет и перекачивает свое, возможно, праведное недоумение в не очень праведный гнев, почему-то направленный на комиссию горздрава.

Причем тут комиссия!

Приехал.

Маленькая комната. Около десяти человек, худых и полных, седых и лысых, с галстуками и без галстуков, с сигаретами и без них, сидят в разных местах комнаты, и за столами, и так, на стульях перед пустым местом. Вид почти у всех спокойный, даже благодушный. Здесь все без исключения хирурги.

Это и есть хирургическая комиссия горздравотдела, которая собирается здесь раз в неделю, для того чтобы разбирать жалобы трудящихся на те или иные неправильные, с точки зрения этих трудящихся, действия хирургов города. Это комиссия при главном хирурге города. Остальные хирурги города называют ее «черный трибунал».

Все разговаривают друг с другом, никто не обращает внимания на, так сказать, подследственного.

Наконец председательствующий, один из хирургов, сидящих за столом, постучал по нему зажигалкой.

Председатель. Ну, кажется, время. Да и ждать некого уже. Хватит манежить пострадавшего. Давайте начинать.

Один из членов комиссии, с большой нелысеющей и несedeющей шевелюрой, засмеялся:

– Если хотите, можно назвать его и пострадавшим, но сдается мне, что пострадавший не он, а вовсе... А?! – Громко хохочет. К нему присоединяется большинство присутствующих.

Председатель. Ну, пошутили, и будет. Назовем его обсуждаемым. Прошу вас, коллега. Вот вам текст жалобы. Инспектор, готовивший материал, заболел. Читайте сами, пожалуйста, вслух.

Мишкин. «Уважаемая редакция...»

Член комиссии толстый, с гладкой прической. А кому жалоба? Не нам?

Член комиссии с шевелюрой. А вы часто видите жалобы нам? Это всегда куда-то, а уж нам – откуда-то. Почему-то им сдается, что газета, партийные организации – это высшие медицинские инстанции. (Опять хохот.)

Член комиссии худой, с длинным лицом. Что зря говорить. Первый раз, что ли, пересылают нам жалобы оттуда. Читайте.

Мишкин. «Наш сослуживец, товарищ по работе, находился в больнице по поводу инфаркта сердца. Терапевты его вылечили и он должен был уже выписаться, и каково же было наше удивление, когда однажды придя в больницу, мы узнали, что наш работник был ночью разрезан хирургами, хотя он и находился в терапевтическом отделении без предварительного разговора с родственниками даже...»

Член комиссии с трубкой в зубах. Что вы читаете, как пономарь, без знаков препинания?

Мишкин. Я читаю, как написано.

Член комиссии с седой шевелюрой. Я помню, у нас в больнице пришлось тоже оперировать больного с инфарктом. У него вдруг старая язва желудка дала прободение. Все в порядке

было, но на нас пожаловались: сказали, что это от лекарств. На терапевтов жаловались. Ну, им объяснили.

Член комиссии маленький и круглый. Мне тоже как-то пришлось оперировать инфарктного больного: желчный пузырь лопнул. Шутка ли! Все это было, правда, на глазах у родственников. Сами видели, какие боли, сами просили быстрее оперировать. Выздоровел мужик. Я вам скажу, что иногда, когда родственники ближе, нам бывает спокойнее.

Член комиссии самый старый. И все-таки, когда родственники не висят над душой, работать легче.

Маленький и круглый. О чем говорить? Конечно. Но скажу вам, что если их пускаешь каждый день, хоть они и лезут куда не надо все время, но спокойнее. И жалоб меньше, а это шутка ли!

Толстый с гладкой прической. Все эти жалобы лично меня не волнуют. Запишешь историю болезни как следует быть – все, бояться нечего.

Член комиссии с шевелюрой (захохотал). О! Главное в нашем деле, сдается мне, хорошо записать про то, как мы прекрасно все сделали.

Председатель. Шутки в сторону, товарищи. Читайте дальше. Зачем вы оперировали его? Что случилось?

Мишкин. Да мы... У него...

Самый старый. Читайте, читайте, все узнаем.

Мишкин. «...без предварительного разговора с родственниками даже он был оперирован, а им сказали, что его пришлось оживлять. Мы не вдаемся в подробности и детали медицины. Но результат этих действий столь печальный, что мы обращаемся к редакции с просьбой помочь нам разъяснить целый ряд недоумений».

Худой с длинным лицом. Нашли адрес! А к вам-то они не обращались с вопросами, недоумениями? Надо бы к докторам сначала.

Мишкин. Ваш вызов для нас полная неожиданность.

Маленький и круглый. Надо обязательно как следует, подробно и долго разговаривать с близкими, особенно когда оживление. Шутка ли!

Мишкин. Да мы разговаривали не раз. Пишут-то не родственники.

Маленький и круглый. Больше. Мало, значит. Шутка ли, ведь очень трудно, наверное, объяснить, что родственник их, сослуживец умер, и его пришлось оживлять. Воскрешать! – шутка ли!

Толстый с гладкой прической. А что там особенного разговаривать. Если ты все правильно сделал – ничего не страшно. Главное – записать надо. А дело известное – если жалоба может быть, лучше не связываться.

Председатель. До чего же нас испортили жалобы. Мы больше думаем о записях. Вы подумайте, что вы сказали – «не делать». А если надо?

Мишкин. Простите меня. Какие записи? Ведь есть приказ министра писать меньше, только необходимое.

Толстый с гладкой прической (быстро вынул руку из кармана и из своей большой кисти, которая, наверное, и есть «умная рука хирурга», скрутил фигу). Вот, видал! Ты прости, но все эти указания и приказы – ерунда, коту под это, вот так. Министр здравоохранения может давать любые указания, а у следователя свои инструкции. У него есть один документ – история болезни. Если там написано все – ты спасен. Не написал – погиб.

Мишкин. Так что ж, я своей историей доказываю свою невиновность?!

Толстый с гладкой прической. А то!

Мишкин. Ну уж! Есть законы права – существует презумпция невиновности. Что, я, что ли, своей историей болезни должен отбиваться от его подозрений?! Нет, я для следователя

невиновен, если он подозревает – он должен доказать, обосновать свои подозрения, а не я должен отбиваться. Следователь должен отбиваться.

Член комиссии с шевелюрой. Сдается мне, что вы слишком за это понимаете, как сказали бы у нас на Привозе. Вы когда-нибудь были у прокурора, в прокуратуре? Нет. А когда вам там скажут, что вы лечили неправильно, потому что так в письме написали жена, сын, сослуживец, – вы, именно вы, а не кто другой, должны будете доказать, что правильно лечили вы, вы, а не следователь. Вы должны доказать, что вы мастер. И именно историей болезни своей! А?!

Мишкин. Да нет же! Чтобы у следователя повернулся язык слово даже сказать о неправильном лечении – мало жалобы, эту мысль надо доказать, прежде чем в слова громкие воплотить. (Все смеются.)

Член комиссии с шевелюрой. Молодой человек! Сдается мне, что все это вы читали не в медицинских журналах. Вы теоретизируете, а мы тут вас еженедельно защищаем. Спасаем.

Мишкин. Значит, надо менять систему контроля...

Председатель. Я думаю, мы дадим возможность все ж сегодня дочитать до конца, а?

Маленький и круглый. А я вам скажу, что коллега частично прав. Ну, не совсем, конечно. Уж чересчур, по молодости. С какой стати следователю-то, когда грозит не ему...

Мишкин. Но таково право...

Толстый с гладкой прической. Что ты – «право» да «право». Здравый смысл – кому что-то грозит, тот и защищается.

Мишкин. Но это здравый смысл бесправного племени. А государство должно стоять и стоит на страже личности, и вы не правы.

Маленький и круглый. Вы подождите, подождите. Мы все совершенно безграмотны. А это право – шутка ли! Так вот, в больнице у нас было несчастье – больной погиб неожиданно. Жалоба была. Так вот, мы ходили по медицинским инстанциям – человеку никакой веры. Написано или не написано и что написано. Хоть тресни. Ну, как и положено. Как и мы. И скажу вам, поверили нам только следователи. Они не бумажки взяли, а свидетелей спросили. И свидетелю, человеку, поверили. Так что частично коллега прав.

Мишкин. Вот и лучше, чем с вами, простите, я не лично вас имею в виду, чем с вами – лучше с судом. Здесь инструкции да распоряжения, а в суде закон.

Седой с шевелюрой. А мы не закон, что ли?

Председатель. Ладно, кончайте. Мы не закон – мы распоряжения, инструкция, циркуляр, методические письма. Прошу вас, читайте.

Мишкин. «Во-первых, нам не совсем ясно, как человека, лежащего с таким тяжелым сердечным заболеванием, можно оперировать...»

Самый старый. Логика поразительна! Оживление – и вдруг такой вопрос.

Мишкин. «Во-вторых, нам известно, что сегодня уровень медицины достаточно высок и оживления проводят без разрезания грудной клетки ножом, а закрытым методом...»

Седой с шевелюрой. Смотри-ка – грамотные все. Сколько вот было жалоб – все от грамотности.

Маленький и круглый. От полуграмотности.

Седой и лысый. И лечить трудно. В индусских ведах еще пять тысяч лет назад писали: «Дураков лечить легче». Боюсь, что нам сейчас лечить труднее, чем им тогда. Во-первых, дуракам-то тоже, наверное, лечить легче... (Все смеются.)

Седой с шевелюрой. Ну, древних индусов дураками не назовешь.

Член комиссии с шевелюрой. Сдается мне, что нам надо договориться о терминах. Дурак даже если узнал что-то – все равно дурак. А?! (Хохочет.)

Толстый с гладкой прической. Нет, это уже полудурак. (Все смеются.)

Самый старый. Полудураки – это мы.

Седой и лысый. Нет, мы полуумные. А ведь кто-то говорил, что знания не есть признак ума.

Председатель. Ведь так будет до завтра.

Мишкин. Я прочел недавно в одной книге, что дурак – это тот, кто считает себя умнее меня.

Член комиссии с трубкой в зубах. Тогда большинство дураков, и тогда всех лечить легче. И всем легче. Ну, давайте дальше. Вы-то уж совсем зря разговорились, коллега.

Мишкин. Я для беседы. К слову пришлось. Я ведь сейчас просто читчик.

Член комиссии с трубкой. А может, можно рассказать суть дела, а не читать все подряд?

Председатель. К сожалению, заболела инспектор, которая готовила материал. Так что мы решили экспромтом, разбираться на ходу. Но для этого нужно терпение, товарищи. Дайте дочитать.

Мишкин. «Насколько нам известно, речь шла не только об известном нам по газетам массаже сердца, т. к., по слухам, шивали какие-то сосуды...»

Толстый с гладкой прической. Что, порвали что-то, небось?

Маленький и круглый. Воистину санпросветработа стала абсолютно вредной. Вот бы взяли да обучили всех нас контролировать работу часовщиков и мастеров телеателье. Шутка ли! Все знают, а ведь ничего не знают. Кстати, помню, пришлось оживлять одного больного – кровотечение, так я делал массаж, а помощник перевязывал сосуды в это время.

Член комиссии с трубкой. Понимаешь, да? Рассуждаешь сейчас. А ты помнишь, когда это все только начиналось и я, делая массаж сердца, порвал сосуд, и ничего нельзя было сделать? Помнишь? Ты с комиссией приезжал. Так что ты сделал со мной?! Ты же на мне камня на камне не оставил. Я до сих пор помню.

Маленький и круглый. Во-первых, мы тебя от суда спасали...

Член комиссии с трубкой. От суда! Мы всегда спасаем от суда...

Маленький и круглый. Я тогда молод был, все знал, как другим жить. Потом, сам-то я тогда никогда не делал этого...

Председатель. Между прочим, когда Барнард пересадил сердце, француз Дюбое его осудил за это, а вскоре и сам пересадил. Так что чего уж поминать.

Самый старый. А все оттого, что персонал совершенно распушен. Как это так, что известно всем о зашиваемых сосудах. И тут, конечно, уже ясна ваша вина. Никто не должен знать, что происходит в операционной.

Маленький и круглый. Ну, уж знаете! Передайте, пожалуйста, водички. Все, что происходит и у нас и где угодно, должно быть в условиях абсолютной гласности. Нет, нет! Не перебивайте. Да, да. Гласность, гласность! И чтобы не было такой ситуации, когда мы боимся ее.

Толстый с гладкой прической. Да вы что?! Мы такой психоз породим в ответ. Наша кровь, гной, грязь, осложнения приведут в ужас непосвященных. Нет, весь ужас нашей работы должен быть скрыт от всех.

Маленький и круглый. Когда-то Амбруаза Паре ругали, что он не по-латыни книги медицинские пишет. Нельзя, говорили ему, чтобы непосвященные могли читать. Врачи анафеме предавали – боялись за себя. Ничего. Все по-прежнему. От гласности плохо миру нашему не бывало.

Седой и лысый. Нет. Как сказал мудрец: «О тайнах сокровенных невеждам не кричи, и бисер знаний ценных пред глупым не мечи».

(Все кричат, перебивая друг друга. Все про гласность суждение имеют, рассуждают. Большинство за тайну.)

Председатель. Подождите! В конце концов, пора покончить с тайной и предать гласности эту жалобу. При чем тут сосуды, коллега? Это же не кровотечение – инфаркт. В чем дело? Объясните. И действительно, почему вы делали открытый массаж?

Седой с шевелюрой. Я раньше, когда шли первые оживления, тоже всегда делал открытый. А сейчас только закрытый. Это не только безопасней, но, по-моему, и эффективней.

Самый старый. А я вам скажу, что все эти оживляющие массажи сердечные – пустая фанаберия. Конечно, надо. Если человек умирает – использовать надо все; но веры в это у меня нет.

Седой и лысый. Если бы наше оживление никогда бы даже не помогало, мы должны были бы его выдумать. Если Бога даже нет, его надо выдумать. Оживление вселяет и надежду и веру; как в медицину со стороны обывателя, так и со стороны врача в свои силы.

Председатель. Минуточку, товарищи. Прошу вас, ответьте, коллега.

Мишкин. Оживление было постольку поскольку, главное...

Член комиссии с трубкой. Как вы можете говорить: «Оживление постольку поскольку». Все ж это оживление, а не перевязка. Это облегченное представление и вызывает в конечном итоге жалобы.

Председатель. А вы дайте договорить хотя бы. Я уже не говорю – дочитать. Ну, просто сил нет. Уже скоро час сидим, а даже жалобы не можем прочесть. Все-таки бюрократы нам необходимы, коль вместо суда у нас комиссии по разбору. Сейчас бы чиновник, инспектор наш, доложил бы – мы б уже к концу подошли. Будем считать сегодняшний эксперимент-экспромт неудавшимся. Продолжайте, коллега.

Мишкин (усмехнулся). Я уже запутался – на какой вопрос отвечать? А вы историю болезни тоже не читали еще?

Председатель. Нет, конечно. Все эти бумаги мы взяли в руки только что. Об этом я и говорю. Почему открытый массаж был? Зачем вскрывали грудную клетку? Что за сосуды?

Мишкин. Я об этом и хотел сказать. Я потому так на нашу «надежу-оживление» говорю, что его, по существу, в нашем обычном смысле этого слова, не было. Я оперировал его, а не массировал сердце...

Председатель. Значит, жалобщики правы? А каковы показания для операции?

Мишкин. Я об этом и говорю. У больного была эмболия легочной артерии.

(Все в том или ином варианте вскричали: «Что!», «И вы пошли!» Кто саркастически улыбался, кто махал рукой, кто разводил руками. Ясно было со стороны, что они попусту тратят время на зряшность и прожектерство.)

Худой с длинным лицом. Да, уж теперь конца не будет. Как вы могли пойти на такую авантюру?! У нас в лучших институтах с прекрасным оборудованием ничего не удастся, а тут... Больные все погибают, как и не оперированные. Неужели вам надо это объяснять? Простите, может быть, о соответствии вопрос и не надо бы ставить, но вы чудак. Домой, домой пора. Хватит. Я за выговор.

Председатель. Нет, товарищи. Мы должны предоставить нашему молодому товарищу возможность полностью высказаться. Хотя, априорно, я тоже считаю это авантюрой.

Седой и лысый. Почему же авантюра?! Теоретически, если мы успеем удалить сгусток из артерии – мы спасем человека.

Самый старый. Это аксиома, трюизм! Но «УСПЕЕМ!»! Вы слышали, чтобы кто-нибудь успел? Лично я не слышал.

Седой и лысый. Здравствуйтесь! В литературе мы знаем, – по-моему, во всем мире около тридцати удач.

Толстый с гладкой прической. И миллионы потерь.

Председатель. Ну, вообще-то, даже одна удача во всем мире позволяет нам совершить спасительную попытку. Миллионы потерь без этих тридцати, в конце концов. Оперировать только смертников.

Член комиссии с шевелюрой. Но попытка должна быть с годными средствами. Сдается мне, что ни один из известных мне хирургов сделать это не сумел. И не какие-нибудь, а дей-

ствительно гиганты. А тут, в маленькой больничке, кидаются на больного с ножом ради какой-то химеры, с явным риском получить жалобу. Каково теперь всей больнице!

Мишкин. Но ведь мы...

Худой с длинным лицом. А вы бы, молодой человек, помолчали бы. Вы говорите, когда вас спросят. Бог знает, за что взялись, подвели под монастырь всю больницу, оторвали у нас кучу времени. Хоть бы послушали бы, что вам говорят старшие товарищи.

Мишкин (опять усмехнулся). Время не я у вас отнял. Не на меня жалоба, так другую бы разбирали.

Председатель. Не огрызайтесь. Поберегите себя.

Седой и лысый. А я вам говорю, что каждый из нас имеет право на подобные попытки. Ведь перед нами труп. А вдруг!..

Член комиссии с трубкой. Но не такому же младенцу идти на подобную попытку. Какой у вас стаж? Сколько лет...

Мишкин. Пятнадцать.

Член комиссии с трубкой. Вот видите! Мы лет по тридцать работаем, а ведем себя скромнее.

Мишкин. Годы не аргу...

Председатель. Я все-таки согласен с теоретической возможностью успеха подобных попыток. И нельзя отказывать в этом праве любому хирургу.

Член комиссии с трубкой. Да это эксперимент на людях!

Седой и лысый. Верно. Но не надо бояться этого. Это же труп. Если не на сто, так на все миллион процентов. Это эксперимент не на человеке, а на трупе.

Худой с длинным лицом. Если бы у меня в больнице кто-нибудь посмел, я бы своему молодцу вклеил бы так, что год, бы он у меня к столу не подошел бы. Пусть истории писал бы. Но этот-то сам себе зав. Зав хренов.

Маленький и круглый. А смелость какова! Шутка ли! Пойти на эмболию! А почему бы и нет! Пусть пробует. Больной-то ведь действительно практически умер. Ха – терять нечего, а приобрести можно целый мир для целого человека. С завов его снять, а попытки разрешить. Ха!

Член комиссии с шевелюрой (хохочет). И правильно. Действительно эмболия! Дыхания нет. Мертв. Пусть старается. Конечно, авантюра, но оживить можно. Пусть теоретически, но ведь это все равно труп. И меры приняли – сняли.

Самый старый. Нет. Нет. Товарищи! Не делайте такой глупости. Практически это невозможно. Больнице от этого неприятности. Жалобы идут. Сегодня он произвел негодную попытку на трупе, а завтра он начнет экспериментировать на живых людях. Я предлагаю это решительно осудить. И чтобы все хирурги города знали. Иначе мы очень скоро получим повальную игру со смертью. Этим не играют, товарищи.

(Мишкин снова усмехнулся.)

Седой и лысый. Именно что со смертью! С жизнью-то он не играл. Он играл со смертью, уже наступившей. В конце концов, мы все на пороге. Если бы меня так спасали, до конца. А?! Нет, я не вижу оснований для осуждений. Это не логика: сегодня ты обманул меня, завтра учителя, а послезавтра...

Председатель. Мы не можем осудить за то, что хирург пытался уничтожить уже пришедшую смерть.

Худой с длинным лицом. Действительно. Почему бы и нет! Пусть себе. Выговор-то можно бы и дать, чтоб больше не привязывались, но без огласки. Я бы за выговор. Пора кончать.

Мишкин. Но вы же...

Самый старший. Вот, пожалуйста. Только услышал реплику в свою защиту и тут же вступил в разговор старших. Вы же, доктор, не полноправный член нашего синклита. Мы ведь ваши действия обсуждаем. А вы слушайте, учитесь, черт возьми!

Седой и лысый (обращается к самому старому). Я с тобой уже четверть века знаком, и ты все время такой. Ты не разумный скептик, а вечно ищущий подвоха. И рот еще затыкаешь.

Самый старший. Где же я тут ищу подвоха?!

Седой и лысый. А ты не конкретно не веришь, а глобально на всякий случай не доверяешь всему.

Председатель. Ну, хватит. Мы не для этого здесь собрались. Взаимное выяснение своих характерологических особенностей не на заседаниях устраивают, а за бутылкой.

Самый старший. Я ищу не подвоха, а выясняю, нет ли за простой авантюрой вины злостной или суетной.

Седой и лысый. Вот, вот! Я и говорю, что ты не меняешься. Ты, черт побери, не от старости такой, а генетически.

Худой с шевелюрой. Ну, кончайте, время-то идет без толку.

Седой и лысый. Я помню, как двадцать лет назад он на партийном бюро разбирал мой роман с одной сестрой. Ну, было дело! Влезли они тогда не в свое дело. Все испортили, конечно. Так еще тогда он говорил приблизительно то же самое, что ищет за нашими отношениями злостной или суетной вины. Поразительно просто!

Самый старший. А девочка-то была прекрасна. Какая кожа! Где она?

Седой и лысый. Тебе-то что. Все тогда испортили. И ты тоже.

Председатель. Хватит...

Седой и лысый. Нет, ты и сейчас такой же. Я об этом и говорю. Я тебя простил, но не забыл.

Самый старший. Прекрати. В конце концов, здесь с нами молодой коллега.

Толстый с гладкой прической. Сдается мне, что вы, друзья, отвлеклись. Хотя и это все интересно. (Ха-ха!) А где та девочка?

Седой и лысый. Жива и в порядке...

Мишкин. Разрешите закурить.

Председатель. Конечно.

(Большинство закуривает. Немного молчания.)

Толстый с гладкой прической. Черт его знает. Я не знаю.

Председатель. Итак, насколько я понимаю, большинство не осуждает попытку, но и не одобряет нашего молодого коллегу. Так?

Самый старший. И все-таки я решительно осуждаю и попытку и самого автора ее.

Седой и лысый. Вот-вот.

Председатель. Я и говорю, большинство (смеется).

Худой с длинным лицом. Кому можно, а кому и нельзя. Пусть не осуждаем попытку в принципе, но осуждаем попытку с негодными средствами, как это было в данном случае.

Седой и лысый. А если не прыгать, то и не допрыгнешь.

Худой с длинным лицом. В конце концов, это неважно. Пора бы кончать. Жалоба эта гроша выеденного не стоит.

Председатель. Давайте все же дочитаем жалобу до конца. Прошу вас.

Мишкин (он в явной неприязненной оппозиции и с нарочитой иронической усмешкой). Да тут, по-моему, и жалобы-то нет.

Возгласы. Читайте. И быстрее. Вон уже сколько времени.

Мишкин, «... в результате исход для нас, сослуживцев, печальный...»

Член комиссии с трубкой. Для сослуживцев! Сильны!

Мишкин. «...Мы потеряли прекрасного работника. Он вынужден сидеть дома на инвалидности...»

(Сцена типа знаменитой «немой», но с криками и возгласами: «Как!», «Что!», «Почему!», «Не было эмболии?!», «В чем дело?! „Живой?!“» И так далее.)

Мишкин. «...В конце концов, мы не...»

Возгласы. Подождите. Объясните. Он живой? И т. д.

Мишкин. Живой.

Председатель. А что вы сделали?

Мишкин. Удалил тромб. Восстановил сердечную деятельность. Зашил грудную клетку и через месяц выписал. Теперь у него инвалидность.

Председатель. Что же вы молчали и дурили нам голову? Простите, как ваше имя-отчество?

Мишкин. Евгений Львович. Вы ж не давали мне рта раскрыть.

Самый старый. Этого не может быть, Евгений Львович.

Мишкин. Потому что этого не может быть никогда? Нет, правда. Честное слово, на инвалидности (издевается).

Седой и лысый. Успели?

Мишкин. Раз живой.

Председатель. Когда это было, Евгений Львович?

Мишкин. Около полугода назад.

Председатель. Почему же вы нигде не сделали сообщения, хотя бы на обществе?

Мишкин. Не успел.

Маленький и круглый. Ну, знаете ли! Шутка ли!

Толстый с гладкой прической. А как вы делали? Евгений Львович, расскажите, пожалуйста.

Мишкин. Да как описано.

Седой с шевелюрой. А сколько минут прошло от начала операции до удаления тромба?

Мишкин. Не больше пяти. А может, и меньше.

Председатель. Как вы успели?!

Мишкин. А мы торопились.

Председатель. Сердце обычно останавливается, если легочная долго пережата. А ведь еще и до этого препятствие мешает?

Мишкин. А это бывает от перегрузки правого желудочка. А мы случайно его поранили и тем самым разгрузили.

Самый старый. Поранили и не остановились?

Мишкин. Выпустили немного крови из правого желудочка, зажали рану и делали дальше.

Седой с шевелюрой. А дальше как же?

Мишкин. А после зашили.

Толстый с гладкой прической. У меня бы руки опустились.

Мишкин. Они у меня мысленно много раз опускались. А раньше и не мысленно.

Седой и лысый. Это уж точно уму непостижимо. Так вам всем и надо.

Самый старый. Просто не верю.

Мишкин. Ничем не могу помочь.

Самый старый. Нет, Евгений Львович, я вам верю. Факт – это факт. И все-таки трудно поверить в этот факт. Невероятно!

Мишкин. Да вы посмотрите историю болезни.

Самый старый. Обязательно! Обязательно. Изучать буду. Я вас поздравляю, коллега Мишкин. Я просто не знаю такого случая даже.

Председатель. Но почему же тогда жалоба?! Почему печальный исход, как пишут они?

Седой с шевелюрой. Как же! Что им успех! Что им наши радости, наши заботы и печали. У них свои. У них человек на инвалидность ушел. Для дела их – исход печальный. А для нас, простите, – это событие радостное. Дорогой Евгений Львович, мы вас искренне поздравляем, коллега. А жалоба...

Мишкин. Я дочитал ее до конца...

(Все гудят, не дают ему сказать.)

Председатель. Товарищи, нам же говорит что-то Евгений Львович. Дайте сказать. (Все тотчас замолкают. Слушают.) Прошу вас, доктор.

Мишкин. Я говорю, что прочел эту жалобу до конца, там вовсе...

Член комиссии с трубкой. Да плюньте на жалобу. Мы ответим...

Мишкин. Я говорю, что нет тут жалобы в конце.

Председатель. Как нет? А что там? Нам же из газеты переслали для разбора.

Седой и лысый. Переслали, наверное, не дочитав до конца.

Толстый с гладкой прической. Да и мы до конца ведь не дочитали. А что у вас с рукой, Евгений Львович? На операции?

Мишкин. На субботнике. На погрузке картошки.

Седой и лысый. Фантастика!

Председатель. Ну ладно, ладно уж. Я ж говорю, нужен чиновник для доклада. Так что же они хотят? Давайте мне, Евгений Львович, я дочитаю. «...В конце концов, мы не имеем претензий. Мы не жалуемся». Так прямо и пишут, товарищи! «Мы не понимаем». Они, во первых, не понимают, что все написанное в инстанции пересылается и все равно разбирается как жалоба, и для того мы здесь сидим. Мы должны думать, казнить или не казнить, а не казнить или награждать. Ну ладно, дальше. – «И если это велико, как говорили нам в больнице, то о великом напишите в газете. Если ordinarily, но правильно – расскажите нам, чтоб было понятно. Если плохо – предупредите». Все, и дальше подписи. Ах, как некстати заболел инспектор. Собственно, все, товарищи, на сегодня. Для руководства нужен грамотный чиновник, а не специалист. До свидания. А вы чем-то недовольны, Евгений Львович?

Мишкин. Да нет. Теперь ведь всегда при эмболии придется идти на риск. Всегда придется оперировать.

Седой и лысый. Непонятно. Ну и что?

Мишкин. Кончилась свобода выбора. Каждый полученный успех лишает нас свободы выбора. Теперь не сомневаться буду я, а оперировать. Не думать, а действовать.

Самый старый. Что ж в этом плохого, если эксперимент за все уже решил?

Мишкин. А я не хочу, чтоб за меня что-то или кто-то решил, даже если я сам это породил! Я люблю сомневаться.

Самый старый. Нет, выговор, пожалуй, вам все-таки надо дать... Утешайтесь тем, что и у других теперь уменьшилась свобода выбора.

Председатель (смеется). Я ж говорю, что нам не хватает чиновника, подготовлявшего бы материал. Время позднее. До свидания, товарищи.

ЗАПИСЬ ВТОРАЯ

А дело было так. Евгений Львович сидел дома в кресле, вытянув свои длинные, очень длинные ноги, пытаюсь, не сходя с места, с кресла, загнать в угол собаку. Собака – прекрасный рыжий ирландский сеттер – увертывалась от ног, а Мишкин все больше и больше сползал, так что почти все его два метра, за исключением части от лопаток и до темени, висели в воздухе, выползая из кресла. Сын валялся на тахте и канючил:

- Пап, оставь его в покое, пап, не мучай собаку, пап.
- Да я не мучаю – ему ж тоже нравится. Мы ж играем.
- А вот тебя бы так.
- Если с любовью, то...

И это все длилось уже около получаса. Все участники этой игры и дискуссии были довольны. Соседка из коридора:

- Евгений Львович, вас к телефону.

Мишкин встал, пошел к дверям. Собака, будто и не старалась увернуться от его ног, потянулась за ними. Она словно приклеилась к его штанине и была приклеенной до самой двери. Но в общий коридор квартиры не вышла. Собака, по-видимому, понимала, что в общей квартире надо иметь письменное согласие всех жильцов на ее присутствие здесь, а этого разрешения Мишкин не получил, а импульсивно купил пса, как только посмотрел в глаза тогда еще безымянного щеночка, ныне нареченного Рэдом.

Рэд не выходил из комнаты, а оставался на пороге, даже когда дверь была раскрыта настежь.

– Я слушаю... В терапии?.. А почему вы думаете, что эмболия?.. Сколько времени прошло?.. Полтора часа! Могли бы и раньше позвонить... Синяя? Одышка есть?.. Кровь, значит, хоть немного, но проходит в легкие... Ладно, ладно. Готовьте операционную.

Рэд встретил Евгения Львовича в дверях, снова приклеился носом к штанине, но игры уже не было.

- Я уезжаю в больницу.

Особого впечатления это ни на кого не произвело. Евгений Львович одевался. Галя спросила:

- А что там?
- Говорят, эмболия легочной артерии.
- У твоего больного? Оперировал?
- Нет, в терапии. Инфаркт. Третий месяц.
- Что ж ты будешь делать?
- Попробую.
- С ума сошел! А вдруг это не эмболия, а повторный инфаркт?
- Будут сомнения – не буду делать.

Пока все это происходило и говорилось в относительно медленном темпе.

– Когда у тебя была последняя попытка?

– Четыре месяца уже. Но то был случай мертвый. Да и рак неоперабельный. Я как автомат был – вижу, умирает человек, – давай спасать.

- А после на трупах делал?
- Раза два.
- Я с тобой поеду, ладно?
- Конечно. Там же наркоз дать некому. Хорошо, что ты у себя не дежуришь.
- А почему ты не торопишься, Жень?
- Разве?

По лестнице он спускался еще медленно. К такси они шли уже быстрее.

– А ты почему машину не просил прислать?

– Пока она приедет. Да и они где-то должны просить. А им давать не будут. Так быстрее.

Галя была в длинном модном пальто, застегивающемся лишь у талии. С увеличением скорости пальто все больше и больше распахивалось, полы его превращались в огромные крылья.

На стоянке такси большая очередь.

– Женя, я сейчас попрошу разрешения у очереди.

– Да ты с ума сошла. Неудобно.

– Товарищи, нам надо срочно в больницу, на операцию вызвали.

Никто ничего не отвечал – не возражали и не предлагали.

Он прошипел, что надо уходить и искать такси в дороге. Она отмахнулась от него. Из-за очереди появился диспетчер с красной повязкой.

– Вон машина подходит. Садитесь.

Галя подошла к машине под защитой диспетчера. Из очереди кто-то робко сказал: «А может, врут – ишь пальто длинное надела, и он длинный».

– Чем они недовольны? – спросил шофер, когда они уже отъехали.

– Мы без очереди, – охотно ответила Галя. – Нам в больницу. На операцию вызвали.

– А вы бы не спрашивали. Сказали б милиционеру. Остановил бы любую машину. Положено.

– А нам диспетчер помог.

Они сидели сзади. Мишкин сел на самом краю сиденья, вытянув вперед спину и шею, упираясь коленями в спинку переднего диванчика. И видимое его спокойствие тоже кончилось.

– Не забудут ли они долото для грудины положить.

– А ты сказал?

– Я сказал, чтоб все сосудистое положили... А может, и это не сказал.

– Положат, наверное.

– Ведь, в случае удачи, это на всю ночь, Галя. А ты дежуришь завтра.

– Что поделаешь. Лучше ж я дам наркоз, чем сестра. Вы знаете, – обратилась она к шоферу, – там к больнице объезд большой. Нет левого поворота. Вы либо должны нарушить, либо мы сойдем у перехода и добежим пешком. Там разворот километра четыре.

– Вообще-то можно нарушить. Да я опасаюсь чего-то. Он же, если остановит, сначала права мои будет смотреть, потом свои права качать – вас распрашивать. Время потеряем. А меня накажет – ищи потом правды.

– Сойдем, сойдем. – От бывшего спокойствия и неторопливости у Мишкина не осталось и следа.

Выйдя из такси, они сразу же побежали. В сумерках виднелись лишь их силуэты. Впереди быстро двигалась неправдоподобная, от темноты еще более увеличивающаяся высота, верста – уж не знаю, как это назвать. А сзади бежала женщина, нижняя половина которой была двумя крылами.

В школе его ребята звали – бесконечная прямая. Но сейчас бежал длинный изломанный столб и сзади летела птица.

В коридоре их встретила сестра: «Больной в операционной. Все врачи там».

Пульс – относительно хорош. Давление держит. Уже что-то капает в вену.

– С больным говорили?

– Естественно.

– А с родственниками?

– Терапевты разговаривали.

– А что терапевты говорят? – это уже Галя интересуется. Она часто, в этой формально чужой для нее больнице, дает по ночам наркоз. Когда в тяжелых случаях вызывают Мишкина – едет и она, если не дежурит.

– А терапевты говорят то же самое: помирает больной и ничего сделать нельзя.

– Кардиограмма что?

– Считают, что эмболия.

– Когда инфаркт был?

– Срок уже большой. Ходил уже.

– Все равно. Другого-то выхода нет.

– А это, думаете, выход? Доктор Онисов полон сомнений.

– Нет, вы уникамы. Это же полная безнадежность. Ничего не выйдет. Приехали! Сейчас работы на всю ночь. Силы все истратим. Лекарств уничтожим – спасу нет. Кровь по «скорой» со станции привезли – и ее истратим.

Мишкин уже переоделся в операционную пижаму.

– Кровь заказали?

– Уже привезли.

– Больной спит. – Быстро Галя работает. Впрочем, при чем тут Галя? Слаб больной очень – сразу уснул.

– Галина Степановна, давление хорошо держит?

– Когда качаем в вену – держит, Евгений Львович. Мойтесь быстрее.

С Мишкиным моются дежурные хирурги Алексей Артамонович Онисов и Игорь Иванович Илющенко.

Онисов. Нет, ты, Мишкин, уникам. Ехать и затевать это в явном...

Мишкин (он нетерпеливо топает ногой, так сказать, сучит ногами). Прекрати болтовню. Мойся. Зачем звонил тогда?

Онисов. Ну, а как не позвонить?! Ты же съешь, но я считаю, что напрасно все это.

Мишкин мылся очень сокращенно, так сказать.

– Ну, не баня же, быстрее надо, быстрее. Есть же случаи, когда все инструкции до конца не соблюдают.

Он мазал грудь йодом, но на месте спокойно не стоял. Притопывал, издавал какие-то постанывающие звуки, его карие глаза над белой маской-то казались совсем черными, то светлели. Он только накрыл больного простынями и, не дожидаясь прикрепления их, потянулся к инструментам.

– Евгений Львович, подождите. Сейчас давление померим.

– Раньше надо было, мне некогда, Галина Степановна.

– Женя, подожди. Перед разрезом надо же померить еще раз. Не кровотечение – такой экстренности нет.

– По молодости мы вам прощаем, Галина Степановна, мысль об отсутствии необходимости в спешке. – Однако обычно снимающее с него напряжение хамство по отношению к жене на этот раз успокоило очень незначительно, но скальпель на стол положил.

Галя шепчет сестре-анестезисту:

– И сам понимает, что можно не торопиться, видишь, какими длинными оборотами говорит. Торопиться надо после вскрытия грудной клетки.

Вступил в дискуссию Онисов:

– Ты чего-то, Мишкин, нерешителен сегодня. Сомневаешься, да?

– А я всегда нерешителен. Убийцы только бывают решительными. Гитлер был перед началом войны решительным. Дурак ты, нерешительность заставляет задуматься. Это зло растет само, а добро надо выращивать, а для этого сомневаться.

Болтает Евгений Львович – нервничает.

– Можете начинать.

Мишкин взял в руки нож. Он простонал дважды – то ли от нетерпения, то ли от волнения, то ли от сомнения.

Галя напряженно, но совсем не удивленно посмотрела на него.

(А я бы все равно удивился. Сколько бы я ни видел его в работе, в жизни, я все равно удивляюсь. Я не могу привыкнуть ни к его жизни, ни к его манере оперировать. Я смотрю на то, как и что он делает, и я все это могу, я все могу делать так, как он, я понимаю так, как он; но почему-то он делает, а я нет. Я уже один раз слышал этот стон. Перед тяжелой, с неясной перспективой операцией. Это стон какой-то разрешающейся страсти, стон облегчения, стон ужаса и радости, стон испуга за себя и за другого. Откуда этот стон, когда он сам мне говорил о своей работе не как о чем-то непостижимом, он говорил о работе своей как об обыденном тяжелом труде. Тогда откуда этот стон? Он говорил мне: «Ты же видишь, как приходится работать. Я люблю эту работу, люблю. Работа для меня не обыденщина, но самое что ни на есть обывательское дело. Поэтому мне нужна разрядка, ну, выпить, что ли, с кем-нибудь приятным мне. Только обязательно в приятной компании выпить, не просто выпить. А с приятными и напиться можно – голова не болит. Это от выпивки как от самоцели голова после болит. Работа, семья – это хорошо, это здорово, но это каждодневно, это обыденщина. Нужна разрядка. Хотя какая-нибудь операция может быть и разрядкой».

Но все это пустые слова, пустые декларации, наверное.

Откуда этот стон?!

Все это для него – дело каждого дня, но он чуть по-другому относится к своему делу, чем все. Помню еще одну его речь, когда мы сидели в хорошей, своей для меня компании, то есть он и я:

«Боже! Какой кретин я! Самодовольное ничтожество. Прочел в очерке: „Осторожно, словно кашмирскую шаль, хирург рассек сердечную сорочку...“ Я считал, что это пошло, что сердечная сорочка все-таки дороже и нежнее кашмирской шали, что хирурги будут смеяться и возмущаться... Я дурак! Оказывается, многие хирурги действительно считают это хорошим сравнением. По-видимому, они считают кашмирскую шаль действительно... Что говорить! Кретин я!»)

Мишкин провел скальпелем вдоль грудины.

– Стернотом и шпатель.

Он взял грудинное долото, подsunул под грудину для защиты сердца металлическую дощечку шпателя и тремя ударами молотка раскрыл, как книгу, грудную клетку.

– Перикард, – шепнул он сам себе и проглотил то ли слюну, то ли еще что-то. – У-у-у-ы-ы... – тоже шепотом и весь покрылся потом.

Может, это страх, банальный человеческий страх.

Галя спокойно продолжала дышать мешком, раздувая легкие.

– Уууу, – на вдохе. – Аааа, – на выдохе. – Ууааон у тебя дышит?!

– Дышит.

– Прекрати. Ты же видишь, мне это сейчас мешает. Прекрати дышать.

Галя на минутку остановила дыхание и наклонилась к сестре:

– Знаешь, Таня, он, по-моему...

– Перикард. Возьми на зажимы. Сейчас рассечем. Ножницы где? А, черт! Давай скальпелем. О-о-о-а! Сердце ранил! Отсос! Убери тряпки. Я заткнул пальцем. Шить давай. Шелк четвертый. Как он?

– Все хорошо.

– Хорошо. После зашьем. Держи ты здесь палец. Смотри, а сердце стало лучше биться. А ведь мы разгрузили правое сердце! Так же лучше! Давай зажимы сосудистые на вены. Нет. Вот эти – «бульдочки». Да, эти. Положил. Следи за ними, страхуй. Пережмешь, когда скажу.

Зажим Сатипского. Вот этот лучше. Разрез делаю. Держалки дай прошить. Нет. С атравматическими иглами. – Опять тихое, длинное, вибрирующее «ы», потом – Хорошо, ребята, – это почти шепотом и громко дальше: – Пережимай вены! Снимаю Сатинского. Вот он, тромб!! На, сохрани, – это сестре сказал. Засунул обе руки в глубину грудной клетки, сдавил оба легких. – Вот еще тромбы! Опять кладу Сатинского. Зажал. Снимайте с вен. Открыли? Шелк четвертый – здесь на сердце двух швов хватит. Зашил... Теперь артерию. Не надо нитки. Я этой держалкой зашью... Все зашил. Сюда еще шовчик – подсачивает. Все! Зашил все. Перикард остался. Как он? Дышите как следует!

– Не кричите, Евгений Львович. Все хорошо. Дышим. Давление восстанавливается.

– Вы что-то очень спокойны, Галина Степановна... Давай, давай шелк зашивать. Сколько прошло от вскрытия грудной клетки?

– Пять минут до пуска кровотока.

– Это хорошо. Теперь можно не торопиться. – Мишкин замурлыкал любимую песню «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой...».

Они медленно зашивали. Когда грудину сшили, Мишкин сказал, чтоб кожу зашивали сами, и вышел в предоперационную.

Галя передала дыхательный мешок сестре и вышла следом.

Он стоял красный, она рядом бледная. Больше никого не было. Он стукнул ее по плечу, обнял, прижал к себе.

– Неужели удача? Галенька!

– Ты совершенно неприлично рычал, как Отелло в провинциальном театре прошлого века, и вечно эта детская песенка.

– Дура ты. Это же впервые. Теперь отходить его. Что ты льешь?

– Не вмешивайтесь не в свое дело, Евгений Львович. Что надо, то и льем.

– Гормоны делала?

– Я потом все напишу и распишу, что делала и что надо делать дальше.

Он скинул на пол халат, фартук, перчатки в раковину и пошел. Галя за ним.

В ординаторской он взял со стола булку, влез в холодильник и стал пить молоко прямо из пакета, надорвав только уголок.

– Ты же дежурных объешь. Им нечего есть будет.

– Пусть идут домой. Я останусь.

– Люди принесли поесть что-то, а ты!

– Отстань.

Она ушла в операционную.

Когда Онисов пришел в ординаторскую, Мишкин сидел в кресле и рассматривал какой-то журнал.

– Как он?

– Нормально. Ну, ты уникам, Женька.

– Ты смотри. Карикатурка. Жених и невеста. Оба длинноволосые, оба в очках, оба в брюках. Он, карикатурист, не поймет, кто из них кто. Вот что значит смотреть на форму, а не на существо. Вот детям также надо одеть людей по-разному, чтобы они могли знать, кто мальчик, а кто девочка. Даже если голые, а?! – Мишкин неестественно громко захохотал, что было ему несвойственно.

– Нет, ты уникам, спасу нет! Все равно не выдержит же.

– Пошел вон, дурак. Уходи с дежурства к чертовой матери. Сам с ним буду.

Он опять ушел в операционную.

Днем на работе Галя рассказывала о мужниных доблестях. Все охали, ахали, распрашивали и не очень верили. А может, и верили.

– И ты там всю ночь была?

– Ушла в семь купить им что-нибудь поесть.

– А чего ж вы оставались, когда все сделано?

– А он не уходит. Я ему тоже говорила. Все расписала, что, как, и когда, и почему, и зачем лить. А он не уходит. Он как нависнет над больным своим телом громадным... И они у него выздоравливают, по-моему, не от лекарства, а от тела, его тела, от тепла его тела.

– А знаешь! Может, он и прав.

– Так ведь выздоравливают не только у него. Мне-то каково!

– Такую операцию сделать! Ох, и везет вам, Галочка. А что, им есть не дают, что ли? Зачем им покупать ходили?

– Закона-то нет кормить дежурных, да чтоб как надо кормить. Поэтому где кормят, а где и нет.

– Одно дело дежурные, а другое дело – энтузиаст и патриот остался.

– Какое это имеет отношение к финансовым порядкам и к финансовой дисциплине? Надо позвонить ему.

– Женя! Ну как? Ну ладно. Иди домой. Ну, там же дом все-таки – сын, собака. А вечером опять приедешь. Ну ладно. Еда есть в холодильнике. Подогрей только.

Галя повесила трубку, подошла к зеркалу, поправила прическу.

– Не подогреет ведь, будет есть холодное, я его знаю.

ЗАПИСЬ ТРЕТЬЯ

Восемь часов утра.

В большом кабинете главного врача по стенкам на стульях и креслах сидят дежурные, заведующие отделениями, заместители главного врача. Эта административная Пятиминутка должна закончиться к половине девятого, когда приходят все врачи и начинаются пятиминутки в отделениях.

Марина Васильевна. Давайте ваша сводки.

Дежурные сдают сводки движения больных. Главный врач подсчитывает, сверяет цифры с данными кухни и затем подписывает ведомость на питание больных.

Марина Васильевна. Так. Начинаем. Терапия.

Дежурный терапевт рассказывает, сколько больных было, сколько выписалось, сколько поступило, сколько состоит сейчас, кто тяжелый и были или нет нарушения труддисциплины.

Дежурный хирург рассказывает по такой же схеме и, кроме того, какие были операции за сутки и каково состояние послеоперационных больных.

Марина Васильевна. Сегодня к нам много всяких указаний поступило, и нам надо много сделать всего, много решить. Во-первых, вновь создан Освод, нам надо...

Мишкин. Что это – Освод?

Марина Васильевна. Общество спасения на водах. Когда-то это уже было, потом ликвидировали, теперь опять есть решение создать его. Значит, нам надо создать его, то есть выбрать уполномоченного в это общество и собрать взносы у всех в больнице. Какие будут предложения? Кого мы задействуем в уполномоченные общества?

Зам по административно-хозяйственной части, как говорится, в дальнейшем именуемый Зам по АХЧ, вносит предложение:

– Это мы после решим, а сейчас надо взносы собирать.

Марина Васильевна. Это мы в день зарплаты соберем. Посадим человека у кассы – сразу и отберет у всех. Еще нам надо подписаться на журнал «За рулем», – она засмеялась, и все засмеялись. – Ну ладно смеяться-то, подписываться все равно надо – разрядка.

Дежурный хирург. У нас опять была катастрофа с бельем. Белья не хватило. Пришлось девочкам после операций заниматься автоклавируванием.

Марина Васильевна. Евгений Львович! Почему вы не можете организовать эту службу в отделении на спецуровне? Кто виноват?

Мишкин. Да что вы как с луны свалились! Кто виноват! У нас больные при прохождении стацилечения по линии обслуживания бельем не на спецуровне не в результате нарушений труддисциплины, а в результате предложений и централизации, если угодно, Марина Васильевна. Кто виноват! Вот именно! Сначала объединили лабораторию в районную, потом бухгалтерия стала районная. Теперь прачечная централизованная районная берет и дает белье раз в неделю. Будто не знаете.

Марина Васильевна. Это ерунда, несмотря на всю вашу иронию. Значит, надо на складе взять больше белья. Чтобы был запас. Что у нас, белья нет?!

Мишкин. Легкое дело взять! Значит, на старшую сестру еще больше материальной ответственности за матценности ляжет. Ей что, больше делать нечего? Да и вообще – неделя. Понимаете, наше белье лежит неделю, ждет очереди в прачечную. Оно ж гниет – в гною, в крови, в кале, – уж не знаю, как это все назвать на птичьем сокращенном языке.

Марина Васильевна. А нельзя с ними договориться, чтобы чаще меняли?

Зам по АХЧ. Централизованная прачечная не может чаще, учреждений очень много у нее.

Мишкин. Когда была наша больничная прачечная – проблем этих не было. А сейчас даже помещение бывшей прачечной пропадает, пустует. И все ради этих идолов – централизации да экономии. Надо ж знать, где можно! Было белье – кому это мешало?! Улучшается все не от экономии, а от прибылей. Вы на медицине не экономьте.

Марина Васильевна. Ну ладно шуметь. Тут же мы сами не можем ничего изменить, – значит, надо делать то, что мы можем. Думать надо, как помочь делу. Вас мы, Евгений Львович, обяжем взять достаточное количество белья на складе, и чтоб перебоев не было. Вот так. Ты уж, Жень, совсем распустился.

Мишкин. Я?! Вы вот мне скажите, что делать мне с послеоперационной палатой. Ведь нехорошо получается. Я туда должен дать лучших сестер – надежнее. Так?

Марина Васильевна. Естественно.

Мишкин. В этой палате не присядешь иногда и за целые сутки. А на постах они ночью семьдесят процентов времени сидят за столом, а то и спят.

Марина Васильевна. Так что они хотят?

Мишкин. Хотят, чтоб по очереди все были в этой палате. А я не могу любого в эту палату поставить. И так самому приходится торчать там все свободное время.

Марина Васильевна. Вот и неправильно, что сами там торчите. Это вы плохой организатор.

Мишкин. Конечно, плохой. Но что делать! Жизнь-то послеоперационных дороже моих организаторских способностей. Мне бы хоть хирургом стать, а тут еще организатором надо быть.

Марина Васильевна. Воспитывать надо персонал. Должны понимать необходимость.

Мишкин. Ну ладно, ладно! Хватит подменивать обучение и нормальные условия мифическим воспитанием. Они правильно говорят: «Чем становишься лучше, тем тяжелее тебе работа, а деньги те же. Лучше мы будем посредственными сестрами на легкой работе и с теми же деньгами». Правильно же говорят.

Марина Васильевна. Если заведующий так думает, о каком же воспитании может идти речь!

Мишкин. Опять воспитание! Дайте сестрам в этой палате хотя бы четверть ставки лишние – всего-то двадцать рублей. Ну, десятую часть – должен быть материальный стимул.

Марина Васильевна. Надо учиться морально стимулировать, Мишкин. Ох, и надоел ты мне! Есть благодарности, грамоты, Доска почета, стенная газета, наконец!

Мишкин. Нет. За работу надо просто платить. У-пла-тить! Чем больше наград, тем меньше потребность руководствоваться банальными внутренними нравственными устоями. Не для награды, а по велению нравственного долга. А за нормальную работу – нормальную оплату. Это же медицина. Там награда – а здесь-то жизнь.

Татьяна Васильевна. Вы же, Евгений Львович, никогда не обращались к нам в местком. Мы бы включились, помогли.

Мишкин. А что вы можете? Вы можете им денег прибавить?

Татьяна Васильевна. Прибавьте им смену. Пусть будет чуть больше часов – тогда можно оплатить.

Мишкин. Больше суток?

Татьяна Васильевна. Нет, это охрана труда не позволит.

Мишкин. Приписать, может, часы?

Татьяна Васильевна. Что вы говорите. Обманывать нельзя.

Мишкин. Если бы нам разрешили в ведомости проставлять больше действительно про-работанных часов...

Марина Васильевна. Ну ладно городить, Жень. Понимаешь, что городишь?

Мишкин. Вот увидите, у меня, в конце концов, катастрофа будет с сестрами в послеоперационной палате. Ну, хорошо, если уж пошел такой разговор: а почему мне нельзя дежурным ставить больше чем на две ставки в месяц?

Марина Васильевна. Не могу разрешить. Охрана труда не позволит. Профсоюзы на страже интересов и здоровья трудящихся.

Мишкин. Но у меня некому дежурить. Врачей нет. Они все равно дежурят, а вы вычеркиваете проработанные часы. Какая ж тут защита здоровья! У меня хирург с анестезиологом трое суток почти не отходили от Крылова. Хотели им оплатить как-то – опять профсоюз не разрешает. Крылова-то выходили. Какого больного!

Марина Васильевна. Ну что ты, Мишкин, гоношишься, как ты говоришь? Что можем, то делаем, а выше существующих инструкций не прыгнешь. Нельзя. Я не хочу рисковать. Читал в газете фельетон «Волшебница»? Главный врач вот так делала: давала людям заработать, писала фиктивные часы, чтоб оплатить вот такие трехсуточные отсидки. Строителям там тоже чего-то дописывала. Работа шла хорошо. В твоём понимании, обычные вещи делала, что ты просишь. Там она из дежурств обеденные часы не вычитывала...

Мишкин. Какие ж перерывы на дежурстве. Что-нибудь сожрем на ходу, что из дому принесем. Вы ж и еды дежурным не даете.

Марина Васильевна. Вот-вот, а надо вычитывать обеденные часы.

Мишкин. А вы вычитываете?

Марина Васильевна. Из каждого дежурства, по полчаса в середине и в конце.

Мишкин смеется.

Марина Васильевна. Ладно зубоскалить. Так этого главного врача судили. Правда, она и себе приписывала за время работы на строительстве. Она с ними все время работала. По вечерам, что ли. Строители были довольны – говорят, здорово она помогла им, вернее, больнице. Так профсоюзы предъявили свой счет по поводу несоблюдения в больнице на дежурствах обеденных перерывов. Много чего там написано из твоих, так сказать, предложений.

Татьяна Васильевна. И чем кончилось?

Марина Васильевна. Чем! Получила год условно, с запрещением в течение какого-то времени работать администратором. Почитай, Мишкин, почитай. У меня газета есть. Может, поумнеешь. Ну, и хватит об этом. Что можно сделать – делаем, а что нельзя... Сколько времени мы из-за тебя сегодня потеряли. А у нас еще дело есть. Пришел приказ из горздрава. Нам надо включаться в работу. Прочтите приказ, Семен Аркадьевич.

Семен Аркадьевич (зам по АХЧ вынимает бумагу, надевает очки). Нам этот приказ велено проработать и начать выполнять: «Приказ по Горздравотделу „О проведении месячника по завершению подготовки к зиме лечебно-профилактических учреждений“. В целях завершения подготовки зданий и сооружений к зиме ПРИКАЗЫВАЮ: заведующим райздравами, главврачам лечпрофучреждений, руководителям хозорганизаций совместно с партийными, профсоюзными и комсомольскими организациями: а) провести в период общегородского месячника субботники и воскресники в лечпрофучреждениях; б) провести массово разъяснительную и оргработу в коллективах работников здравоохранения по привлечению к активному участию в общегородском месячнике; в) разработать и утвердить конкретные мероприятия по завершению подготовки лечучреждений к зиме, сосредоточив основное внимание на следующих вопросах: устранение недостатков в системе отопления, котельных, центральных тепловых пунктах водопровода, теплотрассе; ремонт крыш, водосточных труб, подъездов, остекление и оклейка оконных переплетов, утепление лестничных клеток, проверка работы вентиляционных систем, состояние средств пожаротушения, исправность водопровода, электрическо лифтового хозяйства, электрооборудования, проверка работ очистительных сооружений, проведение работ по очистке подвальных и чердачных помещений от мусора и неустановленного оборудования, по благоустройству территории, ликвидации мест разрытий и разработки стро-

ений, подлежащих сносу, озеленению скверов, садов и парковых зон; г) создать для организации и руководства проведения месячника постоянные штабы в количестве 3–5 человек. Обязать штабы обеспечить ежедневный учет выполненных работ, составление отчетов за неделю и представление этих отчетов в Горздравотдел». Ну и дальше подписи.

Марина Васильевна. Ясно? Все должны у себя в отделениях этим заняться.

Татьяна Васильевна. Да и местком в это включится. Мы выделим в штаб своего человека.

Мишкин. Как говорили древние индийцы: «Лучше не делай своего дела, чем делать чужие». Я пошел работать. У нас тяжелый кризис времени.

Марина Васильевна. Все пойдут работать, а ты останься на минутку, у меня дело к тебе.

Все ушли. Мишкин уселся в кресло поудобнее.

– Ругать будете?

– Да что тебя ругать. Я привыкла. Но я хочу тебя предупредить, что ты сходишь с катушек и я тебя защитить не смогу. Еще когда помоложе была, может, и смогла бы защитить. А эта месткомовская дива все твои взрывки, всхлипы и разговоры по району ходит и так разносит, что предстаешь ты перед людьми совсем в другом свете. Ты как несносный ребенок. И меня подводишь. Если что можно сделать для твоих сестер и врачей, давай сядем подумаем вдвоем. Нет, тебе надо на трибуну влезть и устроить митинг. Ну что я могу тебе при всех сказать! А сейчас начни подготовку к субботнику. И я без тебя знаю, что хирургам не место ни на картошке, ни на другой подобной работе. Но надо, – значит, будем.

В дверь ворвалась анестезиологическая сестра.

– Ты не видишь, что мы заняты? Куда ж ты идешь?

– Извините, Марина Васильевна, я к Евгению Львовичу.

– Так сказать, товарищ майор, разрешите обратиться к товарищу капитану. Ну, валяй, обращайся. Поговорить не дают.

– Евгений Львович, кислорода нет. Не можем к наркозу готовить.

– Ну, вот видите. Где наш Семен Аркадьевич! Хоть бы это он сделал до утепленного месячника.

– Это дело не его. Он просто за этим следит.

– Кроме службы слежения должна быть служба кислородоношения. Средства пожаротушения – его дело?! Каждое утро я таскаю баллоны с кислородом, подключаю их. Хорошо, что я не индеец и могу спокойно делать чужое дело, в отличие от индийца Семена. А если б заведующий отделением был у вас баба...

– У меня нет, не может такого быть, – Марина Васильевна радостно засмеялась.

– А мне не смешно. Ну, скажем, если б я был бы, как Пушкин, ста пятидесяти четырех сантиметров от уровня моря?

– Это тоже исключено. Что не Пушкин – то не Пушкин. Иди, Мишкин, не грехи, подключай свои кислороды. Когда я от тебя избавлюсь?!

Мишкин пошел на улицу, подключил к системе два баллона с кислородом, заглянул в послеоперационную палату и лишь после этого, уже в десятом часу, появился в ординаторской.

– Ну, начнем?

– Да мы уж доложились без вас, Евгений Львович. Ведь операцию пора начинать.

– Ладно, но только я вот хотел обсудить больного, который сегодня на операцию идет. Доложите, Наталья Максимовна.

Наталья Максимовна. Больной пятидесяти четырех лет. Почувствовал себя плохо около двух месяцев назад. Появились слабость, недомогание, неопределенные боли, на которые он вначале не обращал внимания. Около недели назад появилась желтуха. Поступил к нам с диагнозом «Механическая желтуха». Обследование никаких особенностей не выявило, кроме повышенного билирубина и ускоренного РОЭ.

Онисов. А рентген желчных путей делали? Что он показывает?

Мишкин. Ох, Онисов, Онисов. Сколько тебя учить надо? При желтухе ты не получишь на снимке желчных путей, не будут они контрастироваться. Тут желтуха, и надо просто рассуждать: что это за желтуха. Для операции ли она? Не гепатит ли? Раз «механическая», значит, для операции. Это не гепатит, по-видимому, – два месяца человек болен. Функциональные пробы печени – тоже хорошие. Стало быть, на цирроз тоже мало шансов. Приступов сильных не было, – значит, камень маловероятен. Скорее всего, опухоль. Правда, желчный пузырь не увеличен. Скорее всего, это опухоль поджелудочной железы, головки ее. Короче, операция необходима, и она все уточнит до конца. Возможно, предстоит большая операция – резекция поджелудочной железы и желудка с двенадцатиперстной кишкой. Противопоказаний к операции нет.

Илющенко. Значит, если радикальная, – это панкреатодуоденальная резекция?

Мишкин. Да, наверное. Но, может быть, и тотальное удаление железы.

Илющенко. А можно разве?

Мишкин. Вы у нас недавно. Вообще это вроде бы раньше и не делали. Считалось, что больной не выдержит отсутствия железы и умрет от диабета. Хотя есть отдельные обнадеживающие сообщения. У нас есть три наблюдения. Одну больную мы наблюдаем уже около четырех лет. Да и технически она, пожалуй, легче резекции. Не надо соединять культю железы с кишкой. Ну ладно, анестезиологическая служба, берите больного и начинайте наркоз. Сегодня тяжелая работа. Крови достаточно заготовлено? Мне кажется, что здесь, безусловно, рак, и, по-моему, будет вполне операбельный. Игорь, дай закурить, пожалуйста.

Онисов. Нет, ты уникам. Ты думаешь делать радикальную операцию?!

Мишкин. Если удастся – конечно.

Онисов. Эта операция больше чем в половине случаев кончается смертью. И мужик неприятный. Бандит. Несколько раз сидел за воровство и бандитизм. До этого сам работал в охране, убил кого-то, за что и сел первый раз. Нигде не работает. Сейчас в отделении со всеми скандалит, и с больными, и с сестрами. Родственники к нему почти не ходят, а когда придут, тоже переругаются и с сестрами и с лечащим врачом. Зачем тебе надо! Нет, ты уникам!

Мишкин. У тебя «уникам» звучит как «идиот». Но если так, то уникам ты, безнравственное чучело. Подумай, что ты говоришь! Он больной! Каждый должен заниматься своим делом. А ты все время решаешь проблемы его и его родственников. Не всякий человек достоин уважения – но сострадания всякий. Он больной. Это ж элементарно. Ты похож на муравья, к которому приходит стрекоза и просит есть, с голоду подыхает. А он ей: «Ты все пела, так поди же попляши». Откуда ты такой на мою голову? Уникам. Уникам нравственных начал. Да я кого угодно буду лечить. Даже преступника, а потом пусть его судят те, кто призван на это дело. Никогда ты не станешь врачом. Певец линча – вот ты кто. Иди лучше оперируй, занимайся только своим делом.

– Евгений Львович, мыться.

– Пойдем, Илющенко. Переодевайся и пошли.

Игорь пошел за шкаф, где за простыней обычно переодевались врачи. А Мишкин пошел в свой кабинет, где переодевался вчера, у него нет определенного места. Где застанет его судьба, там и снимет халат. Может быть ординаторская, а может быть и его кабинет – какая разница!

Когда Мишкин пришел в операционную, больной уже спал, Он подошел, посмотрел на лицо. Лицо как лицо. Татуировка на руках, на ногах. Живот чистый – по татуировке резать не придется. На груди выколот знакомый двупрофильный рисунок. Бог юности нашей – и здесь не придется резать. А то еще проснется; и пришьет статью. Короче, операция началась и приблизительно часов через пять закончилась.

Как говорится, вышел он из операционной усталый, но довольный.

Онисов. Ну, сделал радикально?

Мишкин. Удалось. Опухоль занимала только ткань головки. Тело не затронуто. Метастазов тоже не было. Резекцию панкреатодуоденальную сделал.

Онисов. Знаю. Подходил. Вот только выживет ли?

Мишкин. Следить надо. Пойду посмотрю. В операционной больной лежал по-прежнему с трубкой в горле, по-прежнему продолжалось искусственное дыхание.

– Что, не раздышится никак?

– Плохо что-то, Евгений Львович.

Мишкин взял трубку и стал слушать легкие. Долго слушал:

– Справа в нижних отделах плохо прослушивается. Ослабленное дыхание. А попробуйте снять спонтанное дыхание. Переведите на насильственную, искусственную вентиляцию легких.

– Уже пробовали.

– Еще раз. Влажный он. Плохо с дыханием.

– Угу. Да и давление поднимается. Кислородная недостаточность.

Евгений Львович посмотрел на плечо. Из-под манжетки аппарата для измерения давления вылезал могильный холм и надпись: «Не забуду мать родную».

– Ну, давайте, еще раз попробую. Валя, сделай еще листенон. Сестра ввела что-то в вену из шприца, который лежал на столике уже заполненным.

– Дыхание прекратилось. Начинаю вентилировать. А вы послушайте, Евгений Львович.

Мишкин стал слушать.

– Нет, все равно справа в нижних отделах плохо слышно. Давайте полчаса подышим за него, потом посмотрим. Наверное, ателектаз все же справа. Вся доля не дышит. А вы отсосали из легких?

– Конечно.

– Может, еще раз?

– Мы несколько раз уже отсасывали. Последний раз перед самым вашим приходом.

Мишкин опять вышел из операционной.

– Евгений Львович, вас главный врач вызывает.

– Вот черт! Ну что еще там! Пошел.

– Ну, что случилось? Мой рабочий день кончился.

– Нет, милый, до конца рабочего дня еще три минуты. Тут другое, Женя. Тебя вызывают в райздрав на совещание.

– Когда?

– Сейчас. Еще утром звонили, но ты был в операционной.

– Да ну их к черту. Мне некогда.

– Я им сказала, что ты на большой операции и, наверное, не успеешь, но они очень просили. По поводу нашей открывающейся поликлиники, ты им, как районный хирург, очень нужен.

– Да что я там! Зачем? Сделали – и пусть радуются.

– Там вопрос – можно ли в этой поликлинике открыть районный травмопункт.

– Все равно решат, как захотят.

– Да ты пойми и их положение. Им это решить на совещании надо с протоколом и в присутствии районного хирурга обязательно.

– Пусть напишут, что я был.

– А самоуважение? Да что ты ваньку ломаешь! Пойди.

– Не могу сейчас – больной тяжелый.

– Я тебе машину дам – делов-то на полчаса.

– Да что это за чертовня какая-то! На совещания никому не нужны гоняют, кислород бегать на улицу самому подключать, дыхательной аппаратуры нет. Да что это за издеватель-

ство! В табор уйду. Буду цыган лечить и бродить с ними. Подсчитайте, сколько у нас совещаний, семинаров, занятий, школ, то кого-то мы должны учить, то по гражданской обороне, то по линии санитарной грамотности, то по черт знает чему! А у меня больной тяжелый на столе лежит.

– Женечка, не ори. Я ж предлагала вам составить график по отделениям. В этом месяце на все совещания ходит ваше отделение, например. В следующем месяце другое. И внутри отделения график по врачам. Ходить за всех, и за меня, и за завов, и за замов.

– Вы же первая и пойдете на свое совещание.

– Ну ладно. Иди переодевайся и на машине туда и обратно. Мишкин вошел в операционную.

– Ну как?

– Так же.

– Сколько вы его еще собираетесь вентилировать?

– Часа полтора, наверное.

– Вера Сергеевна, я сейчас в райздрав минут на тридцать – и приеду. А вы пока вентилируйте. Хорошо?

Мишкин переодевается. Вошел Онисов:

– Тебе звонили из поликлиники. Илющенко сказал, что ты на операции и на прием не успеешь.

Мишкин махнул рукой, – мол, правильно.

Он ходил совмещать на консультативный прием в соседнюю поликлинику, где ему платили около трети ставки. К его месячному бюджету, к его полутора ставкам в больнице, прибавка этих тридцати пяти рублей играла существенную роль. Но иногда, когда у него бывали длительные операции или тяжелые больные, он звонил и предупреждал, что на приеме не будет. Он был очень неудобен поликлинике, но это был Мишкин, в нем, конечно, были заинтересованы, а потому терпели.

Перед отъездом он договорился, чтобы через тридцать минут его вызвали с совещания в больницу и прислали за ним машину.

Прибыл он на совещание вовремя. Совещание началось с опозданием, и открыл его какой-то представитель районных властей и прежде всего, поздравил врачей района с подарком, который им сделали строители, построив новую поликлинику.

– Вам, товарищи доктора, все дается, лечите только. Строители вам построили, сделали вам прекрасный подарок.

Мишкин (с места). Двери только не закрываются, а в подвале течет.

Представитель районной власти. Это по дефектной ведомости все исправят – вы работайте, главное.

Мишкин уже собрался было сказать, что подарок это не им, врачам, а им, всему населению, живущему в этом районе. Он хотел сказать, что это экономия времени не врачам, а больным. Он еще подбирал большое количество слов, которые считал уместными в подобном случае, но к нему подошли и сказали, что его срочно вызывают в больницу к тяжелому больному. Начальство милостиво согласилось на его уход, и, не дождавшись других сообщений о грядущих радостях врачей района, он уехал.

Легкое дышало плохо.

Мишкин вместе с Верой Сергеевной наложили трахеостому, то есть сделали отверстие в трахее, и оставили больного на искусственном дыхании. Около все время были Вера Сергеевна, Наталья Максимовна и сам Мишкин. Около десяти часов вечера все, кто находился в эти часы в отделении, – дежурные и оставшиеся с больным – принимали участие в работе. Надо было дышать за больного. Автоматического дыхательного аппарата в больнице не было. Все по очереди становились в головах больного и дышали: сжимали и разжимали дыхательный мяч,

от которого отходила резиновая гофрированная трубка к аппарату, а от него другая трубка шла к дыхательному горлу больного. Все работали по очереди.

Мишкин. Наташа, иди домой. С ребятами кто?

Наталья Максимовна. Кто! Свекровь и муж. Не пропадут.

Мишкин. Иди, иди. Нет, я вам скажу, что в отделении должны работать мужики. Ну, иди, говорят. Хорошо, у вас нет детей, Вера Сергеевна.

Вера Сергеевна. Чего ж хорошего?

Мишкин. Да а. И вы идите, Вера Сергеевна. Не бабское это дело – медицина.

(«Взяли сразу и столько пустили баб в медицину, – философствовал Мишкин, сжимая и отпуская мяч. – Это надо было постепенно. Потихоньку приучать жизнь к этому. Это как большую рану зашивать. Например, после удаления грудной железы. Хочется сразу наложить посредине швы. Сведешь края, а потом, думаешь, легко будет. Ан нет. Надо маленькими стежочками, прямо за краешки кожи, частенько частенько, постепенненько, медленно зашивать, тогда больше шансов, что зашьется ровненько, без натяжения, и заживет хорошо. А тут сразу – хоп! – и столько баб в медицину».)

Вера Сергеевна. По-моему, вы устали, Евгений Львович. Идите в ординаторскую отдохните, а мы покачаем.

Мишкин. Нет. У меня все в порядке. Идите домой. Не бабское это дело. И жизнь пройдет. Идите домой, рожайте детей лучше. А это что за жизнь: семь дней – сняты швы, семь дней – сняты швы, а тут вдруг и жизнь кончается. Идите домой, Вера Сергеевна, идите. Слушайте меня, не возражайте. Главное – это научиться слушать, а не прислушиваться и искать получше возражения. Слушать надо других, понять их стараться. Слушать надо друг друга и стараться понять друг друга. А без этого князь Мышкин – идиот, а Ставрогин – душа общества.

Мишкин явно устал – он болтает, а это у него первый признак. Конечно, устал.

– Евгений Львович, идите отдохните. Ведь операция-то какая большая.

– Вот потому-то и не иду отдыхать. Уйдете домой, вот тогда я посижу в ординаторской. А девочки покачают. А потом опять я. А потом дежурные. А потом и вы придете, и Наталья Максимовна придет.

Вера Сергеевна и Евгений Львович уходят в ординаторскую.

ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Кабинет главного врача. У главного врача, молодой блондинки, лицо сегодня злое. Рядом стоит женщина невыразительной внешности, описать которую я затрудняюсь. Волосы, может быть, серые. Лицо со всеми присущими ему предметами, и все эти предметы даже правильны по форме. Ничего не могу найти характерного в ее внешности. Женщина что-то горячо объясняет главному врачу. Послушаем:

– Марина Васильевна, но он же опять сегодня не пришел на утреннюю конференцию. Так же нельзя.

– Вы, Татьяна Васильевна, хоть и председатель месткома, но должны понимать, что Мишкину я это простить могу. Он здесь и днем и ночью, его вызывают когда угодно. Он не отходит от больных сутками. Он делает операции, которые делают честь нашей больнице. И если мы дисциплину требуем от кого угодно, от себя в том числе, то Мишкину мы это можем и должны прощать.

– Но ведь остальные видят. Каков пример!

– Почему пример обязательно его опоздания, а не его великолепная и самоотверженная работа. Если бы все работали, как он, я согласилась бы и на некоторый подрыв нашей дисциплины и порядка.

– Как хотите, Марина Васильевна, но я считаю своим долгом, как предместкома, вам это сказать. В конце концов, мы, общественные организации, должны тоже следить и поддерживать труддисциплину. У нас порядок не для отдельных гениев, а для всех, и у всех должны быть условия для проявления своей гениальности. Всем одинаково.

– Всем все одинаково серо, и в работе и в дисциплине. Так? Ну, хорошо, спасибо, Татьяна Васильевна. Я учту. У вас есть еще что ко мне? Нет? Тогда давайте начинать работу.

Стертая женщина вышла. Марина Васильевна кинула ручку на стол и со злостью схватила телефонную трубку.

– Кто?.. Мишкин в отделении?.. Срочно ко мне.

Марина Васильевна стала что-то писать, временами откидывая костяшки на счетах.

Стук в дверь. Дверь открывается, и где-то у притолоки повисает голова Мишкина. Он улыбается:

– Здравствуйте. Ругать будете.

– А ты думал. До каких пор это будет продолжаться?! Почему одни и те же разговоры длятся столько времени уже?

– Марина Васильевна, да я только ночью ушел отсюда.

– А я вам говорила уже, что время вашего ухода – ваше личное дело и вашей совести. Хоть вообще не уходите. Но ничто не снимает с вас обязанности приходить на работу вовремя. И никто вам не позволит манкировать утренней конференцией.

– Сашку накормить надо? Надо. Собаку прогулять надо? Надо. А Галя на дежурстве.

– Ох, Мишкин, Мишкин! Вот тут ты мне уже, – показала, где он у нее – в области шеи, так сказать. – Когда ж ты станешь человеком?

– Каким еще человеком? Вот как эти ваши со стертymi лицами, разговаривающие на птичьем языке: стацлечение, труддисциплина, статкарта, задействовать... Нет уж, Марина Васильевна...

– Ну ладно. Надоел ты мне. Как больной?

– Вы знаете, лучше. Положительная динамика. Уже появились шансы. Но я вам скажу, Марина Васильевна, так дальше невозможно. Уже четвертый день все отделение по очереди качает мешок. Все уже без сил.

– Что ты мне это говоришь каждый раз! Ну нет у меня возможности помочь вам. Каждый день, что ли, звонить туда надо?

– Конечно. А вы когда последний раз звонили? Ну, позвоните сейчас.

– Пожалуйста. – Снимает трубку, набирает телефон. – Адам Адамыч? Здравствуйте, дорогой. Как живете-можете? Что нам кинете ценного?.. Как ничего нет? Ну уж бросьте... Адам Адамыч, хирурги у меня уж просто падают... Да. Опять насчет РО. Нельзя работать при сегодняшнем уровне медицины без дыхательных автоматических аппаратов... Да как это можно потерпеть! Четыре дня назад они сделали большую операцию – резекцию поджелудочной железы. Вы понимаете, Адамыч, что это за операция?! И после операции начались неполадки с легкими. Они перевели больного на искусственное дыхание и вот уже четвертый день дышат за него руками. Руками четвертый день! Все отделение занято. Все по очереди: сестры, врачи. И Мишкин, конечно, уродуется со всеми... Как, как?.. Не могут же они прекратить, если есть хоть маленький шанс спасти. Вдруг удастся спасти. Кстати, это им, кажется, удается. Тьфу, тьфу, не взглянуть бы. Ты подумай, Адамыч, каково это руками, без передышки, а? Может, можно все-таки достать дыхательный аппарат? Ведь это какой раз уже все отделение отключается на качание мешком. Да брось ты мне рассказывать, что там будет в следующем десятилетии. Людям-то помощь нужна сейчас... Да вот так! В отделении срывается вся работа, срывается график операций, удлиняется койко-день. За это тоже по головке не гладят в отечественном здравоохранении... А что Мишкин, с ним-то ничего не станется, мы, в конце концов, не о его личной усталости говорим или о нарушенном здоровье его, тут наша «охрана труда» молчит. А вот дело, Адамыч, дело страдает... Поезжай в центр, стучи кулаком, если взятку надо – дадим с удовольствием, в ресторан с кем-нибудь пойти надо – пойдём... Ну новый, когда это будет! Конец года хоть и не за горами, а все ж думать надо о сегодняшних больных и сегодняшних врачах... Кому ехать? Мишкину? Как районному хирургу? А с кем?.. Договорились, Адамыч. Так я тебя прошу.

– Ну вот, Женя. Что из этого получится, неясно пока. Тебе надо ехать насчет оборудования нового корпуса.

– Да что это за дело для хирурга – заниматься оборудованием!

– Господи! Ну, давай все сначала. Ты хочешь, чтобы у тебя в новом корпусе были твои дыхательные аппараты? Если хочешь, тебе сегодня надо ехать.

– Да у меня больные.

– Когда ты уже уйдешь на пенсию? Или я. Ну не могу я больше с тобой. А ты еще и сына родил. Будет такой же. Сумасшедшим нельзя заводить детей.

Они засмеялись, но Евгений Львович вдруг смех оборвал и посерьезнел.

– А почему, собственно, сумасшедшим нельзя рожать? Это еще вопрос. Ведь, в конце концов, мир меняется и улучшается, в том числе благодаря сумасшедшим. Только они ведь могут выйти за рамки известного, обычного, безопасного.

– Иди ты к черту.

– Нет, действительно, ведь безумие – это, в конце концов, выход за рамки безопасности.

– Слушай, иди, иди, не морочь мне голову. Мне еще вон табеля на зарплату проверять надо. Считать тут не пересчитать.

– Каждый занимается не своим делом. Отдайте бухгалтеру. Не доверяете небось – будете наказаны.

– Ты что?! С луны свалился?! Не знаешь, что ли, что бухгалтерию нам уже год как ликвидировали.

– Как, всю разве?

– Как это всю? Половину, что ли? Ну, мудрец ты, парень.

– Я думал, зарплату только централизованно дают, а бухгалтера все-таки оставили.

– Это ж надо! Как будто не работаешь здесь. Иди, Мишкин, иди. Не доводи до греха.

– Действительно, Марина Васильевна, а как все счета, кто все это делает?
– Кто, кто!! Я. Зам по АХЧ. Аптекарь. Старшая сестра. Диетсестра. Все делают, и все делают плохо, неквалифицированно. Поэтому и проверяю все сама, сию считаю. Не потому, что лучше их, а просто еще одна проверка, чтобы не ошибиться.

– И так по всему району? И больницы и поликлиники?

– Вот именно. И ясли.

– А зачем?

– Централизованно чтоб все было. Экономия на штате, на аппарате.

– И что ж, стало лучше?

– Наверное, лучше. Теперь у них машина есть электронносчетная, сосчитает им. Ошибок не должно быть. А разве одна больница может нанять ЭВМ?

– Как единоличник, который не может нанять комбайн. – Мишкин радостно засмеялся.

– Чего смеешься? Чего обрадовался?

– Да так. А сколько медицинских учреждений в районе?

– Двадцать одно.

– И в каждом бухгалтер был?

– И кассир. Иди, дай мне посчитать. Не успею.

– Но мне надо иметь хотя бы представление об этом, раз вы посылаете меня за оборудованием.

– Ну, хорошо. Что ты еще хочешь знать?

– Так сколько сейчас человек работает в централизованной бухгалтерии?

– Сорок семь, и отвяжись.

– А было сорок два? Какая же экономия!

– За счет машины получается какая-то экономия. Может быть, за счет уменьшения ошибок. Ты уйдешь, наконец?

В дверь постучали:

– Мишкина нет здесь?

– Я здесь.

– Вас срочно вызывают в рентгеновский кабинет.

– Господи! Наконец-то ты меня избавил от этого длинного выродка.

– Один раз за все время помешал. Вы ж всегда мной недовольны, по любому поводу.

– Ну и говорлив ты сегодня. У тебя ж тяжелые больные.

В рентгеновском кабинете травматолог Василий Николаевич пытается удержать у экрана пьяного. Тот все время заваливается.

– Евгений Львович, рентгенолога нет. Посмотри его под экраном. Нет ли воздуха и крови в плевральной полости. А я его подержу пока.

– Давай. Да это ж наш дворник. Алле, милый, ну подержись немного. Вот черт, заблевал всего. И себя. Фу, нажрался как. Дайте мне полотенце. Хоть вытру его немного. Вот так. Ну, ставь его. И к темноте уже немного привык. Что, тяжелый? Удержишь?

– Удержу. С утра уже набираются.

– Вася, поедем со мной сегодня в контору насчет оборудования говорить.

– Поедем. Ну как, видно?

– Видно. Пстой, пстой. Куда вы оба делись?

– Сползает он. Ну, совсем не держится.

– Да у него вроде ничего нет. Брось его. Встань сам. У тебя что-то есть.

– Куда ж я его брошу?

– Куда хочешь. Пусть полежит на полу. Без тебя бы он лежал где угодно.

– Потом, Жень, посмотрим. Давай с ним закончим.

– Да он же шел на то, чтоб лежать где угодно. Я шучу. Я успел разглядеть – нет у него ничего. А вот у тебя что-то есть.

– Ну, смотри. Что там? Опухоль?

– Хватит шутить. Действительно, какая-то тень. Надо бы исследоваться.

– Опухоль, наверное, у меня, опухоль, Женя.

– Но маленькая, краевая, периферическая. Типа кисты.

– Ничего, Женя, сделаем операцию, и все будет в ажуре.

– Чего ты зубоскалишь? Сделай хотя бы кровь себе.

– Да ты не волнуйся. Это у меня с детства. Ранение было в детстве, в войну, а потом – вот такое заживление. Это рубец такой. Меня уже тысячу раз хватали с этим. А что с больным делать будем?

– А что хочешь. Обтереть немного надо, а потом протрезвеет маненько, тогда слушаем. Наверное, можно и домой отпустить будет. Передай его дежурным. Нам уже через два часа ехать надо.

Мишкин поднялся в послеоперационную палату. Около больного сидит девочка, сестра анестезист, и равномерно, раз так восемнадцать – двадцать в минуту, сжимает и отпускает мяч дыхательного аппарата.

– Давно сидишь так?

– Часа полтора.

– Ну и как он?

– Все хорошо, Евгений Львович.

– Хм. Хорошо. Устала, наверное?

– Немножко. Давно не меняли что-то.

– Сейчас я тебя сменю. – Он отключил аппарат. – Можешь перестать дышать сейчас.

– Я вижу, что сейчас можно перестать дышать.

– Вижу. Действительно устала. Да ты не обижайся. Давай отсосем из трахеи.

– Я не обижаюсь. С чего, на кого? Давайте отсосем.

Они накапали жидкость в отверстие трахеи. Затарахтел мотор отсоса. Трубочкой стали отсасывать из трахеи.

– Смотри, сколько там всего. Каждые полчаса надо так делать. Сразу и легче должно стать. Ну как, легче сейчас? – почему-то почти на крике обратился он к больному.

Больной кивнул головой, вернее, шевельнул головой и верхними веками. Сказать ничего не может: трахеостомия – голосовые связки отключены.

Мишкин пощупал пульс, померил давление, снова подключил аппарат.

– Иди, занимайся своими делами. Я подышу.

Он сел и стал с той же периодичностью сжимать и отпускать мяч. Сестра стала что-то делать другим больным, лежащим в остальных боксах этой послеоперационной палаты. Потом он отпустил мяч и стал смотреть, как этот дыхательный мешок сам раздувается при выдохе и опадает при вдохе.

– Посмотри, Валя, самостоятельное дыхание у него сейчас и достаточно глубокое и не больше двадцати двух в минуту. Сейчас часик покачаем, а потом посмотрим – как он пойдет на самостоятельном дыхании. Если хорошо будет, то завтра, может, и трубку удалим. Но промывать надо, промывать надо регулярно и время от времени все равно навязывать свой ритм дыхания.

Валя, молча, налаживала кому-то капельницу.

Мишкин молча дышал за больного, о чем-то размышляя.

Сжал мешок – вдох; отпустил мешок – выдох. Сжал мешок – отпустил мешок. Сжал – отпустил. Вдох – выдох.

О чем он думал? Наверное, о том, какой он плохой заведующий, раз сидит сам и занимается этой работой, вместо того чтобы организовать послеоперационное отделение так, чтобы работники все занимались своими делами, а не чужими. Чтоб не заведующий сидел, качал мешок.

А может быть, он думал о том, что эта вот нудная механическая работа, несмотря на отсутствие автоматов, все-таки иногда помогает, и подчас удается спасти больного даже, казалось бы, в самых безнадежных случаях. «Они, наверное, сейчас смеются надо мной, – думал Мишкин, – говорят, наверное, что лечить надо методиками и лекарствами, а не теплом своего тела. Это Галка придумала про меня так говорить. Говорить или думать. И все равно без тепла нашего тела они не поправляются. Что бы там ни говорили, как бы там ни смеялись.

И совсем я не сокращаю себе жизнь. Это Галка таким образом проявляет беспокойство, формальное беспокойство жены, а сама-то ведь тоже так. Не бабское это дело. Вот Швейцера пятьдесят лет тратил тепло своего тела на прокаженных негров, а прожил аж девяносто лет. Хотя то же тепло, наверное, не меньше бы пригодилось и для больных европейцев.

А ведь все могло быть иначе у меня. Все могло пойти совсем по другому пути. И почти пошло, когда я работал в клинике, когда у меня начинался псориаз.

Как хорошо он поддается навязанному ритму».

– Как дела?

Больной как-то обнадеживающе сделал глазами и головой, по-видимому, хотел сказать тем самым, что хорошо идут дела, что, мол, поправляется он. И Мишкин снова стал думать про свое, про прежнее:

«Тогда, когда я работал в клинике и делал карьеру, почему-то меньше уходило тепла тела своего на таких вот больных. (А какие результаты были, он и не помнит. Хотя помнит, конечно.) Помню. Все помню. Надо бы позвонить Галке, пусть тоже с нами поедет. Я ведь ничего не понимаю в этих их анестезиологических, реанимационных, дыхательных аппаратах. Я вот во всем виню начальника своего, шефа. Ну не во всем, во многом. Но ведь что-то было и во мне самом. Внутри меня все это было. Не стоит мне о нем... Где-то, у Марка Аврелия, кажется, написано, что если ты на кого-то сердись, представь себе этого человека мертвым, в гробу, и ты сразу простишь его. Вот именно. Хорошо, что я ушел оттуда. Хорошо, что вовремя это произошло. А ведь мог сидеть сегодня один и лелеять свой псориаз. Ничем бы не занимался, что люблю, а полюбил бы то, над чем смеялся. А я и смеялся. А наверное, не надо смеяться ни над чем, ничто, оказывается, в этом мире не смешно, и все имеет свое место и свою цену. Бог меня почти наказал за мой смех над тем, что я не понимал, как Бог наказывает всех, кто смеется над тем, что не понимает. Так Бог наказывает всех, кто смеется над чем-то, что кто-то вовсе не считает смешным.

Да, помню, шел я домой и думал, как в детстве думал, что, если бы на меня сейчас напали бандиты, жулики и потребовали у меня часы (кому сейчас нужны часы взамен бестрепетного существования? А может, именно чтобы иметь существование трепетное), как одному я бы дал по морде рукой, а другому бы дал в живот ногой, а от третьего бы и просто убежал и спас бы свои часы. И это беспредметное думание меня затягивало и засасывало, и ни один человек мне не встретился на этом странном моем пути, пока в этой черной темноте, почему-то в нашем районе, не попался мне шеф.

Шеф шел быстро, он был элегантен, и даже в этой темноте было видно, как светло улыбается он, наверное думая о чем-то хорошем, идя откуда-то от чего-то или от кого-то светлого.

Я не стал спрашивать, откуда он и почему он в моем районе: он шеф, начальник, и он всегда в моем районе.

– Проводи меня до такси. – Мы пошли, и я сбил его быстрый ход. – Ты чего идешь так медленно? О чем думаешь?

И я стал рассказывать, как я здесь шел, и никого вокруг не было, и как ко мне подошли трое, и как потребовали от меня часы, и как одному я дал по морде рукой, другому в живот ногой, а от третьего убежал, но не отдал свои часы. И мы посмеялись с шефом над тем, кому я дал в живот ногой, и над тем, у кого есть страх перед плохими людьми, и над людскими суевериями посмеялись заодно и договорились с ним, что нечего нам бояться, ибо знаем, чего мы хотим, к чему стремимся, и знаем, как нам чего добиться, и помним всегда, что мы не подлецы.

А потом мы перешли к нашим делам в отделении и начали строить планы улучшения работы. Мы делали дела и принимали решения с уверенностью людей, творивших хорошее для создания еще лучшего, уверовавших в свою абсолютную правоту.

– Надо людей держать в руках. Очень распустились, – сказал он.

– Да, и более всех Кашин, – охотно поддержал я. – Бесперывно со своими рассуждениями лезет на всех конференциях. Может, он прав иногда бывает, но ведь дела то нет в результате. Получается сплошная говорильня, а порядка никакого.

– Ну, он-то у меня в руках. У него на руках экзема бывает. Ежели он дальше так будет, надо намекнуть ему, что можно и из отделения попросить человека, кожа на руках которого не соответствует светлому званию хирурга.

И мы посмеялись с шефом, вспомнив, как Кашин рассуждает и как он оперирует, и посмеялись над его корявыми руками как при движениях, так и на ощупь. Кашин действительно очень мешал нам работать.

– Вообще надо всех перетасовать немного. Батина предпочитает всегда уклоняться от операций – мы ее почаще будем ставить на крючки, пускай ассистирует. А Елкин слишком любит оперировать, и более того, он уже считает, что оперирует хорошо. У меня есть принцип: если ты знаешь больше меня или столько же, значит, ты вырос и уходи на самостоятельную работу.

Я согласился.

– ... значит, Елкина мы подержим в палатах. Пусть поймет, что должен быть порядок, что анархии нельзя допускать в таком деле, как наше. В конце концов, мы имеем дело с живыми людьми, и разногласия у нас быть не может. Поймет, попросит, тогда мы ему и дадим снова нож в руки. А?! – и шеф похлопал меня по спине, и я уверенно с ним согласился. Зачем я с ним тогда соглашался!

Мы помолчали, закурили, пошли дальше.

– Женя, ты вчера на похоронах был? – шеф переключился на смерть одного профессора. Я уж сейчас не помню, кого именно хоронили, но отчетливо помню, что похороны были накануне нашей встречи. – Черт те что человек всю жизнь делал, чего-то добивался, интриговал, сплетничал, кого-то давил, кого-то отталкивал, всю жизнь провел в суете, никто его не любил, всем надоел, всем успел и сумел сделать плохо, может, лишь единицам сделал что-нибудь хорошее, а смотри какие похороны ему устроили. Лицемеры, гниль! Противно. А действительно, великолепная идея – прочел я недавно в какой-то книге: у одной женщины умер муж или кто-то близкий, она сожгла его, а пепел замешала в глину или в гипс, куда там полагается, и сделала бюст его. Вот и я хочу так. И пусть стоит дома. Или в отделении, на работе. Это будет справедливо! А?

И я сказал, что мне противно все связанное со смертью, похоронами, могилой, и я тоже хочу, чтобы меня сожгли, и поскольку ни смерти, ни похорон избежать невозможно, то хорошо бы хоть могилы избежать. Сжечь надо, а пепел рассыпать. Умереть и не занимать места. Чтобы дети или внуки мои не думали о могиле моей, не думали в годовщину, что надо ехать к папе, к дедушке. Они должны жить своей жизнью, пока живут.

Так, в таком веселом собеседовании, мы шли, пока я не посадил своего патрона в такси и пошел обратно на ту дорогу, где я мужественно хвалился ударами в живот ради спасения часов своих.

Наконец я дошел до дома и почему-то, в результате каких-то непредугаданных душевных движений, захотел принять душ.

На груди я обнаружил одну бляшку псориаза. Хотя я очень далек от знания и понимания кожных болезней, которые, конечно же самые трудные и непонятные во всей медицине, почти как душевные болезни, и даже имеют много общего с ними, но все же я помнил, что псориаз часто связывается с различными нервными и аллергическими моментами и еще с чем-то таким же малоопределенным, что лечить его трудно, а точнее, невозможно, что может он быть одиночными бляшками, может распространяться только на отдельные области, а может тотально распространяться по телу и даже уродовать суставы и что чаще всего это бывает на руках, пониже локтей.

Я в ужасе посмотрел на руки. Они были чистые.

Единичные бляшки – ерунда. Не надо нервничать. Единичные бляшки могут сохраниться навсегда и не распространяться.

Про псориаз я узнал еще в школе. Мой товарищ показал однажды свои локти и рассказал про какого-то старика, который здорово лечит псориаз осадком дыма горячей газеты. Я это запомнил, потому что, во-первых, детская память охотно и легко загружается всяким бредом, и потом, меня поразила изощренность людская, додумавшаяся до такого странного лечения.

А потом много лет я не встречал и не слышал про эту болезнь. А уже в институте у меня был сокурсник, который каждый раз покрывался псориатическими бляшками, когда наступала экзаменационная сессия. А потом я видал этих больных, когда мы проходили кожные болезни. А теперь и у меня одна псориатическая бляшка.

Я, помню, рассматривал эту свою псориатическую бляшку и раздумывал, к чему она приведет меня. Пораздумав, я успокоился, потому что хоть псориаз и кожная болезнь, но вполне благородная и даже связана с нервными переживаниями, а на опасных местах у меня ничего нет, и, главное, у меня нет на руках, – значит, ничто не угрожает моей профессии, а дело превыше всего. А через несколько дней у меня произошло непредвиденное на работе. Большую операцию, которую я делал первый раз в жизни, начальник мой почему-то назначил на понедельник тринадцатого числа. Я пошел к нему:

- Перенесите, пожалуйста, операцию Филиппова.
- Почему?
- Понедельник. Тринадцатое.

Шеф посмотрел на сидевших у него своих ближайших помощников и начал:

– Знаешь ли, дорогой мой, мы не можем ради блажи и чьего-то идиотизма нарушать общий порядок. Я был во многих странах, видел отделения крупнейших хирургов мира, там действительно работают как надо, не то что у нас в больнице, и там шеф действительно хозяин отделения, но я нигде не видал, чтобы считались с подобной ерундой. Можно пойти многому навстречу, но нельзя ломать заведенный порядок. Операционное расписание – это святая святых нашего порядка, и путать его я не позволю. Я готов идти навстречу разным прихотям моих помощников, но все в меру. Я демонстрировал свои операции разным хирургам мира, но никогда не обращал внимания на подобную ерунду. Я понимаю, если бы ты сказал, что у тебя в этот день что-то, что заставляет тебя торопиться, например важное любовное свидание или день рождения. Но попустительствовать подобной ерунде – нет, этого не будет. Я соблюдаю общий порядок, и вы будьте добры. Приход должен быть, каков поп. Первое, с чем мы должны и будем бороться в нашей больнице, – это с ерундой и нарушением заведенного порядка. Самое главное, чего мы должны добиться, – это неукоснительное соблюдение порядка...

И говорил, говорил, говорил... и закончил:

– ...состоится в назначенный день, и оперировать будешь ты. Все молчали, и я молчал. День операции приближался.

У больного была резус-отрицательная кровь, а она не всегда бывает в запасе в достаточном количестве, я не тормозил особенно станцию переливания крови, в надежде, что достаточного количества к назначенному дню не будет. Я не торопился. Я не подгонял. Я не волновался. Я не доставал. В понедельник тринадцатого крови не было. Во вторник четырнадцатого ее привезли. Во вторник четырнадцатого я и делал эту операцию.

– Ты что ж думаешь! Я дурак! Я не понимаю, что ты нарочно все это сделал. Вы, Евгений Львович, нарушили расписание операций на всю неделю. Я никому не позволю нарушать мой порядок. Я могу и сам справиться с вами, но я не хочу. Пусть это решает собрание. Мне в глубокой степени плевать на собрание, я хозяин здесь, и окончательно я буду все решать, как и что с тобой делать, но сначала пусть вас покатают на собраниях. Интересно, что будешь ты говорить? О суевериях, да? Я на всю больницу подниму вас на смех. И не подумайте, пожалуйста, что сам я справиться не могу. Пусть я не настолько хозяин, как были братья Мейо, да я и не могу, да и не хочу тебя выгонять, но глумиться над своим порядком не позволю. А за одного битого двух небитых дают.

И говорил, говорил, говорил, обращаясь не столько ко мне, сколько к своим присным, сидевшим вокруг на стульях, креслах, диване.

А потом, я помню, было собрание, посвященное трудовой дисциплине, и выступили все, сидевшие тогда на стульях, креслах, диване, и поносили меня за недостойное советского врача суеверие, сломавшее порядок операционного расписания.

А потом выволокли меня на трибуну и стали требовать объяснений. А наш патрон сидел, посмеивался, и подмигивал мне, и шепнул даже, что он мне покажет пользу порядка, и я знал, что после меня выступит он, и, что бы я ни сказал, он все с блеском опровергнет, потому что говорить он умел и любил.

Я и стал говорить, что не понимаю, о каких суевериях они говорят, просто не было нужной крови в достаточном количестве, что я также осуждаю суеверие у советского врача, и даже у английского или немецкого врача. Я осудил суеверия. Я сказал, что мы должны бороться с суевериями, которые чаще всего бывают у профессий, связанных со стихиями и смертями, как, например, у моряков, летчиков, шахтеров и хирургов, и их, суеверий, значительно меньше у чиновников, юристов, учителей, и что, где бы ни появились суеверия, мы, советские люди, должны бороться против них, должны искать пути разумной борьбы со стихиями и смертями, что я тоже против всяких суеверий, но человеческая жизнь мне дороже.

Во время своей речи у двух сидящих в аудитории я заметил следы псориаза на лице, и мне стало легче.

Босс наш все понял во время моей речи и долго говорил про порядок и необходимость строгости при полном понимании настоящих просьб своих сотрудников, которые все должны стремиться попасть из категории «сотрудников» в категорию «помощников» его, и тогда все научатся очень многому, и он всем поможет, всех научит, все будут довольны, а кто не захочет, – то он никого не держит. Он равно как всех охотно берет на работу, так и охотно отпускает. Он понимает, что уйти от нас хотят только те, кто не любит по-настоящему хирургию, но поскольку работают в ней, то, по существу, являются объективно врагами нашего дела, простить им этого мы не можем, а должны стараться избавиться от них. Пусть, кто хочет, уходит. Уговаривать никого и ни в чем он не намерен. И если наша система здравоохранения не позволяет ему просто выгнать плохого работника, то ограничить его вредную деятельность он всегда в силах, хоть, возможно, этого и мало.

Когда после этого собрания я пришел домой, то обнаружил бляшки псориаза и на животе, и на голове. У меня очень маленькое зеркало, и мне очень неудобно рассматривать тело свое

и трудно искать, где у меня бляшки есть, а где их нет. Поэтому на следующий день я купил большое зеркало и приделал его к двери, и мне стало намного удобнее рассматривать себя.

Я стал обращать внимание на всех окружающих и у многих стал замечать следы псориаза. Либо я не замечал раньше, либо просто все больше и больше людей страдает этим недугом. А я очень боялся, что псориаз мой распространится на мои руки, и тогда я буду вынужден уйти из хирургии, а что я тогда буду делать, ведь хирургию я люблю очень, и все остальное мне кажется либо бездеятельным, либо ничтожным, либо гнусным... И я еще придумывал много определений для разных чужих дел.

Постепенно я настолько свыкся с мыслью – болезнь у меня благородная, нервная, что начал тщеславно рассказывать о моем псориазе всем окружающим, и когда все узнали про это, меня стали расспрашивать, а как руки, не помешает ли эта благородная болезнь моей деятельности. И коллеги мои по больнице тоже время от времени интересовались моими руками, и я всем гордо говорил о чистоте своих рук и о нервно благородной природе моего заболевания.

По вечерам же я раздевался и рассматривал в большом зеркале свое тело. Бляшки единичные были только на голове, груди, спине, животе и ногах. Ничего страшного.

И как раньше я не видел, сколько ходит людей со следами псориаза, а сколько людей почесывается! По мере прогрессирования моей болезни, по мере моего собственного прогрессирования я стал замечать, что, пожалуй, больше половины окружающих меня людей почесывается. Наверное, сейчас стало много больных псориазом – или я действительно не замечал этого раньше.

Когда я обнаруживал у себя новые бляшки, начинал нервничать, и, к сожалению, иногда, особо расчесавшись, я говорил шефу о своем коллеге то, что лучше было бы ему не знать, что вызывало гнев его, а начальственный гнев, как правило, это известно всем, заканчивается какими-нибудь внутренними оргвыводами, которые затем вылезают наружу, и часто с неприятными последствиями не только для оговоренного, но и для всех вокруг.

Я начинал нервничать уже и от этого, и у меня появлялись новые бляшки, и я старался выгораживать перед самим собой свое право на то, что я уже сделал, вернее, что уже наделал. Я начинал думать о человеке, про которого что-то рассказал своему начальнику, и, в конце концов, понимал, что сказал я правильно, что человек этот действительно гад и вполне заслуживает тех оргвыводов, которые свалились на него. Мы ведь вообще очень часто начинаем хуже относиться, перестаем любить тех, кому сделали, или даже пришлось сделать, зло, и мне стало казаться, что и все мы заслуживаем всего того, что свалилось в результате и на нас.

И наконец я решил, что ничего лишнего мною не было сказано и не было сделано. Ведь я лично ничего не приобрел и не получил, но порядка в отделении стало больше, и стал он лучше, и недалек тот день, когда значительно улучшится и наша диагностика, и лечение, и результаты операций.

Во всяком случае, сейчас мне кажется, что все было именно так, как я вспоминаю.

А сам я все чаще и чаще запирался в ванной и изучал свое тело и все больше и больше придавал ему значения. И всегда, когда я увлеченно этим занимался, мои исследования отвлекало капание воды из крана. Капание какой-то странной мелодией. Кап кап кап – разная тональность, разное ударение в каждом «капе». И я думал, когда отвлекался от своего тела, от своих бляшек, что так может капать все: вода, кровь, слезы, слюни, сопли. Я отвлеченно думал и радовался, что не капаю, мне казалось, что я не капаю, совершенно забывая про свои наветы, про распространение своего псориаза, забывая, после чего каждый раз появляются новые бляшки псориаза.

Странно, как самое хорошее трансформируется в самое плохое, в зависимости от самого, самого, что есть у человека внутри. Кроме хирургии я больше всего любил книги и общение с людьми. Я всегда старался уезжать с работы вместе с кем-нибудь. Мы ехали в метро и трепались. Я любил, чтобы люди приходили ко мне домой. Мы сидели подле моих книг и трепались.

Чем больше времени я отдавал людям, тем больше времени мне не хватало для чтения. Я стал стараться уезжать с работы один, чтобы в метро спокойно почитать и чтобы никто не мешал мне. Я стал привыкать к дороге без спутников. Когда ко мне приходили домой, часто уходили с какой-нибудь книгой – не подарок, а так, почитать. И не всегда книга возвращалась. Меня считали не жадным. Это из-за денег. А ведь жадность узнается по отношению к тому, что для тебя дорого, а не по тому, что для тебя ничто. А я постепенно все суживал круг подходящих ко мне людей, я начинал делить людей на могущих попросить у меня книгу и на никогда не просящих книг. Постепенно ко мне стали ходить лишь люди, которые были совершенно равнодушны к книгам, к слову, их больше интересовали заботы о своем теле.

Кажется, все было именно так. Я сейчас все откровенно вспоминаю.

Итак, я работал, я читал, я исследовал свое тело.

Так жизнь шла вперед. Во всяком случае, по-моему, так».

– Валя, давай еще раз его промоем. Промыли.

– Может, сменить вас, Евгений Львович?

– Нет. Я лучше посижу. Так никто и не зайдет из них.

– Да они знают, что вы здесь.

И снова сжимает – отпускает. Вдох – выдох. Вдох – выдох.

«И в результате всех этих философствований, усмешек, передрыг и нервотрепки псориаз мой сильно ухудшился, и в основном на голове. Затылок мой был словно закован в гипс, и мысли не уходили дальше этой преграды.

О чем мне было говорить, когда я весь, и голова в особенности, в путях этой болезни, ограничивающих живую мысль.

И лишь во время операции я отвлекался и целиком уходил в жизнь. От этого я еще больше привязывался к хирургии. Она мне стала необходима, она для меня стала воздухом. Мне казалось, что если я больше оперирую – болезнь уменьшалась. Но в клинике я оперировать стал меньше.

Через месяц псориаз распространился на все руки.

Так бы и ушел совсем из хирургии. Но, слава Богу, ушел я только из этой клиники. И перешел в другую клинику. Надо было, наверное, пройти через еще одно близкое к прежнему испытание, прежде чем я нашел свое место, нашел нормальную жизнь.

А псориаз сейчас остался только на голове. Что же это было – этот странный период в моей жизни? Назвать его пропащим временем нельзя. Наверное...»

– Евгений Львович, вы ж хотели через час отключить его?

– Да, Валечка, хотел. Давай еще раз промоем ему трахею. И вызови кого-нибудь сюда. Позови сюда Онисова. Пусть сидит, качает. Хоть бы раз зашел, посмотрел бы на больного.

– Он сейчас грыжу оперирует.

– Ну, Лев Павлович Агейкин пусть придет. Или кого из девочек позови. Или нет. Давай промоем ему, и пусть подышит сам. Посмотрим. Который час?

– Два часа.

– Уже! Мне ж, наверное, ехать надо сейчас. Эй! Как дела? Легче? – Больной благодарно, удивленно ответил верхними веками. В глазах было: «Кто же я! За что?» Мишкин махнул рукой. – Ну работайте.

Из ридинаторской он позвонил Гале и назначил ей свидание у входа в контору по снабжению медоборудованием.

Прием был им назначен на 15.30. Около четырех часов их и принял начальник конторы этой Петр Игнатьевич Бояров.

Бояров. Ну что, виден стройке конец?

Адамыч. Ну не так чтобы близко, но уже пора думать о внутренностях.

Мишкин. Да знать хотя бы, что положено и что дадите.

Бояров. Семиэтажка?

Мишкин. Угу.

Бояров. Шесть операционных?

Мишкин. К сожалению.

Бояров. Почему к сожалению?

Банкин Василий Николаевич. Вы подумайте – триста пятьдесят коек. Разве нам хватит шесть операционных мест?

Бояров. У вас как распределятся койки?

Адамыч. Пять отделений по семьдесят коек. Сто сорок чистой хирургии, сто сорок травмы, семьдесят оперативной гинекологии.

Бояров. А как же вы столы распределите?

Мишкин. И не знаем даже. На хирургию один экстренный стол, как минимум? Так?

Бояров. Ну.

Мишкин. Один на травму?

Бояров. Ну.

Мишкин. По два плановых стола на каждое хирургическое отделение и по одному на травму. Так?

Бояров. Почему по два на каждую хирургию?

Мишкин. Если в отделении семьдесят коек, то в среднем в день будет одна две большие операции с наркозом и несколько мелочей под местной анестезией. Так?

Бояров. Ну.

Мишкин. Под местной, как правило, операции почище. Это ведь грыжи, вены, всякие маленькие опухоли поверхностные. Значит, если один стол, то сначала надо делать мелочь, а потом переходить к большим операциям. Значит, операции на желудках, скажем, на желчных путях, на кишечнике, пищеводе, легких – придется начинать после двенадцати. А так нельзя. Так?

Бояров. Ну.

Мишкин. Значит, надо два стола.

Банкин. Итого – четыре, два, два и один для гинекологии – девять, стало быть.

Бояров. Ну.

Мишкин. Что «ну»?

Бояров. Ну, мало. Как же вы выйдете из положения?

Банкин. Плохо выходим из положения. Решили по три стола травме и хирургии. А в гинекологическом отделении сделали из перевязочной еще одну операционную. Все равно два стола еще нужно.

Бояров. А два стола в одну операционную нельзя?

Адамыч. По метражу можно. Но строители не разрешают светильники перемещать. В потолочных блоках у них какие-то коммуникации проходят.

Мишкин. Вообще проект устарелый. Реанимация и послеоперационное отделение не предусмотрены начисто. Где-то что-то ломать и перестраивать придется. Больница спроектирована пятнадцать лет назад. А строится только сейчас.

Бояров. Есть уже другой проект. Современный. Еще год будут строить по этому проекту, а через полтора года уже по новому проекту. Тогда вам будет хорошо. Потерпите.

Галя. Потерпите! Нам! Мы уже здесь угнездимся.

Бояров. Ну, вашим друзьям и потомкам. (Смеется.) Ну, хорошо, останавливаемся на семи столах. Хоть это плохо, но сами говорите, что проект устарел. За вашими требованиями не угонишься.

Мишкин. Если догонять со скоростью сто километров за пятнадцать лет. А мы все перестраиваем и перестраиваем. По методу тришкиного кафтана. Так что вы нам дадите? Со столов начнем.

Бояров. Ну.

Мишкин. Сколько?

Бояров. Я ж сказал, десять дам. И в перевязочные.

Банкин. А какие?

Бояров. А вот эти. (Показывает проспект и картинки.)

Мишкин. Да это разве операционные – это перевязочные. Таких нам надо, по крайней мере, двенадцать. По два на этаж, и в приемное отделение, и в реанимацию.

Бояров. Вот и договорились. Выпиши им, Маркин, двенадцать.

В углу комнаты за столом сидел человек, на которого они вначале не обратили внимания.

Банкин. Нам два ортопедических стола надо. Каждому травматологическому отделению.

Бояров. Да они больше трех тысяч стоят. Деньги есть?

Адамыч. На новый корпус денег-то дали. Да что-то толку от них, когда не знаешь, как реализовать. Ведь вы ничего не даете?

Бояров. Ну.

Адамыч. Что «ну»?

Бояров. Как же не даем! Два ортопедических стола хотите?

Банкин. Ну.

Бояров. Берите. Маркин, выпиши один стол.

Мишкин. Хоть один. Еще пять универсальных операционных столов.

Бояров. Нету.

Мишкин. Да как же нет? Ведь не можем же мы открыть без них хирургическое отделение.

Бояров. Ну хорошо. Маркин, выпиши им два стола.

Мишкин. Как же два! Ведь в каждый операционный зал надо поставить по столу. Вы же планировали корпус. Как же можно корпус хирургический планировать, а столов к нему нет! Абсурд. Мы не откроем корпус.

Бояров. Откроете. Обяжут.

Банкин. А оперировать на чем?! На каталках, что ли!?

Бояров. Найдем на чем. Разберемся. Дальше что?

Адамыч. Наркозные аппараты.

Бояров. Это плохо. «Наркон» хотите?

Банкин. Это типа «Макинтоша», что ли?

Бояров. Ну.

Мишкин. Так они для полевых только условий годятся да в перевязочные. А для больших операций... На каждый этаж, в перевязочные, пять штук, пригодятся.

Бояров. Маркин, выпиши пять «Нарконов». А для больших операций дадим венгерский «Хирана 6» и наш УНАП 2.

Галя. А «Полинаркона» нашего нет?

Бояров. Ни одного.

Галя. Завод-то работает, производство налажено – куда ж они делись?

Бояров. У нас, кроме вашей больницы, ничего нет, да? У нас институты, у нас госпитали, у нас учреждения гражданской обороны. У нас все! А тут ваша больница вдруг.

Галя. Но не мы же запланировали нашу больницу, а вы. Два аппарата на триста хирургических коек – это анекдот, это смешно, это преступно, в конце концов!

Бояров. Ну ну!

Мишкин (бьет Галю под столом ногой). Петр Игнатьевич, но это же действительно невпроворот мало.

Бояров. Пока так. А там разберемся. Что еще?

Мишкин. Думаете, чего забудем? (Улыбается. И все улыбаются.) Еще дыхательная аппаратура.

Бояров. Один РО 2.

Галя. Он же давно устарел. Сейчас пользуются РО 3 или РО 5.

Бояров. Сделаете, оформите приказом по горздраву реанимационное отделение – дам РО 5.

Мишкин. Светильники над столами.

Бояров. Маркин, выпиши, что есть.

Банкин. А что есть?

Бояров. А что есть, то и есть. Осветите. Из ничего не только конфетки не сделаете, но и дерьма.

Адамыч. Насчет кроватей как?

Бояров. Каких?

Мишкин. Вестимо каких. Не этих, которые у нас в инвентарной ведомости числятся как «больничная койка», а по существу койка солдатская. Нам функциональные нужны. Чтоб тяжелые больные лежали.

Бояров. Сколько?

Мишкин. Мы бы хотели все. Чтоб как в институтах.

Бояров. Серьезно давай.

Мишкин. Пятнадцать в послеоперационное отделение и реанимацию и по десять, пожалуй, на каждый этаж.

Бояров. Был договор у нас с зарубежной фирмой. По сто сорок рублей кровать. А они, подлецы, на сто сорок семь сделали. Так что у меня на весь город всего триста кроватей сейчас есть. Дам десять. Маркин, выпиши. И все. Все. Время. Конец рабочего дня. Смотрите, сколько времени убили. Маркин, все, иди.

Галя. Было бы у вас все, что надо! Дел-то на десять минут.

Бояров. Вам все тяп-ляп. Это дело, а не черт те что. Сегодня день такой, что даже пообедать не успел.

Мишкин. Мы тоже, Петр Игнатьевич. Может, пойдем, пообедаем вместе?

Бояров. Когда? Сейчас?

Мишкин. Ну.

Бояров. Все равно есть-то надо. Пойдем. Пойдем в компании. А куда?

Мишкин. Да вот же ресторан. Ваш сосед.

Бояров. Ну ладно. Подождите меня в коридоре. Я сейчас.

В коридоре они сбились в кучу.

Галя. Дерьмо мужик.

Мишкин. Зря ты. А его положение каково! Ничего нет, а все пристают.

Галя. Все равно не нравится.

Мишкин. Все, что не соответствует нашим взглядам, – на наш взгляд, плохо. Вот в чем беда. Просто мы думаем не так, как он. Ну да ладно. Деньги у кого есть? У меня с собой только одна пятерка.

Банкин. У меня трояк.

Галя. Я в магазин собиралась. У меня десятка.

Мишкин. Мало. Мотай, Галя, домой, возьми деньги и сюда.

Галя. Да дома тоже нет. Завтра зарплата.

Мишкин. К матери поезжай. Завтра отдадим, наберем. Нам бы сейчас.

Адамыч. А мне, может, вам не мешать, уйти, а?

Банкин. Конечно. Мы тут с ним по-свойски. Как думаете, поможет?

Адамыч. Ну.

ЗАПИСЬ ПЯТАЯ

– Нет, Женька, ты как хочешь, но я не могу понять, чем вы, медики, отличаетесь от всех остальных профессий, что вам необходима какая-то особая клятва.

– Это говорит тебе представитель науки точной, а я, как представитель полунауки и мира эмоций, полностью присоединяюсь. Вот так. А если серьезно – болтовня одна и фанфаронство. Впрочем, может, это чисто хирургическое.

Женя. Я не знаю, нужна клятва или нет, но непосредственно и конкретно очень страшно с чужой жизнью иметь дело. Знаешь, я человек несусеверный, но зачем я буду рисковать чужой жизнью и оперировать тринадцатого в понедельник. Не так ли? И ты, Володька, и ты, Филька, оба вы рационалисты. Ко всему подходите с позиций двадцатого века, зависящих от количества элементарных частиц или еще чего-то меньшего. А медицина еще не достигла уровня двадцатого века. Это биология еще только старается. И пока мы ведем счет на одно человеческое тело. Это страшно. Вот и придумывает человечество до сих пор всякие клятвы.

Володя. Насчет частиц, дематериализации – ты бы лучше не лез, куда не понимаешь.

Филипп. Действительно, пользуйся своими медицинскими примерами и образами и не лезь больше никуда. Ты-то понимаешь ли, что говоришь?

Женя. Ну ладно, до матча осталось тридцать минут. Телевизор выключай. Выпиваем – и я начинаю вещать. Ваше здоровьечко. Пообедать успеем, а?

Филипп. «Дин сколь, мин сколь», как говорится. Конечно, успеем.

Володя. Соленые помидорчики – это «во»! А ваша клятва – это тьфу! Если человек порядочный, то он и без клятвы будет что надо. А не порядочный – и из-за соленого помидорчика...

Женя. Верно говоришь. Выпьем.

Выпили. Жуют. Недолго молчат.

Женя. Там, где есть точные знания, есть счет – где точно известно, что надо делать в тот или иной момент эксперимента ли, производства ли, ремонта ли, заранее можно рассчитать, – там, где делается не по велениям души, не по какой-то там интуиции, неосознанной информации, – там нечего и говорить о каких-то клятвах. Клятва нужна как обряд посвящения в орден и для соблюдения устава.

Володя. Верно. Так зачем вы из себя орден строите?!

Женя. Да это не мы – это все вы. А мы тоже. Мы и есть определенный орден, братство, в идеальном варианте братство, призванное помогать страдающим, созданное для ликвидации, по возможности, страданий телесных. Прощеньца за пафос просим, но пафос и ритуал тоже входят в обряд. И по идее – это не чиновничий аппарат (эх, хорошо бы); к сожалению, не рационалистический аппарат науки, – а может, и не к сожалению, – а какое-то душевное движение с какими-то знаниями. Мы пока не наука, но много умеем...

Володя. Тогда другое дело. Тогда так и объявите.

Женя. Вы меня спрашиваете – я говорю свою точку зрения.

Володя. Это верно. Настоящая наука может позволить себе раскованность, расхристанность, пренебрежение ритуалом. А пока науки нет – надо быть закованным в какие-то полушаманские обряды, например клятву. Тут-де другое дело. Нет вопросов больше. Надо быть закованным, застегнутым на все пуговицы, закрытым высоким и строгим, почти пасторским воротничком, чтобы походить на строгого ученого. Например, клятва. Клятва и показная строгость – братья. Необходимы. Особенно если ты еще при этом думаешь, что являешься представителем науки, да к тому же самой гуманной... как это у вас там произносится с павлиньей гордостью. Долго говорим очень.

Филипп. Если уж говорить о науке, то физики могут себе позволить, как поэты, ходить в свитере, в куртке и на конгресс и по горам. Медик же, если он мыслит себя «представителем»,

вынужден накидывать петлю из галстука. Впрочем, поэт в горы не пойдет. Прогресс искусства еще настолько не вырос, конечно. Каждый в чужом понимает больше и с большим удовольствием говорит не о своем, когда только представляется возможность.

Женя. В искусстве нет прогресса, быть не может. Оно всегда впереди. Так как прогресс в основном это борьба со смертью, а...

Володя. «Друг Аркадий, не говори красиво». И не говори трюизмами. Говори про свое.

Женя. Ты-то, конечно, про свое говоришь. Еще выпью – знаешь, как заговорю! Как физики. Нравится мне феня физиков. То бишь ее нет. Это хорошо. Физики, например, могут себе позволить назвать какую-то там частицу, или подчастицу, или полчастицы именем призрака, порожденного фантазией полумистического писателя, и измерять эти миражи единицами странности или шарма.

Филипп. Ты слишком много знаешь – тебя надо убить.

Володя. Объясняю тебе, Филек. Это он про кварки и Джойса. Ну, болтун.

Женя. Ну, погоди – я про свое хочу. Вот мы, медики, стараемся ликвидировать все личностное, свободное, раскованное, нестрогое. Международная комиссия анатомов ликвидировала именные названия некоторых частей тела организма. Меняют свою орденскую феню. А многие, многие поколения врачей вот уже сотни лет называли паховую складку именем Пупарта. Теперь имя отменено. Фатеров сосок теперь должно именовать: Большой сосок двенадцатиперстной кишки. Теперь нет ни трубы Фаллопия, ни трубы Евстахия. Мы строгостью, респектабельностью, обрядовостью заменяем точные знания. И пока точных знаний нет – нам это нужно: и клятва, и одежда, и ритуал при обсуждениях. А все потому, что наша наука – это будущее, сложнее всяких там химий, физик. Человек или человечество еще просто не доросло до нашей науки.

Володя. Ну, гуляешь, парень. Да что вы без этих наук?

Женя. Именно. А для чего они? Для человека. Чтоб познать человека. И дух, и тело. Вот мы и ждем вас.

Филипп. Ну вот, дождался. Мы собрались здесь.

Женя. А все прочие науки создают у человека манию величия. В свое время дошли, что, если поддеть большой камень палкой, которую посередине опереть на камень маленький и надавить на свободный конец, большой камень оторвется от земли. И сразу же: дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир.

Володя. Болтун. На кого замахиваешься!

Женя. Не огорчайся. Математики спесь сбили. Когда стали считать, почему яблоки падают. Как-то манию величия поубавило.

Филипп. Я, как представитель не знаю чего, предлагаю продолжить трапезу, иначе не успеем. И не обобщай, Жека. Все основные ошибки, заблуждения и злоупотребления мира и в мире начинались с обобщений. Бойся их!

Женя. Иди ты и молчи. А химия занималась поисками камня и способа превращения дерьма в конфетку и газовых миражей.

Филипп. Это нашли. Из газа сейчас и шубы делают.

Женя. Все верно, но дай досказать, потому как когда начнут играть Бразилия с Англией, то наука и все прочее должны будут умолкнуть. Ну, дайте поговорить.

Володя. Ну, пыли дальше. Время на исходе.

Женя. Мы ждем, когда все ваши поверхностные науки сольются в одну нашу и создадут настоящую медицину. А пока не можете, не мешайте нам быть орденом, попами, шаманами, лицедеями, нам нужны клятвы, запрещения курить, пить, не есть сладкого или соленого, бегать трусцой и так далее, потому что все-таки мы много умеем и многим помогаем. А что умирают все же – так стопроцентная смертность останется до скончания мира, наверное.

Филипп. Что касается бега – час утром, и все прекрасно.

Женя. Не знаю. Чувствуешь ты себя, может, хорошо. Удовольствие свое имеешь. И я рад за тебя и за всех остальных радующихся бегунов. А вот полезно это или нет – время покажет, пока неизвестно.

Володя. Ну, теперь поболтай насчет духа. Ты сегодня наговорился. За всех.

Женя. А дух – это другая сфера. Здесь пока верить надо, как в медицину, как в бег, в прыг, в сахар, облепиховое масло... во все. Вот когда, вдруг, сумеют дух разложить на элементарные частицы да кварки, тогда мы тоже начнем его измерять странностями и шармом.

Филипп. Я опять вынужден включиться. Время вышло. Включаю телевизор.

Филл включил телевизор, и тут же раздался звонок.

Филипп. Да выключи ты его, Володька, к черту.

Володя. Всегда как что-то интересное – так телефон. Последний звонок, и все – выключаю. Я слушаю. У меня. Сейчас. Ну, вот тебе! Из больницы. Ты начальник – дай быстрее решительные указания и садись, не мешай.

Мишкин. Вот так. И я поехал в больницу. Я не посмотрел, как играл Пеле. Не видел в этот раз игру Мура, Чарльтона. Я поехал в больницу, куда привезли тяжелую травму. Под крики и стенания ребят я еще позвонил Гале, но ее не было, а наш анестезиолог был в отпуске.

«Кто ж даст наркоз? – думал я в такси. – Интересно, что за травма. Сказали, черепная. И я поехал, даже не расспросив. Может, зря. А не помчался ли я, ничего толком не выяснив, из чистого пижонства. Не хотел ли просто показать ребятам, что ордена, подобные нашему, требуют служения, а не службы или обслуживания. Вот вы, мол, остаетесь получать удовольствие, а я вынужден... Напрасно я не расспросил как следует. Такой футбол пропустил. Теперь уже поздно. Этому пижонству полтора рубля. От Вовки до больницы. А если зря и побегу обратно ко второму тайму – то и все три рубля. Дорого тебе, папаня, это пижонство встанет. А вдруг оперировать придется. Кто ж наркоз даст? Конечно, Агейкин правильно вызвал. Молодец – не постеснялся. И от гордыни можно не вызывать».

В больнице мне ничего не рассказывали, а просто показали человека, у которого из лица торчал кусок, сектор циркульной пилы. Как древняя секира, этот сектор врубился прямо в середину лица, рассекая лоб, нос, верхнюю челюсть и разодрав нижнюю губу. Зубчатый край пилы был во рту. Больной был в сознании, кричал: «Спасите меня, доктора!» Рот, нижняя челюсть двигалась при этом, а пила пилила нижнюю губу. На снимке видно, что пила входила вглубь больше чем на половину черепа.

– Как он живет?

– Непонятно. И в сознании.

– Перестаньте кричать. Помолчите. Вы же хуже делаете. Как его зовут?

– Помогите!

– Ты смотри. Губу пилит. Перестаньте.

– Василий Петрович! Он не понимает. Он пьяный.

– Надо дать наркоз.

– Здесь сложный наркоз. Сестра не даст. Вера в отпуске, и Гали дома нет.

– Да помогите же!

– Господи, он же пилит себе рот.

– Налаживайте пока капельницу и введите сразу фентанил с дроперидолом.

– Да вы что, Евгений Львович! Откуда это у нас? Не выговорю даже. Это из той больницы невропатолог приносил. А своего нет. Тот кончился.

– Я по одному флакончику спрятал у себя в кабинете. Сейчас принесу.

Я взял у себя в запаснике снадобья из мира институтов и привилегий, отдал сестре, сказал, как делать, и тут мне пришла в голову идея.

– Группу крови определили?

– Третья.

Я побежал к телефону.

– Лев Падлыч, – я, по моему, его и огорошил и шокировал таким именем, да еще на радостях от идеи стукнул по плечу, может быть, сильнее чем надо. – Идея! Идея, коллега Агейкин!

– Что это вы так обрадовались?

– Есть у нас телефон выездной бригады пересадок органов?

– Вы думаете, не вытянет? Я тоже так думаю.

– Дурак ты, Падлыч. – Я был, конечно, в излишнем восторге от идеи, придуманного имени и, наверное, выпитого вина, которое постепенно улетучивалось. – Давай телефон.

– Пожалуйста. Вот записан он.

– Алло! Здравствуйте. Трансплантация? У нас есть очень тяжелый черепной больной.

– Бесперспективный для вас?

– Знаете ли, пока живет, всякий перспективный. Как вам сказать. Очень тяжелый.

– Какая группа?

– Третья.

– Ох, это нам очень нужно. А что с ним?

– Кусок циркульной пилы расколел череп пополам.

– А так-то он здоровый был? Сколько лет?

– Тридцать четыре года.

Вошла сестра:

– Евгений Львович, ввели. Молчит. Вроде бы загрузился. Я кивнул головой и махнул рукой, чтобы шла туда, к больному.

– Сейчас приедем. У нас больной лежит на искусственной почке с уреимией. Третья группа позарез нужна.

Позарез!

Теперь я им самое главное скажу.

– Только у меня знаете, какая просьба к вам. Тут для операции наркоз очень сложный нужен, а у нас анестезиолога нет, только сестра. Захватите вашу реанимационную бригаду. Поможете, а уж если не выйдет, будете брать.

– Договорились. Как проехать? Какая больница?

Я сказал, и минут через пятнадцать они уже были у нас в больнице.

Когда я кончил говорить по телефону, в ординаторскую вошел мужчина:

– Здравствуйте. Мне сказали, что приехал заведующий отделением. Могу я с ним поговорить?

– Пожалуйста. Слушаю вас.

– Вы Евгений Львович?

– Да.

– Я начальник техники безопасности с завода, где произошло это несчастье.

– А-а. Слушаю вас.

– Скажите, Евгений Львович, он безнадежен? Есть надежда?

– Надежда всегда есть. Но он очень тяжелый, ничего не могу вам сказать. Может, и удастся спасти. Сейчас начинают наркоз.

– Что жене-то мне сказать?

– Да так и скажите. А дети есть?

– Один есть. А через четыре месяца второй должен быть. Простите, Евгений Львович, вы как считаете, он пьяный?

– Кажется, пьяный.

– Вы понимаете, это ведь тоже очень важно. Уж как с Васей будет, это, как говорится, Бог даст, а вот ответственный за технику, так сказать, безопасности по тому участку, как говорится, под суд может загреметь.

– А он виноват?

– А кто ж его знает. Работал Вася без экрана – нельзя. Но если он пьян, как говорится, тогда тот не виноват, так сказать. А если не пьян и погибнет – под суд. Обязательно под суд. Да и еще незадача. Этот техник по безопасности только что прошел, как говорится, курс лечения от алкоголизма, так сказать. Сейчас не пьет. А уж теперь сорвется, точно. Он как услышал про это, сразу с места сорвался и исчез. Неизвестно где.

– Ничего вам сейчас не могу сказать.

– И у этого двое детей, так сказать. А звонить вам можно, узнавать, как дела?

– Конечно. Запишите телефон. Он записал.

Агейкин кому-то по телефону ответил, что не может сейчас позвать сестру... И я опять, как запрограммированный, прошелся по поводу хамства. Ну, ведь действительно же не трудно позвать сестру.

Но Агейкин всегда точно знал, что, и кому, и как положено, а что и нет, какой должен быть порядок, что для этого нужно. Он все знает – и что государство ему не за то деньги платит, чтобы он ходил сестер к телефону звал, и личные разговоры – это нарушение труддисциплины. И наконец, главный его аргумент: «Сегодня одну позовешь, а завтра всем звонить будут».

Что ж я с ним буду спорить. Я только могу, если подойду к телефону, пойти и позвать сестру. А его бы я с удовольствием после такой вот профвредности отправил бы на санкурлечение. Другие-то зовут к телефону. А может, тоже нет.

Пошел в операционную. Вася лежал, молчал, глаза закрыты, но на оклик открывал их. Просто загружен лекарствами. Это хорошо.

Пока не приехала бригада, хотел позвонить ребятам, узнать про футбол, но вспомнил – они телефон отключили.

Наконец приехали вороны за органами. Но они у меня сначала должны справить функции голубей со святой водой, живительной.

Реанимационная бригада осмотрела больного и занялась налаживанием наркоза. А я, в ожидании разрешения мыться, болтал с доктором их. Перед операциями, при чужих, на меня иногда нападает болтливость. Вот и сейчас:

– А вы как вороны с надеждой уклонить что-нибудь. – Это я вместо благодарности. Хорош! Самому стыдно стало.

– Не бойтесь, коллега, – это она мне кидает. – Ворон ворону глаз не выклюнет.

И поделом мне.

– Это я так пошутил. У нас с вами не вороны отношения. Ведь именно они-то, вороны, собравшись, не могут столкнуться. Они-то, наверное, и клюют друг друга. И над каждым новым трупом новая драка. Это они, вороны, себя успокаивают, что не выклюют.

Усмехнулась: «Доктор, мойтесь».

Я с Падлычем пошел мыться. Как быстро я привык к этому имени.

Началась операция. Нам удалось довольно легко удалить эту секиру. Я боялся кровотечения из венозного синуса, но он, по-видимому, как это ни странно для локализации раны, не был поврежден. Пилу убрали – ничего не случилось. Показатели больного оставались стабильны.

Анестезиолог из бригады, ждавшей возможность забрать почку, все время успокаивала меня и поддерживала:

– Все хорошо, доктор, все хорошо. Он стабилен. Работайте спокойно.

Хорошо провели наркоз ребята. Да и сама анестезиолог очень приятная женщина. Длинноногая блондинка. Что-то у нее еще в глазах было – слов не найду. Жалко, я ее не разглядел как следует сразу, пока она маску не надела.

Я начал зашивать. Лоб, нос, обе губы зашил легко. Трудно было зашивать во рту, небо. Но это трудности были чисто технические. Кости я не сшивал – не было нужды.

В конце операции анестезиолог сказала:

– А больной-то ваших перспектив, не наших.

– Что поделаешь.

– Просто прекрасно. Мне, конечно, жалко того с уреимией на искусственной почке. Но дай Бог вашему здоровью, а вам с ним удачи. А мы найдем кого-нибудь. Таких травм относительно много, к сожалению.

Мы кончили операцию. Вася был вполне приличен. После выведения из наркоза глаза открыл, даже что-то сказал. Сознание есть! – это главное. Пока все прекрасно. Если выживет, наши травматологи могут показать его на своем травматологическом обществе. Шутка! – голова пополам. Наверное, не дошла секира до места связи между полушариями. А без маски она тоже вполне прилична.

Почему я так возбуждаюсь после сложных операций? Говорят, что в каких-то странных и страшных единицах какие-то диссертанты ухитрились измерить количество сил, уходящих у хирургов за время операции. Не знаю, не знаю. У меня совсем не так.

Анестезиолог. Я его еще подержу на столе и, если все будет так же, переведу в палату. Привезите кровать сюда.

Сестра. А каталку нельзя?

Анестезиолог. Можно. Но дважды переключать для него все-таки тяжело.

Сестра. У нас кровать без колесиков.

Анестезиолог. А специальных подставок подкатов с колесиками нет?

Сестра. Сколько раз ездили в магазин – их все нет и нет.

Анестезиолог (засмеялась). Узнаю нашу неуклонную систему практического здравоохранения. Система осечек не дает. А в институтах, в академической системе, и кроватей функциональных полно и подкаты есть.

Тут и я включился:

– Доктор, а у вас нельзя чем-нибудь поживиться? Какими-нибудь лекарствами дефицитными для нас, например.

Анестезиолог. Надо посмотреть, чего у вас нет.

Я. Ну, вы кончайте заниматься больным, станет еще, как вы говорите, стабильнее, приходите в ординаторскую. К тому же и записать надо.

– Сейчас иду. Идите. Я иду следом.

Определенно хорошая девочка. Зачем ей работать в ожидании трупа? Пусть бы к нам приходила. Там она научный сотрудник, – получает больше. Жаль.

Анестезиолог. Что вы стоите, Евгений Львович? Раздевайтесь, пойдем в ординаторскую.

Я. Да, идем. Как вы думаете, Лев Павлович, – убывают силы хирурга во время операции или увеличиваются?

Агейкин. Смотря на что. (Хихикает.)

Я. Так и я могу ответить. (Агейкин хихикает.)

Агейкин. А вот в институте одну работенку делают. Определяют степень вредности хирургической работы.

Я. Хиработы.

Агейкин. Что, что?

Я не стал повторять.

– Ну и что?

Агейкин. Обвешали хирурга во время операции всякими датчиками, как космонавта, и стали наблюдать за кардиограммой и давлением. Резекция желудка была. Когда лигатура с артерии сорвалась, на кардиограмме предынфарктное состояние, а давление свыше двухсот. Перевязал – и все в норму вошло. Представляю, сколько раз за операцию. И сброс веса за операцию – три кэгэ.

Я сказал, что, сколько ни взвешивался до и после операции, вес сохранялся. «Но это-то ладно, ты скажи – за вредность начнут платить рублей пятнадцать – тридцать, хоть десятку, как за степень, или нет?»

Этого он, конечно, не знал, а всякие легенды собирает по сусекам. Я опять пошел к больному. А он мне: «Да пойдемте, Евгений Львович. Запишем лучше. Прав Онисов – уникам вы. Чего опять пошли?»

Небось, сам и не знает, что такое «уникам». Наверное, думает, что «идиот».

Я. Может, сам запишешь? Чего там особенного. А наркоз лапонька запишет.

– Нет, тут сложно. Я боюсь. Давайте вместе.

– Ну ладно. Я пошел к анестезиологу. Больной совсем хорош. Дай-то Бог. «Я играю на гармошке у прохожих на виду: к сожаленью, день рожденья только раз в году».

Мы не успели с ней договориться, чем бы они могли нам помочь, решили созвониться, потому что им пришлось срочно уезжать. Где-то им снова замаячила почка с третьей группой крови.

А футбол я так и прозевал. Да и вообще было уже два часа ночи. Гале я позвонить не мог – квартира-то общая, но она, говорят, звонила, и ей все рассказали.

После операции позвонил начальник техники безопасности. Я его успокоил.

Потом позвонила жена. Тоже успокоил.

А потом стал записывать.

А потом я изрядно объел дежурных. Впрочем, и они тоже ели. А около пяти легли спать. До половины восьмого можно поспать.

Но около шести опять позвонил этот, из техники безопасности. Разбудил. Все испортил. А так спать хотелось.

А скоро уж и рабочий день.

На утренней пятиминутке я рассказал об этой травме. Потом все пошли его смотреть. Днем позвонила анестезиолог – справлялась, как Вася. Мы, конечно, могли все по телефону обговорить. Сказала, что посмотрит нужные лекарства у себя и чтоб я ей потом позвонил.

И пошла работа. В первый день Вася был очень тяжелый. На третий день Вася потерял сознание. А потом все прошло, а что это было, мы так и не поняли. А помню, как он пошел по коридору первый раз. Его вели жена и наша сестра. Он очень быстро поправлялся. Сфотографировали его. Сфотографировали рентгеновские снимки. Травматологи решили показать его на своем обществе.

Но что нас серьезно угнетало – это безвременные звонки начальника департамента техники безопасности. Он звонил ночью, днем, утром. Врачи ругались. Он будил, иногда сразу, как только врачи засыпали под утро, после какой-нибудь тяжелой операции. Иногда создавалось впечатление, что ему сообщали, мол, легли, можно звонить, и тогда он начинал звонить. Он нашел мой домашний телефон и позвонил как-то поздно очень – его обругала соседка, а мне пришлось извиняться. Соседка не ругалась, а я не извинялся, когда звонили из больницы. А это так, не больница. Он звонил даже Марине Васильевне домой.

В ординаторской по телефону первый его обругал, конечно, Агейкин, которого он разбудил около четырех утра. Потом Онисов. Опять мне пришлось извиняться. В конце концов, и его судьба решается. И увольнение может быть, и суд. А тот-то, на участке которого случилось несчастье, снова запил, лечение насмарку, уволили поначалу за пьянку, а дальше уже все от Васи зависит. Сейчас начальник звонит только мне. Не звонить уже не может. И я каждый раз иду к телефону. Жалко его мне. Ну, не каждый раз. Иногда я отмахиваюсь, прошу сказать, что меня нет. Короче, жизнь идет, Вася поправляется.

– Евгений Львович, вас к телефону.

– Я слушаю.

– Евгений Львович, здравствуйте. С вами говорит анестезиолог из «пересадки органов». Помните?

– Конечно. Здравствуйте, здравствуйте.

– Евгений Львович, я вам достала и лекарства, которых у вас нет, и трубки трахеотомические – вы жаловались, что у вас плохие.

– Большое спасибо. А как это практически получить?

– Вы к половине пятого подойдите к вашей автобусной остановке, а я подъеду, у меня машина.

– Да мне неудобно, мало того, что вы нас облагодетельствовали, так еще с...

– Ну ладно, ладно. Я ж говорю, у меня машина. Договорились? Да? Все. – И гудки в трубке.

Я встал, потянулся, почесал затылок. Поглядел на шкаф – пыли на нем!

– Обещали мне достать сегодня...

В половине пятого я уже стоял на автобусной остановке. Подъехала машина.

– Уж не знаю, Евгений Львович, поместитесь ли вы в эту машину.

Я и в «Запорожце» помещался, а уж в «Жигулях» и вовсе устроился крайне комфортно.

– Поехали. Вон сзади лежат вам ваши бебехи, Евгений Львович, я существенно моложе вас, простите, так что зовите меня, пожалуйста, просто Ниной.

– Слушаюсь, просто Нина.

– Что ж, мы вам больше не нужны? Никогда нас не вызываете.

– Так вас же для нашего дела не вызовешь. Только когда вы схватить что-то можете.

– Ну, положим. Мы вам тогда помогли совсем для другого. Мы ж спасали, а не жаждали органов. Все как раз наоборот. Как он, кстати?

– Хорошо, но тогда был случай экзвизитный.

– Эх, Евгений Львович, Евгений Львович, – экзвизитные случаи валяются на каждом шагу, мы ходим по ним.

Возвращались мы поздно. Сзади сидел несколько захмелевший Володя. Немного больше, чем надо для водителя, была навеселе и Нина. Я еще держался ничего. Это естественно: если алкоголь распределяется на килограмм веса, то мне надо больше, чем им, чтобы сильно опьянеть.

Сначала отвезли Володьку. Прощаясь, он долго целовал ручки и причитал:

– Не могу в тысячный раз не поцеловать ручки такому очаровательному реаниматору. – Целует ручку. – Если буду умирать, – целует ручку, – вызывать только вас буду. – Целует ручку. – А если не буду умирать, – целует ручку, – вызывать буду вас с еще большим удовольствием. – Целует ручку. – А Филька, что не приехал, – сам дурак. – Целует ручку. – Пусть сидит дома, пусть неудачник плачет. – Целует ручку. Ушел.

– А теперь к тебе, Нина. Во-первых, это недалеко от меня, а во-вторых, как ты одна пьяная поедешь!

– Ну, другая бы спорила, а я, пожалуйста. Ох, муж и будет ругаться, что я пьяная на машине. Но ты ж мне помочь не можешь. Ты водишь машину? Нет. Ну и поехали.

Постепенно Нина пьянела все больше и больше. Она теряла дорогу, машина сбивалась на сторону. Хорошо еще, что на набережной не было ни пешеходов, ни машин, ни милиционеров.

Я стал думать, что мы можем оказаться сейчас хорошими кандидатами как для действий моих коллег, так и для действий Нининой бригады, когда они выполняют свои прямые обязанности и забирают уже ненужные органы, а не так, как действовала их бригада у нас.

Время от времени машина явно уходила к тротуару, и я брался за руль двумя пальцами и поворачивал его немного влево. Получалось. Когда машина уходила слишком влево, за осевую линию, я теми же первым и вторым пальцами брал руль и крутил чуть к себе. Опять получалось – гордость моя росла с каждой новой опасностью.

Когда мы благополучно доехали, я считал, что лучшего водителя, чем пара Женя – Нина, и не сыщешь, что им бы только ездить да ездить.

Доехали благополучно до ее дома. И до своего дома я тоже добрался благополучно. И еще с собакой благополучно погулял.

* * *

А Вася выжил, выписался домой. Я позвонил, сказал об этом Нине, поздравил ее. Для всей больницы это была большая радость. Мы его провожали чуть не с цветами. Мы с цветами! Сестры провожали его до ворот. Смешно, да? Больного провожали с цветами. Ну, не смешно, но, во всяком случае, как-то сусально-газетно. А вот и так бывает. За ним пришел сын его шестилетний. Скоро жена должна второй раз родить. Всему семейству и Васе объяснили, что пить ему никак нельзя. Да он и не хотел пить. А мы пошли и выпили.

Тут я соврал. Я не ходил. Это Агейкин с травматологами пошли и выпили.

Мы решили не отдавать его в поликлинику. Вася приходил к нам, а мы его смотрели и продолжали ему больничный листок. Боллисток, как некоторые у нас говорят. Смотрели его раз в неделю. Делали снимки. Показывали невропатологам.

Мы радовались за него, как газеты радуются солнечному или лунному затмению.

Однажды Вася пришел и сказал: «А ведь скоро, дней через пять – семь, ей родить». Мы стали проявлять свое понимание и восторг.

– А ведь я не управлюсь с ней сейчас один. Да сын еще. Мы согласились.

– А не лучше ли ее отправить к моим родителям, и мне с ней – это всего пятьдесят километров.

Мы опять согласились. Мы не понимали, почему он спрашивает с заискивающим сомнением. Но Вася, по-видимому, лучше нас знал все правила оформления больничного листка. Мы-то с этим не имеем дела, это в поликлинике. А мы только и знаем, что каждые десять дней должны быть две подписи. Вообще, конечно, мы всё знаем, но по легкомыслию не думаем об этом. Подписываем, и все, и не оформляем по всей букве инструкций. Позволяем себе. Так легче.

Вася чувствовал себя хорошо, много ходил, делал кое-какую простую работу по дому. Мы и сказали ему. Вернее, это я сказал, не подумав: «Езжай, конечно. А больничный мы сейчас оформим». И я написал ему больничный лист с первого по десятое, с одиннадцатого по двадцатое и с двадцать первого по тридцатое. Поставил свою подпись и вторую подпись врача, подвернувшегo под руку.

– Ну, Вася, желаем тебе... Кого хочешь, мальчика или девочку?

– А все хорошо.

– Ты сообщи, как родится. А дней через пятнадцать покажись. Тебе с тридцатого уже на инвалидность надо. Бумаги надо заготавливать, анализы делать, снимки. Обязательно приходи раньше. На прежнюю работу тебе нельзя.

Мы с Васей договорились, и он уехал.

А шестнадцатого Марине Васильевне позвонили из следственного отдела и сообщили, что к ним поступил больничный лист этого Васи с заявлением от администрации завода, что врачи, лечившие Васю, не наблюдали, незаконно выдали больничный лист на целый месяц вперед и незаконно разрешили ему уехать к родителям в область, что у него седьмого родился сын, а тринадцатого (я думаю, что как раз когда забирал жену из роддома, седьмой день) он умер и что администрация завода просит привлечь к ответственности врачей, столь грубо нарушивших и финансовые правила (это они больничный лист имеют в виду) и врачебный контроль за здоровьем. Врачи полностью пустили лечение на самотек, нарушив и законы, и элементарную врачебную этику и так далее и так далее.

Марина Васильевна просила принести историю болезни и амбулаторную карту. Историю болезни я принес, а амбулаторной карты никакой не было. Я ничего не записывал после выписки из больницы. Я смотрел, делал назначения, консультировал, снимки делал – лечил, но никаких записей нигде не делал.

И тут же приехали из городской экспертизы трудоспособности и, не увидев амбулаторной карты при больничном листке до тридцатого, а смерть тринадцатого... Что дальше рассказывать!

Эксперт по трудоспособности требовал перевести меня в фельдшера до суда. Крик был по всем инстанциям – район, город, министерство. Все требовали.

Все кричали, спрашивали: «Где же ваши записи?! Что вы нам ссылаетесь на лечение! Ваше лечение – это ваше личное дело. Вы покажите запись о вашем лечении – это уже дело будет наше, общее, государственное. Мы студентов учим с колыбели: пишите, пишите – это ваш единственный юридический документ. Не словам верят, а документам. Пишите и помните, что за вашей спиной стоит прокурор. Где ваши документы? Что вы покажете прокурору?» Инстанции шумели, бушевали, угрожали. Инстанции-то никогда не верят. И действительно, вдруг я за деньги дал больничный лист, вдруг я по сговору не стал лечить больного, вдруг я у здорового отнял почку, сердце или мозги для какого-то другого.

А я ведь врач! Смешно. Потом все же дали право главному врачу решать и казнить в рамках больницы до суда. «А уж после суда нам (инстанциям-то есть) делать будет нечего и решать незачем».

Так и решили.

Марина Васильевна шумела и орала на меня по другому. Она не плакала, но в крике ее я слышал слезы.

– Что ж ты наделал! Ведь сейчас плевать на все твои операции, на уровень смертности, на успехи твои, наши. Засудят! Будь что будет... Сколько я тебе говорила, предупреждала... Дам сейчас в приказе строгий выговор, и будем ждать, что скажет следствие.

Дали выговор, район утвердил. Главная сказала: какой фельдшер! А оперировать кто будет? Только после суда. Ну район и утвердил. Я работал. Там еще бабушка надвое сказала, а я пока оперировал. А больше я ничего не умею. Говорят, и на лесоповале для хирурга работка найдется.

Я продолжал оперировать. Я продолжал жить, как всегда.

Наконец вызвали к следователю. История болезни и заключение медицинской экспертизы уже были у него.

– Садитесь. Курите?

Господи, как в анекдоте. А сейчас он скажет: «Ну что, молчать будем или рассказывать сами станете». Нет. Он про другое:

– Лечение ваше правильное. Эксперт мне сказала, что вы сделали больше, чем возможно. И даже сказала: посмотреть бы мне на этих ребят. За что-то вы ей понравились.

Я мычал. А что мне сказать. Следователь продолжал:

– А как вы думаете, почему столь резкое заявление от завода? Вы что, с ними ругались?

– Нет. Все было хорошо. Сгоряча, наверное. Ведь в тот же день заявление пошло. Да и не знали, как с больничным поступить. Такого у них, наверное, не было.

– Угу. Может. Может. Нет, доктор. Шкуру свою спасают. За эту штуку техника безопасности должна пойти под суд.

– Почему? Он же пьяный был. Это снимает с них, по моему, обвинения.

– Пьяный! Во-первых, нельзя пьяного до работы допускать. Во-вторых, надо смотреть, когда на пиле работают без экрана. И техник по безопасности пил-то с покойным.

– Так что ж, в тюрьму его, что ли?

– Не знаю. Может, условный срок дадут. И принудление от алкоголизма. Они хотели на вас спихнуть и на этом выехать.

– Но я ж действительно виноват. Больничный лист я неправильно выписал.

– Конечно, безобразие. За это выговор вам нужно дать. Премии лишить.

– Выговор есть, а премий у нас не бывает. Потом у меня нет амбулаторной карты, где записывают осмотры, консультации, назначения, рекомендации.

– А где она?

– Не завел, не писал. Лечил, смотрел, а не писал. Больничный давал.

– Один смотрел?

– Нет, смотрели и другие доктора. Нам же было всем интересно. Кроме хирургов и травматологов еще и невропатолог смотрел... еще анестезиолог приезжал, который наркоз давал.

– А они подтвердят, что с вами смотрели?

– Естественно. Они ж смотрели.

– Тогда какое имеют значение ваши записи?!

– Но это ж единственный документ.

– Да что нам ваши документы. Свидетели есть? Есть. Экспертизы решение есть? Есть. Можем еще очные ставки провести. А бумага... знаете ли.

– А нам говорят, что вы словам не верите, только документам.

– Это только ваши инстанции решают по документам. Они незнакомы с элементарными нормами права. Все в этом отношении вы невоспитанны и безграмотны. Если хотите найти правду – не в бюрократическо чиновничьих инстанциях ищите, а в суде. Мы на страже законов, а не ваших циркуляров. Все дела против врачей не жизнь создает, а, по существу, сами же врачи, другие. Если ваши медицинские инстанции нам не мешают, мы всегда строго придерживаемся буквы закона.

– Буквы или духа? – глупо спросил я, поскольку не знал, что говорить.

– Конечно, прежде всего, буквы закона. Дух, знаете ли, все могут понимать по-разному... – усмехнулся. – В законе важна буква. А инстанции ваши сначала напишут циркуляр, а потом гоняются за духом инструкции. И вот результат. Хирургам портят нервы.

Так вот у меня и остался только выговор. И про клятву меня следователь не спрашивал. Ему важна была буква. Буква и цифра.

Позвонил, сказал анестезиологу – она ведь тоже участник эпопеи этой.

ЗАПИСЬ ШЕСТАЯ

– В основном я знаю. Вы, Евгений Львович, расскажите, как это произошло. Все-таки во врачебной семье.

– Она шесть дней, Захар Борисович, никому дома не говорила. Лишь на шестой день она сказала бабушке, и та привезла ее к нам.

– Как же она терпела?

– А Бог ее знает. Девочка чудная, терпеливая, вежливая. Очень рассудительная и, наконец, красивая. У меня все разрывается, когда я смотрю на нее. Ей-Богу, вот квартиру мне в районе обещают, отдал бы ее к черту – лишь бы поправилась. Это я виноват. Надо было сразу. А я сомневался, сомневался...

– Конечно. На шестой-то день поставь сразу диагноз! Засомневаешься. Шесть суток. Нет уж, вы, Евгений Львович, не зарывайтесь, больше чем надо не кайтесь. Это уж гордыня. А что на операции нашли?

– Сам аппендикс был как деревяшка – плотный, покрыт фибрином, на кончике маленькое отверстие. Купол слепой кишки тоже плотный. Вокруг инфильтрат, гной в центре и общий разлитой перитонит.

– И что сделали?

– Отросток убрали. Как мог, залатал купол и подшил его к брюшине, а то ненадежно было. Потом часа два протирал, полоскал, промывал живот. Поставил дренажи в четырех местах. А теперь в вены лью все, что могу. Спасибо реаниматорам из центра. Возим кровь туда на анализы: солевой баланс наша лаборатория не определяет.

– Плохая лаборатория.

– У нас теперь районная лаборатория, централизованная – только хуже стало. А в центре реанимационном нам делают, приезжают. Балансируем солями – то это льем, то другое. Сами увидите – все записано.

– Я не уверен, что могу вам чем-нибудь помочь; но знаете, родственники волнуются, естественно, просили – я и приехал.

– Да что вы, Захар Борисович, я так рад, что вы приехали. Вместе подумаем. Может, что подскажите? Четырнадцать лет! Вот посмотрите ее анализы на сегодняшний день.

Захар Борисович приблизительно такого же возраста, как и Мишкин, даже почти такого же роста и тоже очень удачливый хирург, но оперировал чуть меньше, ведь ему пришлось тратить время на аспирантство, на ублажение своего научного руководства, на написание сначала кандидатской диссертации, потом докторской. Сейчас он доктор наук, профессор, и родственники девочки пригласили его на консультацию. Профессор взял историю болезни в руки и стал ее листать.

Мишкин сидел рядом и курил. Впечатление было, что он ни о чем, кроме сигареты, не думал и смотрел только на дым.

Временами он захватывал подбородок большим и указательным пальцами, потирал его, а потом смотрел на пальцы, будто отросшие на подбородке волосы могут остаться на руках. Досадливо поморщился – вспомнил Галину забывчивость. «Ежедневно сюда приезжает. Ну, спасибо, помогает нам с девочкой. Но бритву-то мне можно привезти! Безобразная забывчивость. Что ж мне, оперировать бороду, что ли!»

Он опустил голову на руки, прикрыл на минутку глаза и потер веки.

– А здесь, Захар Борисович, на этом листе, – что мы лили и сколько.

– Вижу. Пойдемте, посмотрим девочку. Потом думать начнем. – И, сделав вид, что они еще не думали, вышли из кабинета.

Смешно было смотреть на них сзади, когда присоединились и другие врачи отделения. Впереди двигались почти двухметровые два ферзя, а сзади пешки обычного размера. Кто! что! ими двигает?

После общей дискуссии в ординаторской зашли опять в кабинет к Мишкину.

– Ну, конечно же, что я вам посоветую, Евгений Львович? Все правильно. Конечно, если бы вы могли достать аминазол и интралипид, это сильно бы поддержало ее силы. Не ест же ничего. В данном случае это было бы очень полезно.

– Да где взять! А ну их к черту, скажу родственникам – может, достанут. Нам же не разрешают давать родственникам рецепты.

– Плюньте. Скажите. Девочку жалко.

– Конечно, скажу. Главную вот только не хочется подводить. Я еще в первый день дал бабушке рецепт на сигмамицин. Она много лет работает главным врачом – связи есть, привезла. А потом главной позвонили откуда-то из инстанций, где, по-видимому, бабка доставала, и стали кричать на тему наших прав и обязанностей. Мол, если бесплатное, то и лечите бесплатно тем, что есть, или сами доставайте. А нет – так нет. Дескать, ни родственников, ни их деньги включать не имеете права. Бабка, говорят, у них все пороги обила. Утомились, видите ли. Ну, а наша и сказала им в ответ: «Правильно сделала. У меня б дочка так болела – и я бы бегала». Сказать-то сказала, а могут выговор влечь.

– Могут, конечно. Но без риска хирурги не работают. Такова, так сказать, селави, как говорит мой сын. Может, достанут. Ей бы это было неплохо.

– Вестимо, неплохо. Рискуют хирурги, а расплачивается главный врач.

Дальше пошел пустой светский разговор, завершающий консилиум, даже не пустота, а бессмыслица.

Они катили по камням пустую бочку конца консилиума. Захар Борисович думал о чем-то своем, цитируя «мо» своего сына, а Евгений Львович вернулся в мыслях к девочке, временами выплевывая вслух свое любимое «вестимо», безличные «дескать», «отнюдь» и все прочее из арсенала необходимых необязательностей.

Наконец они расстались около машины, и Мишкин пошел в палату к девочке.

Сначала посчитал пульс.

Затем посмотрел язык.

Потом проверил капельницу – с какой скоростью капает, как стоит игла в вене.

Наконец стал шупать живот. Сначала легонько, поверхностно.

Затем нажимая сильнее, одновременно наблюдая за лицом.

Потом стал шупать около самой раны, отвлекая девочку разговором.

Наконец перестал ее осматривать и заговорил с бабушкой доктором, сказал ей об аминазоле и интралипиде: «По четыре флакончика хорошо бы того и другого».

– Не мало будет, Евгений Львович?

– Хватит, наверно, пока. Они дорогие, Дарья Гавриловна.

– Вы уж наши деньги не экономьте, пожалуйста, Евгений Львович. Нам сейчас не до этого. Пойду звонить.

И опять к девочке:

– Ну все ж как тебе сегодня, а?

– Я ж сказала, Евгений Львович. Хорошо. Лучше, чем вчера.

– Пить хочется? Трудно не пить?

– Нет.

– И язык у тебя влажный. – И к сестре: – Какая хорошая девочка. Вот бы я ее себе в невестки взял. – И к девочке: – Только жалко тебя. – И к сестре: – Он ей в подметки не годится.

Пошел по коридору. Зашел к дежурным. Один сидел ел. Другой спал.

– Хорошо вам – не везут ничего. Вы за девочкой смотрите. Сейчас ей капают калий. Там все написано, что капать и когда. Если привезут аминазол и липид этот – позвоните. Как бы не перелить ей жидкостей больше чем надо.

– Уже семь часов, Евгений Львович. Идите домой. Если что – позвоним.

– Да, позвоните. Иду. Дай закурить. Покурю и пойду. Сел, как провис.

Сначала молча курил. Затем опять заговорил о девочке.

Наконец встал, попрощался и пошел по коридору опять к девочке.

В восемь часов он все же из больницы вышел.

Шел он, медленно переставляя ноги, но, по видимому, благодаря их длине, что ли, в конечном итоге получалось, что шел он быстро.

«Мне бы сейчас несколько молодых ребят. И чтоб мужики. – Поначалу Мишкин шел медленно, и размышления его носили размеренный характер. – С мужиками легче. Каторги домашней нет у них. Ну что Наташа, например, ну, хороший хирург, но дети, магазины, муж. Нет, ребят мне нужно, ребят. Вот выстроили нам, скоро открывается, новый корпус – кому работать? Народу не хватает. Набрать бы ребят – и девочку было бы на кого оставить. Посадил бы, и сидели. И с удовольствием. А так, когда их несколько человек, – где взять? Вон автобус. Не побегу. Пройдусь еще. Медленно. Дежурств на каждого тоже приходится много. Правда, заинтересованы – подработка нужна. А много не разрешают. Вдруг доктор переработает. Охрана труда зорко следит. А если недоест – неважно. Охрана еды – нет такого сектора в месткоме. Пожалуй, девочке надо еще гамма глобулин завтра дать. Надо сказать аптеке, чтобы достали. И Нина обещала какой-то новый антибиотик привезти. Сейчас бы она была. С машиной быстрее. А где ж хирургов брать для нового корпуса? Говорят, в институте на последнем распределении студенты отказывались идти в хирургию. В психиатры идут, в рентгенологи. И даже, поработав немного, некоторые уходят из хирургии. Вредностей или трудностей не боятся. Деньги нужны. А там и за вредность прибавка, и отпуск больше, чем у хирургов. Сейчас хорошо хоть в анестезиологи повалили. Им теперь тоже и отпуск увеличили и прибавку дали. Нам же придумали моральное удовлетворение. А его нет. Когда хорошо – норма, проходишь мимо. Вот моральное неудовлетворение – это бывает, когда плохо. Эти моральные реакции удовлетворяют, действуют лишь на единицы, а хирургов надо тысячи. Деньги бы прибавили. Пройду еще остановку пешком – а то устал что-то. И псориаз опять обострился. Это, наверно, после той черепной травмы. Конечно, консультанты нужны. Да и на себя одного ответственность брать страшно. Еще неизвестно, чем кончится. А Захар – человек понятный. Конечно, он в клинике вынужден барахтаться, как в проруби. Но в рамках их проруби он из тех, которые тонут чаще других. Тьфу тьфу, не сглазить бы его. Гнойный процесс идет – конечно, есть смысл сделать гамма глобулин. В новом корпусе, если разрешат их проект немного переделать, надо будет выделить послеоперационно-реанимационное отделение. Это надо же! Построить семиэтажный хирургический корпус без реанимации. Строили по проекту пятнадцатилетней давности. Сделаем там сами. И девочке там было бы лучше. Станет лучше ей – тьфу тьфу, – надо будет перевести в отдельную палату. В новом корпусе будут такие. Невестка – хм. Такую девочку, конечно, жалко Сашке давать – хамит, грубит. Впрочем, возраст такой. Да от меня, кстати, не зависит, кому ее давать и даже кого он будет брать. А Галя ему и замечание сделать боится. Он-то с ней как с матерью, – не знает. А у ней все время в голове – не мать. Ему ж не объяснишь. И не надо. Сколько она ему сил отдала, а он грубит. И мотается она сверх меры. И у себя на работе, и ко мне приезжает. И с девочкой этой тоже возится. Совсем умучилась. Похудела. Девочка-то за несколько дней вон какая стала. Господи, хоть бы поправилась. Ничего не жалко. Все бы отдал. Но обеты лучше не давать. Как эта легенда: дал обет перед битвой – в случае победы отдать в жертву первое, что увидит дома, – пришлось дочерью жертвовать. Лучше обетов не давать. – Мишкин увидел автобус и пошел быстрее. – Обеты – они как суеве-

рие. А суеверие, вестимо, грех один. Суеверие – это ни знаний, ни веры. Чаю хочу. Крепкого. Не кофе. Вот он. Автобус».

Мест было много. Он сел. И снова стал думать обо всем понемногу. Потом заурчал: «... и неясно прохожим в этот день непогожий, отчего я веселый такой. Я играю на гармошке...»

Галя встретила его в дверях. Помогла раздеться. Пиджак повесила в шкаф. Сашка лежал на диване. Приветствовал отца с юношеским, вернее, с детским полухамским самомнением и покровительственным пренебрежением:

– Привет. Ну как там твои умирающие гапонцы, Швейцер?

– Этим не шутят. У меня тяжелая девочка лежит, которой ты и в подметки не годишься.

– А ты кому годишься в подметки? Разве что маме, да и то потому, что она ближе.

– Что ты хамишь с ходу?!

– А что ты приходишь с видом умученного святого? Сам выбрал себе свой путь.

– У тебя что – двойка, что ли?

– Проницателен больно. Насквозь видишь – тебе в рентгенологи надо, а не в хирурги.

И платят больше.

Сначала Галя молча накрывала на стол.

Затем одновременно стала наблюдать за лицами своих мужиков.

Потом молча села.

Наконец, при последних словах сына, включилась и она:

– Как ты с отцом разговариваешь? Ты только представь себе, каково ему сейчас. Ты же знаешь! Ты только попытайся понять его работу. Дурачок!

– Ты умная. Понять его работу!

Саша, по видимому, в работе отца тоже видел в основном моральное удовлетворение. И потом Саша, как мог, оправдывался.

– И шутки твои – не твои. И насчет рентгенолога, и насчет его оплаты. Видишь, Женя, при нем еще многое нельзя говорить. Переоцениваем его.

Сашка повернулся, продолжая лежать, показал им свою полную оппозиции спину, приставил к стене «Швейцера» из серии «Жизнь замечательных людей» и стал читать или делать вид, что читает.

Галя ушла на кухню. Из коридора послышалась ругань в соседней семье. «И что они не поделят? Каждый день ругань. И чего люди столько ругаются... – Мишкин опять стал мечтать, если только мысли эти можно назвать мечтой. Просто они у него плыли в голове в ритме мечты. – Не более того – ругаются. И я чего напал на Сашку? Хотя это он на меня напал. Но у него возраст. И нечего серьезно к этому относиться. Наверно, в этом возрасте часто рвется контакт между детьми и родителями. И уж потом на всю жизнь. Надо сдержаннее быть. Надо не ругать, а объяснять, наверное. Вот дети, конечно, критерий полноты и правильности жизни родителей. Конечно, это так. Если Сашка окажется нулем или ниже, это значит – я был нулем. А все, что есть, только кажется. И я в этом возрасте был тяжкий крест своим старикам. Где-то во мне, наверное, истоки Сашкиного хамства».

Галя пришла из кухни, и он попытался было есть. Казалось, есть хотелось, а начал, и не пошло.

В это время позвонила Нина, сказала, что привезет завтра антибиотики, и попросила дать ей анестезиологическую карту «того больного, с травмой черепной. Я дам ее одному здесь, в институте, в диссертацию его она годится». Договорились на завтра после работы. Мишкин вернулся в комнату.

– А острого ничего нет?

– Нет, Женечка, не купила.

– Ну вот. Всегда так. Не могла в магазин сбегать. Ты же знаешь, я люблю острое. – Мишкин отпихнул тарелку.

– Жень, но когда же я могла успеть? С работы я заехала к вам, к девочке. Обед у меня был готов. До Сашкиного прихода только и успела за хлебом зайти.

– Ты же знаешь, что острое для меня важнее хлеба. Обошлись бы без хлеба. И сладкого, конечно, нет ничего?

– И сладкого нет. – У Гали в глазах появились слезы, и она отвернулась к шкафу. Сашка продолжал читать.

Мишкин посмотрел сначала на сына, затем на Галя, потом в окно, наконец встал.

«Потом поем». Прошелся по комнате. Галя возилась в шкафу. Сашка продолжал читать. В коридор не выйдешь – ругаются соседи. Здесь ходить – места мало. Но он ходил. Семь шагов – разворот. Семь шагов – разворот. Семь шагов... и так далее.

– Саш, сходил бы купил конфет, а?

– Ну вот! То почему мало читаешь – то иди в магазин. Я...

– А, ладно. – Мишкин махнул рукой и лег на тахту. Впечатление, что заснул он еще на пути к подушке.

После Галя пыталась его разбудить, чтоб разделся на ночь. Ничего не вышло. Не проснулся даже позвонить поздно вечером в больницу.

Почему-то на дежурстве просыпаешься за секунду до того, как сестра войдет тебя будить. Еще ничего не слышно, еще никого нет, еще никто к тебе не обратился, а уже что-то почему-то тебя поднимает. Как собака, которая чувствует землетрясение чуть раньше появления понятных нам симптомов.

Мишкин проснулся не на дежурстве, а у себя дома. Посмотрел на часы. Без четверти пять. Обнаружил себя в одежде. Это не редкость – удивить его это не могло. И тут же раздался звонок в дверь. Побежал к двери. Из своей комнаты заворчала соседка. Она, наверно, тоже, как собака, чувствует землетрясение.

– Кто?

– Простите, пожалуйста. У вас тут доктор живет? Откройте, пожалуйста.

Открыл. В дверях стояла женщина в халате. Она должна бы удивиться, что доктор одет. Но она не обратила внимания. В глазах у нее ужас.

– Простите, пожалуйста. Не поглядите вы моего мужа? У него был припадок какой-то с судорогами, а потом замолчал... Уже минут тридцать молчит... – Она продолжала что-то говорить.

– Я сейчас. Трубку возьму. – И побежал в комнату. Галя тоже проснулась.

– Я сейчас приду. К соседям. Просят.

– Если я нужна буду, скажи. Приду.

– Ладно.

Когда он подошел к постели – сосед был мертв. И уже давно. Как сказать? Он держался за пульс. Стал слушать сердце. Хотя слушать уже было нечего – он думал, как сказать. В коридоре металась жена.

Мишкин вышел и сказал: «Надо вызвать неотложку. У меня нет шприца, лекарств». Жена кинулась к телефону. А он стал ходить по коридору. Закурил. Вдова вызвала неотложку. Он продолжал оставаться в коридоре, надеясь, что соседка поймет – не может же врач оставить больного и ходить с сигаретой по коридору.

Не может же он бросить больного. Он ходил, курил. Она металась рядом. Потом надела пальто: «Пойду встречу. Чтоб не искали».

– Дойдут сами. Не торопитесь. – Нет, нет. Долго искать будут.

– Не торопитесь.

– Нет, нет. Простите меня, доктор. Извините меня. Простите, как вас зовут?

Он сказал. Она ушла. В коридоре больше никого не было. Опять подошел к постели. Мертв. Давно мертв. Ничего не сделаешь.

Наконец соседка привела врача.

Доктора прошли в комнату. Подошли к постели.

– Да он умер! Уже больше часа, наверное.

– Скажите ей. А что делать нам?

– В милицию позвоните – смерть скоропостижная. Скажите, что мы были и смерть констатировали. Сейчас напишу. Пойдемте.

Врачи подошли к женщине.

– Он скончался у вас. Уже с час, наверное. Женщина... Впрочем, что описывать реакцию ее...

Мишкин позвонил в милицию. Затем остался их ждать. Не мог же он ее бросить одну. Она кидалась ему на шею, плакала, обнимала его. Она называла его уже Женей. Рассказывала ему про своего покойного мужа. Какой он был хороший, жизнерадостный, как он был уверен, что жить будет еще долго, и вот на тебе, едва достиг пятидесяти лет. И что ей делать теперь! Как жить?! И что живет он у нее не очень давно. Что ушел он из семьи. У него двое взрослых детей. Они, наверное, будут ее винить. И никого у нее нет. Некого позвать даже. И что она ушла с работы, когда он переехал к ней, чтобы ухаживать за ним. И как ей сказать детям.

Потом приехали дежурные милиционеры. На руках повязки. Приложили руки к козырьку. Пройшли в комнату. Подошли к покойному. Сказали, что вызовут следователя. Предупредили, чтоб покойника не трогали. Чтоб лежал он, как лежит сейчас, поскольку «всякая внезапная смерть подлежит обязательному судебно-следственному обследованию». Посочувствовали горю и, опять приложив руки к козырьку, исчезли.

Мишкин остался в коридоре. Потом она все же вспомнила, кому можно позвонить. Позвонила. Сказала. Там заахали и побежали сообщать детям.

И они снова стали ходить по коридору и по кухне.

Потом пришел следователь. Осмотрел квартиру и не обнаружил следов борьбы в доме, пошел искать следы насилия на трупе. Тоже не обнаружил. Составил акт, дал им подписаться и ушел, сказав, что пришлет машину.

Было уже восемь часов. Мишкин позвонил на работу, спросил про девочку и сказал, что немного задержится.

Потом опять стал слушать, что детей его она никогда не видала, что сейчас она их увидит первый раз, что она этого боится, что сидеть около него она не может, что не знает, как она будет жить без него, что он ее не оставлял никогда, что скоро, наверное, ктонибудь придет.

Пришли дети. Парень и девушка – обоим около двадцати, – больше или меньше – на вид сказать трудно. Вошли, обняли ее, и все трое заплакали. Пришедшая с ними женщина плакала отдельно.

Потом соседка показала на Мишкина и сказала:

– А это доктор, который первый... который... – и опять заплакала.

Мишкин еще около часу там пробыл, потом забежал к себе домой, быстро поел и уехал на работу.

Операций не было. Мишкин посмотрел девочку, и после все собрались в ординаторской.

ЗАПИСЬ СЕДЬМАЯ

Коридор в отделении длинный и узкий. Если его просматривать из конца в конец приблизительно около часу дня, можно увидеть несколько скоплений больных. Как группки в салоне у Анны Павловны Шерер, только нет объединяющей всех хозяйки. В самом конце коридора, около уборной, курящие мужчины. Они мало курят, больше ведут бездымную беседу. Чаще всего они обсуждают внутрибольничные события и комментируют происходящее. Многие из них ведут беседу сидя на корточках. И как они могут по столько времени сидеть в таком положении! Иногда такие посиделки продолжаются часами.

Недалеко от операционной другая группка – эти ждут, когда вывезут оттуда их сопалатника, или просто ждут, когда вывезут хоть когонибудь. Очень любят ждать и смотреть на вывозимых оттуда.

Они тоже беседуют, но более приглушенными голосами. Темы те же. Здесь еще происходит подсчет времени – сколько на кого уходит, и делаются выводы о качестве хирурга, успехе операции, прогноз на житие. Господи, когда наконец построят новый корпус. Операционная и послеоперационное отделение будут на отдельном этаже, и тогда ликвидируется некоторое количество неприятностей. Будут другие, правда. Но не будет вопросов: «Доктор, меня оперировали пятнадцать минут – у меня рак, да?», «Доктор, меня оперировали пять часов – плохи мои дела, да?»

Еще одна группа людей сидит около перевязочной. Эти в очереди. Ждут перевязки. Они больше молчат. Изредка говорят о чемнибудь постороннем.

По коридору идет молодой, недавно кончивший институт доктор – интерн. Он здесь работает совсем недавно. Из операционной выходит Мишкин.

– Ну как, Евгений Львович?

– Удалось. Понимаешь, удалось убрать. Опухоль прорастала и вокруг непосредственно, инфильтративно, но отдельных узлов, метастазов не было. Одна большая опухоль. Хорошо убралась. С клетчаткой со всей, одним блоком все ушло. Хорошо. Анастомозы хорошо получились. – Мишкин остановился в коридоре у холодильника, взял у доктора из кармана ручку и блокнотик и стал рисовать схему операции. – Вот так мы сделали. Понимаешь? Тьфу тьфу, не сглазить – хорошо получилось. Теперь посмотрим, как пойдет.

– Евгений Львович, там в приемном поступает больной. Направлен с прободной язвой. Черт его знает, может, и есть прободная. Но уж больно он спокоен. Посмотрите, пожалуйста. И живот не очень напряжен, по моему. А с другой стороны, действительно похоже. И анамнез: молодой, мальчик, двадцать один год.

В это время открылась дверь лифта и из него вывезли каталку с больным.

– Этот?

– Да. Посмотрите, пожалуйста.

Мишкин тут же, не дожидаясь, когда больного отвезут в палату, прямо в коридоре стал смотреть больного.

– Надо вас оперировать. Больной молчит.

– Везите прямо в операционную. Больной молчит. Его везут.

– Пусть начинают наркоз. Будешь оперировать, я тебе помогу. Здесь резекцию, наверное, не надо делать. Ушить язву, и все.

Молодой доктор доволен. Будет оперировать.

– А я не был уверен, что это прободная.

– Но ведь прошло сколько-то времени после твоего осмотра. Картина же должна как-то измениться. Ты смотрел – еще не было ясно, а теперь ясно. Да ты и сам видел.

– Да. Видел. А Агейкин со мной смотрел, он высказал мнение, чтоб подождать, посмотреть, понаблюдать. Его мнение – не надо торопиться.

– Агейкин. У него есть мнение по каждому поводу, а мыслей нет. Как у собаки – всегда есть желание поднять ногу у каждого столбика, но полить его зачастую уже нечем. Агейкин! Ему бы только порядок соблюсти. Ну и разозлил он меня сегодня. Сестер нет. Ночью была сегодня одна сестра, одна на семьдесят больных! Так вместо того чтобы думать, как помочь этой сестре и вообще найти выход, он орет на сестру за безобразия и упущения ее этой ночью. Упущение-то грошовое. «Сестер надо учить! Сестер надо воспитывать! Надо проводить с ними занятия!» Агейкин! Конечно, надо. Было бы только с кем.

– Евгений Львович. У меня еще одна просьба. В пятой палате больной с язвенным стенозом желудка отказывается от операции. Поговорите с ним, пожалуйста.

– В пятой? Это у окна? Блондин? Худой? Ладно, зайду. Зайду.

Доктор пошел в экстренную операционную, куда повезли больного.

К Мишкину подошла старшая сестра:

– Пришел консультант гинеколог. Вовремя ходит.

– Вот видите.

А дело было так. Их постоянный консультант гинеколог, совместитель, никогда не приходил вовремя, а иногда и вообще не приходил. Когда ему говорили об этом, он ссылался на свою основную работу. Да и действительно не успевал, – у гинекологов в отделении очень много работы – поток. Когда он не приходил вовремя, но всю работу успевал сделать в меньшее время, ему все равно вычитывали из оплаты время, которое он не был. Эти полустихийные появления гинеколога были очень неудобны для отделения. Но найти другого консультанта не могли. Мишкин тогда и предложил старшей сестре, которая ведет ведомость зарплаты: «Пишите ему полностью, как будто он не опаздывает и бывает каждый раз». Старшая сначала испугалась: во первых, это не положено, во вторых, «это не так же», а в третьих, испугалась, что ктонибудь стукнет и ей будет начет, вычтут эти деньги из ее зарплаты. Но Мишкин уговорил под свою ответственность. Он предполагал, что гинеколог засовестится, когда получит все деньги полностью, и это будет самым эффективным ходом в их борьбе с гинекологом. Об эффекте ему сейчас сестра и сказала. Старшая была удивлена и всем говорила об этом.

– Не говорите никому, – предупредил ее Мишкин. – Зачем вы все это раскрываете? Вам же все равно влетит, даже если он сейчас и ходит аккуратно. И потом, мы не знаем, сколько это продлится.

Подошла еще одна сестра:

– Евгений Львович, мыться на прободную можно.

– Иду, иду. Пусть начинает, пусть пока живот открывает. Так он и не успел дойти до ординаторской, кинуть тело в кресло, покурить да полялякать.

– Евгений Львович, вы будете Трошину перевязывать? Со свищом.

– После операции. Дренажи приготовьте.

– Дренажей нет, Евгений Львович. Нет совсем. «Дренажей нет! Вдруг пропали дренажи. Все время что-то пропадает. Почему? Производство их налажено давно. Куда пропали? На том и держится администрация. Если бы не надо было что-то непрерывно доставать, создавать, организовывать, а только лечить – что б они делали?! А так и обязательства принимать легче, и обсуждать положение можно беспрестанно. Нет дренажей! Почему! Что ж, порежем системы для переливания крови. Вот беда! Другой дефицит создастся». Продолжая этот внутренний монолог, Мишкин вошел в операционную, и, как только сунул руки под струю воды и, по существу, уже включился в операционный настрой, все мысли о дренажах, дефицитах, администрации улетели вместе с водой в раковину.

Операция оказалась недолгой. Свежая язва на практически здоровом желудке у молодого человека. Зашили дыру, осушили живот и – «Вы, наверное, без меня живот зашьете. Можно мне уйти?».

– Да, конечно, спасибо, Евгений Львович.

Наконец-то Евгений Львович кинул, как он любил говорить, тело в кресло и закурил. Никого в ординаторской не было, и, наверное, он, как всегда, начал бы размышлять о чемнибудь несущественном и непрактическом или что либо вспоминать, как он чем-то стал или не стал, или кем бы и каким бы он мог стать или не стать, или как складывалось его детство и как он стал взрослым, или какие болезни были у него похожие на сегодняшнего, или как можно было иначе сделать сегодняшнюю операцию; но, совсем нестандартно для себя, он вдруг стал вспоминать, как позавчера он сидел в компании своих приятелей и был среди них доктор, солидный хирург из одной клиники, который осуждал Мишкина за очень широкие показания к операциям, за расширение самих операций, особенно при раках; он считал, этот хирург, что такие операции расширяют показатели смертности, а больные эти в конце концов все равно обречены на смерть, так что нечего портить показатели отделения; он считал, этот хирург, что хорошие результаты Мишкина до поры до времени и что Мишкин со временем будет справедливо наказан, так как задача, взятая на себя, – лечить всех подобных больных, – с одной стороны, от большой гордыни, с другой стороны, погоня за синей птицей; он считал, этот хирург, он сказал, этот хирург, что при всем уважении к Дон Кихоту и почитании им, этим хирургом, таких людей он все равно не может согласиться с тем, что на мельницы надо нападать. И сейчас Мишкин с досадой вспоминал, что зачем-то он вступил в дискуссию и сказал, что борьба с мельницами это борьба с придумкой, с мифом, с ничем, а он, во первых, не борется, а лечит, и не миф, а реальные болезни. А хирург этот ему ответил, что он, этот хирург, считает мельницами, выдумками, мифом возможность выздоровления при таких запущенных формах рака, даже если технически удастся все убрать и больные после такого вмешательства какой-то срок живут. На это Мишкин не знал, что ответить, потому как слова подобные, мысли эти сами по себе были мельницами, и Мишкин подумал, что оба они с разных сторон выступают как Дон Кихоты и оба против мельниц, но разных. И что оба они с уважением не любят того Дон Кихота, что сейчас против них и против их реальных или воображаемых мельниц.

Хирург этот, по видимому, вдруг почувствовал победу в споре, поскольку Мишкин молчал, а он, хирург этот, не знал, что Мишкин при этом думал, так как хирург этот, когда смотрел на мельницу, видел мельницу, и, видя, что Мишкин молчит побежденный, продолжил свои точки зрения на хирургию и жизнь, он сказал, что подобные действия развивают в человеке, в частности в хирурге, в частности в Мишкине, безответственность в жизни, а не только на работе. Стремление схватить первую попавшуюся человеко единицу и стараться спасти ее, эту первую попавшуюся человеко единицу, от чего то, что, конечно, опасно, но что рукою не ухватишь, стараться спасти без системы, без плана, в расчете на то, что когданибудь ухватишь и спасешь, и действительно когданибудь спасаешь, иногда удается, но очень дорогой ценой, так как порождает и развивает в хирурге еще большую безответственность, что в конечном счете может привести к неоправданным смертям, и вот эта безответственность сегодня приводит к тому, что Мишкин, как выяснилось, должен завтра оперировать и дежурить, но тем не менее он сегодня пьет. И Евгений Львович вспомнил, как он разозлился, глядя и слушая этого правильного хирурга, действительно правильного и, говорят, неплохого специалиста, имеющего и степени и неплохие результаты своих операций; он вспомнил, как неоправданно разозлился почему-то больше всего на то, что ему поставили в упрек сегодняшнее питье (хотя: «Юпитер, ты сердисься!..»), и он сказал, что почему-то некоторые считают, что пить накануне операций нельзя, а после дежурства оперировать почему-то можно: «Это, наверное, похуже питья, оперировать на тридцатом часу работы, – но необходимо», а тот ответил: «А вы не назначайте на этот день», а Мишкин тоже: «Как у вас все хорошо складывается – у меня отделение в семь-

десять кроватей, то есть больных, и у нас не клиника, а всего три врача, да еще я заведующий. Нельзя оперировать сегодняшнему дежурному, нельзя оперировать после дежурства. А жить можно!» А дальше они выпили за всеобщее здоровье, и Мишкин предложил жить вообще без споров. Как будто он это умел. А хирург этот выпил, – наверное, у него не было завтра ни дежурств, ни операций, – и сказал, что главное не ссориться, а споры – это хорошо, так как в спорах рождается истина. А Мишкин, он и это сейчас вспомнил, он все подряд вспоминал, запил водку сухим вином, отправил в рот кусочек севрюжинки с хреном и сказал: «В спорах истина не рождается, она в них гибнет. В спорах нам суетно, интересно. В споре мы с вами ждем очередной возможности высказаться и, пока другой говорит, придумываем новые аргументы в свою пользу, похлеще ищем возражения. В спорах мы не слушаем друг друга, мы вообще редко умеем слушать. А истины рождаются у тех, которым это определено, – в тишине, а не в шуме спора». Мишкин вспоминал, как в конце концов он изрядно захмелел после того, как ушел этот правильно мыслящий человек, а он остался пить со своими друзьями. Мишкин вспоминал, как во время учебы этот хирург, учившийся в том же институте, совсем не был правильным. Может, и правильно, что «блажен, кто вовремя созрел», и, наверное, он скоро будет профессором и скоро будет командовать Мишкиным... Он сидел и дальше вспоминал про питье и про то, что после он пошел в магазин, так как Галя дежурила и надо было накормить сына и собаку, и как он долго стоял в магазине перед автоматом и читал объявление: «Ув. покупатели. В автомат не бросайте следующие монеты: юбилейные, мокрые, гнутые». А потом он вспоминал, как он вышел гулять с собакой, а дворник из соседнего дома, которого он уже видел у себя в больнице раньше, и даже изнутри видел, на рентгене, стал кричать, что он не обязан ходить за его собакой и что пора кончать с барскими замашками, и он стал вспоминать, что почему-то пахло горелым, что дежурство было умеренной трудности и что чувствует он себя бодро и хорошо, но тут обратилась к нему с какой-то просьбой вошедшая Наталья Максимова, и он понял, что задремал в кресле, а сигарета проггла ему халат.

– Евгений Львович, у Игоря в палате мужик со стенозом от операции отказывается...

– Он мне говорил. Я зайду к нему.

– Вот он стоит около столика сестры и настаивает, чтоб его сейчас выписали. А сейчас уже поздно. Сестра не может.

– Как его зовут, не знаешь?

– Сейчас посмотрим в истории болезни. – Смотрит. – Вот, Сергей Федорович Панин.

– Остальное я все знаю про него.

Он вышел в коридор, увидел у столика сестры больного.

– Сергей Федорович, прошу вас, зайдите ко мне в кабинет. Зашли.

– Садитесь, пожалуйста. Сергей Федорович, сколько лет у вас язва?

– Пятнадцать.

– Обострения часто были?

– Раз в год приблизительно.

– В больницах много лежали?

– Раза четыре.

– Подмогало?

– С год после этого не было.

– А сейчас что изменилось?

– Сейчас рвота у меня.

– Каждый день? И боли?

– Нет. Болей нет. И рвота не каждый день.

– Отрыжка тухлым бывает?

– Это да.

– А при рвоте – еда вчерашняя, позавчерашняя?

- Вот что меня и удивляет...
 - Значит, еда дальше не проходит, Сергей Федорович. А сколько это уже длится? Рвота?
 - Около года.
 - Вот видите. – Мишкин покачал головой. – Уже год. Похудели?
 - За этот год похудел немного. Килограммов на пять.
 - Это много. Прилягте, пожалуйста. Здесь щупаю – не болит?
 - Нет.
 - Ух, какой плеск. Вы слышите, Сергей Федорович, как в желудке плещется?
 - Ну, слышу.
 - Это значит, что плохо у вас проходит пища. От голода умереть можно.
 - Да я ем.
 - Вы-то едите, а вот до тканей не доходит. Судорог не бывает? Руки, ноги по ночам не сводит?
 - Вроде нет, Евгений Львович. А может?.. Нет. Пожалуй...
 - А может начаться, Сергей Федорович. И по рентгену видно, что у вас плохо проходит. Через сутки – почти половина бария в желудке остается. Бойтесь операции?
 - Да не так чтобы очень боялся. Но я сейчас совсем ничего. И болей нет.
 - Когда уже будет «не ничего» – будет совсем плохо. Пойдемте со мной.
- Они вышли из кабинета и вошли в ближайшую палату. На стуле у окна сидел мужчина и читал.
- Петр Николаевич, простите, мы вас потревожим на минутку.
 - Что вы, Евгений Львович, всегда готов, всегда, Евгений Львович.
 - Вы сидите, сидите. Петр Николаевич, скажите, как у вас болезнь шла, что чувствовали, расскажите все Сергею Федоровичу. У него сомнения кое какие.
 - Да нет у меня сомнений, Евгений Львович.
 - Пожалуйста, послушайте.
 - А чего тут особенного рассказывать. Как у всех. Язва у меня была десять лет. Часто в больницах лежал. Больше чем на год не снимались обострения. Потом появилась рвота без обострения. Пришел сюда, и Евгений Львович уговорил на операцию. Сейчас прошло только двенадцать дней – уже совсем другое дело. Ем хорошо, отрыжки нет, рвоты нет...
 - Спасибо, Петр Николаевич. Вы поговорите с Сергеем Федоровичем. Я сейчас пойду, а завтра мы с вами все решим окончательно. Хорошо?
- Мишкин вышел в коридор, удовлетворенно улыбаясь. Почти наверняка больной будет оперироваться. А иначе ему нельзя.
- Ой, Евгений Львович, а я вас ищу. Марина Васильевна уехала, не дождалась вас, просила передать записку.
- «Женечка. Не посетуй, выручай. Мне надо срочно ехать договариваться насчет лифтов. Нас примет начальник конторы. Не хотят пускать в поликлинику – лифтерши не обучены. А народный контроль говорит, что, если не пустим, на меня денежный начет за разбазаривание государственных средств. Я тебя очень прошу – сегодня собирают главных врачей в горздраве. Съезди за меня. Там большое будет сборище. Ты отметься и, если будет возможность, удирай. Заранее спасибо тебе. М. В.»
- Черт подери! На мою голову. «Заранее спасибо»! Когда ехать надо?
 - Уже. Через пять минут. Машина поликлиническая ждет внизу.
 - Черт возьми. Пойду переоденусь и буду внизу.
- Он зашел в ординаторскую – поговорил. Потом в перевязочную – перевязал больную со свищом. Потом в кабинет – покурил с Игорем, потом стал переодеваться, но тут опять за ним прибежали:
- Евгений Львович, вы опаздываете, не успеете отметиться.

– Бегу, бегу. Отметиться-то я успею всегда, а вот удрать, если опоздаю, уже не смогу. И не смог. Отметился и вынужден был остаться.

На совещании шла речь «об организации медицинского обслуживания в сложных условиях сегодняшних требований», да еще с учетом опасности появления различных инфекционных заболеваний.

Мишкин сидел и думал про что-то свое, пока его думы не прервал властный голос какой-то начальницы. Она, видно, занимала какой-то большой пост, потому что начала без преамбулы и обращения, а почти с окрика:

– Сейчас побеждает дисциплина! И если вы ее не создадите, придется создавать ее нам. А создавать ее придется. Единичные случаи появления опасных инфекций отмечены в некоторых городах и странах Европы.

Голос с места: «А где, не скажете?»

– Прошу с уважением относиться и не кричать с места. Во вторых, кому положено, те знают. А вам – если найду нужным, то еще скажу. Подумаю. А пока не скажу. В больницах у вас все должно быть подготовлено для приема подобных больных. И мы завтра же проверим по всем больницам. Проверять надо, пока их нет. Мы должны быть готовы. Паника недопустима. За панику мы будем наказывать. В одном доме врач заподозрил инфекционное заболевание, – кстати, по безграмотности, неизвестно из каких соображений, мы еще разберемся в этом. Прислали за больным машину, санитары вышли в противочумном костюме, в резиновых сапогах, в масках, в косынках, в очках – перепугали весь дом, район. Это что?! Недомыслие или?!.. Есть официальное общее кодовое название для особо опасной инфекции. Оно всем известно. Учтите, что просто врач не имеет права ставить диагноз опасной инфекции, он может поставить лишь подозрение на нее. Каждый случай докладывается прямо в центр. Мы должны туда давать лишь достоверные данные, а не все, что кому померещится. При подозрении вы должны немедленно сообщать в райздрав и на санэпидстанцию. Немедленно присылаются люди из лаборатории и крупный специалист инфекционист. Лишь он и на основании данных анализов может выставить тревожный диагноз. А больного можно госпитализировать тогда. Теперь о наших больницах вообще. Много жалоб от трудящихся на врачей за грубость и бездушие. Врачи ссылаются на то, что не хватает коек в больницах, что больные лежат в плохих условиях, по многу человек в палатах, но, товарищи, больные на это не жалуются, у нас нет таких жалоб. Наш народ понимает, что сразу не построишь, что зависит от объективных причин, а что и от нас, от персонала, от энтузиазма. Лучше мы сами с вами наведем порядок, чем нас заставят, а нас заставят, так что придется делать довольно крутой поворот от довольно таки неважного вида больниц. Больницы волнуют городские организации. В больницы поступают наши советские люди! А когда просматриваем вашу работу, то нами явно просматриваются пониженные требования к персоналу, просматриваются, товарищи, и страшнейшие безобразия, легко просматриваются. Требования к больницам вышли на прямую. Приходишь в больницу, а больные пьют из баночек из под майонеза. Говоришь, почему не получите – на складах все есть. А администрация думает, что нет. Разве не хватает в больницах денег оплатить – должно хватать. Вот тут выступали товарищи и больше говорили о недостатках, связанных с инстанциями, а вы говорите лучше о недостатках, связанных с упущениями персонала. Товарищ исправился, когда мы ему из президиума подсказали, и стал говорить правильно, но у вас и самих мысль должна работать об исправлении своих недостатков, а не чужих. Надо более спокойно вести хозяйство, товарищи.

Все молчали.

Потом были короткие инструктивные сообщения различных представителей различных инстанций.

Потом все встали и пошли к выходу.

Мишкин посмотрел на часы: «Что-то у меня сегодня еще было. Не помню. Поеду домой».

А дома выяснилось, что на сегодня у них билеты в концерт. Галя ругалась, так как они уже почти опаздывали. Он успел схватить лишь кусок хлеба с котлетой, и они побежали.

В этот день был бетховенский концерт в исполнении иностранного скрипача.

У входа, перед контролем, большая толпа страждущей молодежи, не доставшей билеты. У самого контроля дружинники с голубыми повязками на рукавах, милиционеры.

Мишкин наблюдал за бурлением людским у контроля, пока стоял в очереди сдавать пальто.

Сначала это было хаотическое передвижение, перемещение людских частиц, типа броуновского движения. Потом вдруг направленно толпа хлынула к проходу. Милиционеры, дружинники схватились за руки, контролеры захлопнули калитку барьера. Толпа отхлынула. Лица охранявших злобно остекленели. Отстояли проход. А чаще здесь же, в концертном зале, в таких случаях у победителей после отбитой атаки появляется в лице что-то человеческое, даже, пожалуй, добродушное. Это, вероятно, естественно. Ведь что хотят эти люди, осаждающие, – всего-то послушать хорошую музыку. Да и толпа желающих безбилетников, прорывающихся, – не более тридцати человек. Но в этот раз почему-то лица охранявших оставались злобными и напряженными. Мишкин такую злобность видел здесь первый раз. На лицах охраняющих был написан вопрос: «Кто? Кто?! Кто зачинщики?! Найти зачинщика». Они стреляли глазами по этой толпе молодежи, прицеливаясь в неведомого им пока зачинщика. Ребята и девицы разбегались с прищептываниями: «Рассредоточься, рассыпся. Все, все, ребята, – отвались». И в их лицах тоже уже не видно было желания услышать музыку, а только спортивный задор и желание пробиться. В глазах появилось что-то конспиративно-революционное. И какое это все имеет отношение к музыке!

Мишкин вспомнил, как вскоре после войны в Москве в консерватории выступал с концертом Поль Робсон. Они с ребятами подошли к консерватории, когда концерт уже закончился. Он был единственным в то время артистом Запада, приехавшим в Союз. Толпа молодежи стояла у входа и ждала певца. Толпа напирала, шумела. Милиционеры орали, отпихивали, держались цепью. В ожесточении какой-то милиционер заорал на Женю: «Разойдись на все четыре стороны». Потом вдруг разом милиционеры все сгрудились, построили коридор, подошли им в помощь еще несколько человек. Толпа напряглась, ожесточилась и тоже сгрудилась вся по стенкам созданного коридора. Толпа набегала со всех четырех сторон. Все накалилось и напряженно застыло – как перед первым шквалом грозы. И вдруг милиционеры обмякли, заулыбались, в лицах появились добродушно человеческие черты людей, удачно и без потерь обманувших других. От другой двери отошла машина, на переднем сиденье которой сидел Поль Робсон. Милиционеры смеялись. Толпа тоже смеялась. Но сейчас инцидент, по видимому, не исчерпан. Женя с Галей прошли сквозь контроль. Удивительное количество красивых лиц. И пожалуй, здесь больше красивых, вернее, какая-то другая красота, чем в толпе на эстрадных концертах, на футболе, да и просто на улице. Здесь, внутри уже, красота не борющихся и прорывающихся, а спокойно ходящих и ожидающих музыку.

Наконец концерт начался. Мишкин слушал, смотрел и видел красивые лица вокруг.

Потом концерт кончился. На лестнице на него кто-то налетел. Он извинился. Наконец добрались до раздевалки, стали в очередь и он рассказал про сегодняшнее совещание, что он не жалеет о проведенном таким образом времени, что он первый раз на таком совещании, оно его очень удивило, это совещание, это очень ново для него, подобное совещание.

– И чем кончилось?

– А чем оно может кончиться? Это ж приказное, инструктивное совещание. Обсуждения не было. Голосования не было. Может, в протоколе написали, как это принято? «Слушали – постановили».

ЗАПИСЬ ВОСЬМАЯ

Мишкин стоит у стола и удовлетворенно смотрит на бутылку коньяка. К бутылке пластырем приклеено письмо и сверху написано: «От Шальникова».

«От Шальникова. Коньяк армянский, три звездочки. Звездный поток. Звездный бульвар, город».

Он пришел с операции, и мысли скачут. Он вспоминает. Вспоминает и Шальникова и его болезнь, вспоминает и сегодняшнюю операцию.

Коньяк лежал на столе у него в кабинете, когда он пришел с операции. Мишкин стал снимать операционную пижаму и увидел бутылку.

«От Шальникова. Мать, наверное, принесла. Конечно, мать, а то кто же. Шальникову семнадцать лет, а сегодняшнему, Маслову, тридцать пять. Мальчик на лыжах ходил и натер ногу. Пузырь на ноге воспалился. Воспаление пошло выше. Дома не сказал ничего. Когда появилась температура, решили, что грипп. Потом воспаление легких. Потом оказалось, что имеется гнойник в суставе. Общее заражение крови. Шальников пролежал восемь месяцев. А сегодняшний, Маслов, неизвестно от чего заболел. Рак, он рак и есть. От чего заболел. От чего! И как избавиться от привычки все непонятное и неизвестное объяснять понятным и известным. От чего! И не то чтоб тяжелая операция. И прошла она хорошо. И рак полностью убрали. И вовремя вроде. У меня была такая же больная, которой убрали такой же вот рак за год до моего рождения. Лежала она у меня по другому совсем поводу через тридцать три года после операции. Так что не в раке тяжесть. Тридцать пять лет – а после этой операции может наступить полная импотенция. Место такое. Молодой, здоровый, как говорится, косая сажень. А Шальников в первые дни почти наверняка умирал. Гнойник-то вскрыли. Операция на три минуты. А потом искали антибиотики, которые бы подействовали на микробы из шальниковского гнойника. И в институты ездили, и в больницы разные, в какие только лаборатории не обращались. Сыворотки для мальчика специальные делали. И в отделении все вокруг него крутились. И родственники, мать, конечно, в основном, от него не отходили. Восемь месяцев лежал. Однажды надо было объездить несколько лабораторий и институтов – собрать лекарства, выторгованные по телефону. Врачи скинулись, и один гонял полдня на такси по городу. Смешно. А у сегодняшнего операция прошла хорошо. Только уж очень неприятна мысль о возможной импотенции. Во время операции настоящий хирург не должен об этом думать. Вроде бы речь идет только о жизни. Вот...»

Мишкин повертел бутылку, посмотрел на все три звездочки сразу.

Мишкин повесил пижаму. Надел халат. Взял бутылку и положил в ящик стола.

«Восемь месяцев мальчонка пролежал. Молодец – выжил».

Он посмотрел на пижаму, на стол, на лице появилось какое-то воспоминание, недоумение, затем сменилось недовольством, – и он пошел к главному врачу.

Мишкин предложил коньяк Марине Васильевне. Она, в свою очередь, поинтересовалась, какой и чьей болезни обязана. Потом Марина Васильевна поздравила Мишкина с тем, что он действительно сегодня был на операции. Выражение недоумения на лице только усилилось. Оказалось, приходил ревизор из райфинотдела проверять правильность составления табелей на зарплату и наличия людей на месте согласно графику.

– Она два часа стояла у дверей операционной, ожидая, когда ты выйдешь. А внутрь зайти и посмотреть на тебя – боялась крови. Слава Богу, ты вышел, и она удовлетворилась.

Мишкин знал ее, эту ревизоршу, пожилую женщину, которую он ну никак не мог представить на часах с алебардой в руках у входа в операционную. Странно, что ее не заметил.

– Надо бы ей коньячка-то дать.

– Этого только не хватало. Я тут вчера ругалась в райпо. Пошла с главным бухгалтером деньги просить. Перегруз-то у нас какой! Квартальный план мы за два месяца выполнили. Денег на лекарства не хватает – говорю. А он мне говорит, что не надо перевыполнять. Вы, говорит, не берите больных больше, чем надо. Я ему про «скорую» говорю, везут же, говорю. А он мне говорит, что это его не касается.

– Надо попросить когонибудь, пусть помогут, а не злиться. А вы злитесь. А вот в английских наставлениях для потерпевших кораблекрушение сказано, что злость и нервозность уменьшают силу воли – скорее потонете, мол, ребята.

Главная посмотрела на Мишкина сочувственно и, во первых, усомнилась в способности потерпевшего кораблекрушение что либо читать, так сказать, на плаву, а во вторых, что-только на помощи друг другу все и держатся, только так все и делается.

– Да только все это имеет даже больше двух концов. Это даже не палка – это звезда. Но чем просить о такой помощи – лучше платить. Яснее. При этих помощях все время кому-то должен и никогда не знаешь что. Так тебя повязать могут на любую гадость. А в неденжном обществе платить – так и совсем конец, схлопотать можно. Лучше помогать с ответными своими помощами. Все равно в конце концов запутаешься, как и получается у меня с моими районными организациями. – Главная окончательно запуталась в своих объяснениях разницы между платой денежной и моральной и переключилась на истории болезни умерших за прошедший месяц. Проверяла. Их лежало перед ней небольшая пачечка. – Ну и интеллигентными вы стали, ребята. Раньше писали в историях, что в таком-то часу больной скончался при явлениях падения сердечной деятельности. А теперь к вам не подступишься. Видал, всюду: «Реанимационные мероприятия были неэффективны». Смех один. – Марина Васильевна кивнула на окно: – Вон приехала твоя анестезиологиня. Нина, что ли, ее зовут. Чего ездит! Надоела она мне.

– Так она знаете как помогает нам! С того самого раза.

– Ну ладно, ладно, беги к ней за помощью, она, по моему, всем помогает.

Мишкин пошел к себе в отделение. Нина уже была там. Они поздоровались, стали перебрасываться словами. Слово – щелк. Щелк – слово. Слово – щелк. Ну чистый пинг понг. А смысл выявится, когда счет объявят.

Поговорили о коньяке, о сепсисе, о раке и импотенции, о фининспекторе, о хирургическом обществе, опять о коньяке.

Мишкин пожаловался, что вот уж месяц, как он подал на демонстрацию, а ему даже не позвонят, и он не знает, принята ли она.

– А ты ни с кем не поговорил предварительно?

– А с кем? Я подал заявку секретарю на общество, и все.

– Чудак. Надо попросить когонибудь. Тогда быстро провернут. А так кому нужно то!

– Да ну их. Сами должны понимать. Это ж интересно!

– Ну чудак. Как говорится, дома чудак, на работе чудак, в магазин пойдешь – тоже чудак, а на конкурсе чудаков тоже возьмешь только второе место – потому что чудак. Я поговорю с нашим – он ведь в правлении общества. Может, поможет.

– Да ну их с их помощью.

Нина сняла трубку, заговорила, поговорила, договорилась – ей обещали.

И опять щелк, щелк – новый сет начался. Опять коньяк, и фининспектор, и перегруз, и привезла опять лекарства кое какие.

Живешь, как в вате, и вдруг пробилась сквозь эту мягкую густую пустоту помощь. И не просили, а просто у человека потребность помогать.

Щелк, щелк.

ЗАПИСЬ ДЕВЯТАЯ

– Здравствуйте, коллега. Вот попал к вам в руки.

– Здравствуйте. Бывает, что и нам приходится от себя терпеть. Обидно, конечно, хирургу оперироваться. – Мишкин улыбнулся, больной доктор усмехнулся. – Простите, вас Сергей Алексеевич, по моему, зовут? Так, как говорится, на что вы жалуетесь, доктор?

– Да, да, Евгений Львович. Мне кажется, что у меня неострая толстокишечная непроходимость.

– Вы уж, Сергей Алексеевич, давайте, как неграмотный больной, все по порядку. Что болит. Как болит. Анамнез. Впрочем, пойдете ко мне в кабинет. Там расскажете. Могут же коллеги поговорить и наедине, а?

Сергей Алексеевич как-то убого улыбнулся, и они пошли. Закурили.

– Вы давно в этом институте работаете?

– Лет восемь.

– А чего ж к нам легли? Вы ж не по «скорой» в больницу попали?

– Я живу рядом. Да и вообще, какая разница.

– Ну как! Там все же институт. И аппаратура, и инструментарий, и медикаменты дефицитные, наконец, специалисты – не чета нам.

– Все мы легко говорим о том, что хуже знаем. Вы говорите про наших специалистов, а я о вас слышан как о большом специалисте.

– Как можно сравнивать меня и моих товарищей с вашей профессурой. Да и обидеться могут на вас коллеги по институту.

– А, – доктор махнул рукой, – я думаю, что теперь это большого значения не имеет. А если обидятся, могу сказать, что «скорая» привезла. Да и не так уж они заинтересованы.

– При чем тут заинтересованность!

– А я вам скажу. Нас вот сейчас около десяти человек, чуть меньше, за последние два три года защитивших докторские.

– Так вы доктор наук! Вот видите, а мы вообще никаких степеней не имеем.

– Вы ж понимаете, Евгений Львович, что, когда болеешь, не о степенях думаешь. Но я сейчас не об этом.

– Да, простите. Я перебил вас.

– Я говорю, не заинтересованы, так как сейчас проходят сокращения всюду, и в институтах тоже. Так выгоднее сократить докторов наук, которые не завы, не на профессорских должностях.

– Почему? Какая логика? У вас плохие отношения?

– Да дело не во мне. Думают не об отношениях личных, а о деле.

– А доктор наук для дела хуже, что ли?

– Вы поймите, Евгений Львович. Мы, доктора, которые находимся на должностях старших научных сотрудников, получаем на сто рублей больше, чем кандидаты на тех же должностях. Зачем же институту платить лишние деньги? Два сокращенных доктора – старших научных сотрудника – это два кандидата наук старших плюс один младший за те же деньги и плюс перспектива трех диссертаций.

– Так директор не из своего кармана платит. А для государства все равно – деньги из государственного кармана уходят. Насколько я понимаю, лишнего младшего не возьмешь сверх штатов. Вам не количество денег отпускают – и бери, сколько хочешь к как хочешь. У вас, как и во всей стране, штатное расписание. Зачем директору института думать о государстве, если он будет более ценно заменять менее ценным. Тут только деньги, а не польза государству.

– Все думать сейчас норовят государственно, проблемно и, прежде всего, денежно. А перспектива диссертаций – это выгодно институту и морально. Не личность, а дело на первом месте и деньги как эквивалент дела, Евгений Львович, вот так. Режим экономии опять же. Жизнь – это игра без правил.

– Опять экономия! У нас тоже об этом говорят. Но, по моей логике, процветание будет в вашем институте не от экономии, а от прибыли или эквивалента прибыли. А доктор наук больше даст, скажем, для больных. В общем, до конца я эту логику не уясню. Впрочем, логика – это правила, по существу. А раз жизнь, как говорите, игра без правил, значит, предположения бессмысленны, результаты непредугадываемы, выводы нелепы, поучения несостоятельны. Логика, наверное, логике рознь.

– Конечно. Вот вам другая. Кандидат стремится к докторской, он роет землю копытами, у него тема, он активнее дает план научных работ. От него идут статьи, доклады – он выгоден институту, заведующему, директору. А доктору некуда рваться, разве только на место заведующего или директора, если те будут уходить или умирать. То есть доктор – потенциальный недоброжелатель начальства.

Мишкин молчит, потому как не знает, что можно сказать, и не знает, как думать при такой логике. По видимому, есть своя правда и у этих докторов, и у их директоров.

– Да, жизнь – игра без правил. Я вот вчера оживлял одного травматика. Один глаз закрыт гематомой, а второй с узким зрачком. А раз зрачок узкий, значит, живой, хоть ни пульса, ни давления. Суета и суматоха. Зрачок узкий – оживляем. Кровь льем, искусственное дыхание, массаж сердца. Так и оживляли, пока глаз этот не выпал – стеклянный оказался. Вот вам и правила игры. Ну ладно, а если все таки сократят? Вы узкий специалист. Такие специальности только в таких институтах и нужны. Куда же вы? Что делать будете?

– Ну, во первых, это уже моя проблема, и директора это не волнует; а во вторых, предложат поехать в какойнибудь институт в глубоко периферийном городе.

– А вы не хотите?

– Не очень, да не в этом дело. Сейчас во всех городах свои институты и свои руководители. Они и заинтересованы своих выдвигать, а не варягов получать откуда то. они и создают своих учеников, свои школы. Десять лет назад доктора наук с руками бы оторвали в любом городе. А теперь присланного доктора встретят, скорее всего, очень недоброжелательно.

– Как же быть?

– Ну, если такое решение состоится и не удастся устроиться специалистом моего типа, то придется идти в больницу вашего типа, кидаться в ноги заведующему и просить его взять на работу простым доктором и снова учиться делать аппендициты, грыжи – все то, что уже довольно прочно забыто.

– Это ж очень мало денег, по сравнению с вашими институтскими окладами.

– Прибавка за докторскую степень будет.

– Двадцать рублей.

– Будем утешать себя тем, что у кандидата десять. Вы же живете. И мы проживем.

– Я не тратил столько времени на писание диссертации. Я от жизни в это время получал удовольствия.

– Мне говорили, что ваше удовольствие в основном в больнице. И днем и ночью.

– Во первых, кому что удовольствие. И учтите к тому же, хороший хирург сделал операцию и спокойно пошел домой. А ночью торчат у своих больных плохие хирурги, как я. Неуверенные. А во вторых, это преувеличено. Я люблю валяться дома на тахте, читать и чтоб собака терлась об меня при этом. Люблю выпить с друзьями. Совсем, так сказать, не чужд раблезианских удовольствий. Знаете, сделаешь одну необычно удачную операцию, а люди в жажде чуда несут невесть что. Бога у них нет, но есть жажда чуда, которая и порождает героев вот таких слухов. Ну, а вопрос с сокращениями как-нибудь решился?

– Пока оставили и разговоры и нас. А тут и кампания сокращения кончилась. Но осталась опасность, подорваны и вера и служебные отношения. И тоска в груди появилась.

– Ладно, не будем говорить о неприятном. Что ж болит у вас? Впрочем, это тоже не веселый, наверное, разговор.

– Евгений Львович, давайте начистоту. Как мужик с мужиком. И даже более чем начистоту. Я вам сейчас все выложу.

– С какой преамбулой! Слушаю вас, Сергей Алексеевич.

– Я убежден, что у меня рак толстого кишечника.

– Уж так сразу.

– Вы послушайте, не прерывайте. Я знаю вашу святую обязанность утверждать обратное.

– Ну ладно.

– Боли у меня давно. Носят они характер временами наступающей непроходимости. Симптомы ее классические. Прощупать ничего не удастся. И тем не менее, если это рак, я думаю, что удалить уже его не удастся...

– Давно у вас болит?

– Около пяти лет.

– Ого! Рак! Так долго.

– Последнее время приступы чаще и все проявления непроходимости резче. В основном в последний год.

– Пять лет! Конечно, рак длится намного дольше, чем это себе представляли раньше, – я в этом убежден. Но пять лет боли!

А чем вы еще болели?

– Я здоровый человек, Евгений Львович. Только зубы.

– Каких-нибудь травм, операций не было?

– Лет семь назад аппендицит. И еще в детстве неудачно в воду прыгнул. Болел живот около двух недель, лежал в больнице, боялись разрыва печени подкапсульного. Вот и все.

– Вестимо, чего боялись. Прилягте, посмотрю. Доктор лег на диван. Мишкин присел на край.

– Не похудели?

– Последнее время немножко похудел.

– Вы смотрите, какая складка. Чтобы рак пять лет и такая складка. Слева у вас ничего не прощупывается. А справа... справа слепая кишка немного переполнена.

– Она-то и болезненна.

– Вестимо – раз переполнена. А какой у вас был аппендицит?

– Тяжелый для меня и для хирурга, но не гнойный. Он располагался, отросток, под печенью, был в спайках. Пришлось наркоз дать.

– Так ведь болеть после этого может. Спаечный процесс. Ведь он был и до операции, как вы говорите, а уж после и подавно.

– Евгений Львович, будем говорить начистоту и дальше, вы позволяете?

– Мы ж договорились.

– Если у человека рак, особенно неоперабельный, – так уж лучше его не лечить, пусть больной быстрее помрет. Так ведь?

– Никогда.

– Но для себя, не для меня, – мы ж договорились, доктор, – вы так думаете?

– Никогда я так не думал. Ни для кого. Если у больного непроходимость на почве рака, надо все равно оперировать и либо вывести кишку, либо обход сделать, если нельзя убрать опухоль. Мы должны выполнять работу по обету, взятому еще в юности. Мы уже не вольны. Мы не должны решать за рак, а должны делать, что умеем и можем. До конца.

– Вы действительно так думаете?

– Я не знаю, как я думаю, – я так делаю. Мишкин сел в кресло. Доктор медленно одевался.
– Я-то уверен, что все доктора при раке неоперабельном ничего не делают. Это ж нецелесообразно – что-то делать, мучения продлевать.

– Нецелесообразно. Потому вы и не доверяете своим врачам в институте. Для вас нецелесообразно содержать доктора наук в институте. Нецелесообразно!

– Но у вас в больнице думают, по моему, так же. Мы...

– Целесообразно! Кто знает, что целесообразно. Просто каждый должен делать свое дело, которому обучен.

– Да. Но посмотрим. Посмотрим, Евгений Львович.

– Кроме того, я убежден, ну не на сто процентов, а, скажем, на девяносто пять, что никакого рака у вас нет. В конце концов, анализы-то хорошие. Нет. Нет никаких оснований думать о раке. Я думаю...

В дверь постучали, и вошел больной.

– Евгений Львович, я сегодня ухожу...

– Простите, я сейчас занят. Я потом к вам подойду.

– Евгений Львович, вот у меня несколько вопросов к вам. Прочтите, пожалуйста.

Мишкин взял исписанную бумажную салфетку и сказал:

– Идите в палату. Я зайду к вам. – Больной ушел. – Это какой-то полусумасшедший. Я ему грыжу делал. Замучил меня. А во время операции ему было больно. Он стонал и извинялся, что вот он, мужчина, должен быть терпеливым, а не может сдержаться. Мне же еще приходилось его успокаивать. Представляю, что он написал. Вам как доктору, наверное, тоже можно прочесть. – Он стал читать: – «1. Какова должна быть длина шва? – Я же говорил. Вот так. Посмотрим дальше. – 2. Симметрично со швом другой стороны можно было сделать? Эстетика! – Интересно, что еще будет. – 3. Когда можно половую жизнь? – Ну это вопрос деловой. – 4. Если почувствую себя плохо, к вам приходите? 5. Сколько кг можно тащить в сумке? 6. Можно ли купаться, плавать, грести в лодке, играть в большой теннис? 7. Можно ли через месяц ездить за грибами, с большой корзиной и рюкзаком?»

– Ну что ж, имеет право. Вы знаете, Евгений Львович, французский невропатолог Шарко называл таких больных «больные с бумажкой в руке». Заберите, говорил он, бумажку, и пусть спрашивает наизусть. Важное не забудет. Забывается несущественное. С бумажкой больные – всегда ипохондрики.

– Кто ж знает, какими мы будем, когда заболеем.

– Я-то уже болен.

– Вы сейчас думаете, что вы не больной, а умирающий, вас ничто не интересует. А вот когда пойдет речь о выздоровлении и дальнейшей жизни – вот тогда посмотрим.

Вошла Наталья Максимовна:

– Извините, Евгений Львович, привезли больного, автотравма. Переломы, шок. Оперировать не надо. Нужно кровь переливать. Вторая группа – у нас одна ампула.

– Закажите быстренько по «Скорой».

– Да это все понятно. Что-то случилось с телефонной линией. Если гнать машину в центр переливания – не скоро будет. Вторая группа. Я спросила, у кого из наших есть. Не возражаете? У нас-то с вами первая.

– Подумаешь. И первую можно. Пойдем в операционную.

– Подождите же, Евгений Львович. Однорупная же лучше! А согласных сдать свою кровь – полна коробочка. Если бы столько же было желающих, когда мы должны были сдавать кровь по разнарядке, – нас бы не ругали так в районе.

– Простите, Сергей Алексеевич. Дела. Я еще увижу вас. Пойдем.

– Конечно, конечно, Евгений Львович. У меня вторая группа, Евгений Львович, возьмите у меня. – Сергей Алексеевич испуганно и настороженно смотрел на коллег.

– Спасибо, Сергей Алексеевич. Возьмите у него тоже, Наталья Максимовна. Пошли быстреей.

В коридоре около операционной он остановился и сказал:

– Кровь у него возьмете, а переливать...

– Нам ему надо кровь перелить, а не то что брать у него. А может, там рак.

– Дурочка ты, Наташа, а еще перебиваешь. Он же проверяет, что мы думаем. Если мы думаем, что рак, – значит, кровь не возьмем.

– Все понятно, но сам-то он должен понимать. Он ведь думает, что рак...

– А это его проблема. Кровь у него возьмем, а потом ему же и перельем ее.

– А у него рак?

– Кто его знает. Не похоже, но, может, и рак. Надо рентген сделать. Пойдем к этому шоку.

– Да там ничего не надо делать. Просто из шока выводить пока. Я пришла, чтоб предупредить о взятии крови у своих.

– Посмотреть надо все равно. Мы же дежурные. А кровь возьми у меня. Нельзя брать у среднего персонала, если сам заведующий еще не дал. Неприлично.

– Что за глупости. Во первых, все прекрасно знают, что вы свою кровь уже не раз давали. А во вторых, Евгений Львович, вы сами говорили, что к людям надо хорошо относиться, доверять заведомо. А сейчас?..

– Ты права. Это я заразился от доктора. Он никому из докторов не доверяет. Он весь в целесообразности. Лечить неоперабельный рак, он считает, нецелесообразно и не гуманно. А теперь всех врачей боится.

– А что он считает целесообразным – убивать, что ли?

– Он сейчас ничего не считает. Он в полном раздрызге чувств. По моему, он путался, не понимая, кто врач, а кто палач, когда болезнь вступает в конфликт с целесообразностью. Ничего, мы его научим жить, а?! Лишь бы не рак был. Молодой совсем парень. Доктор наук.

– Доктор!

– Ну да. Пойдем, Наташа, все же надо посмотреть больного. Потом в ординаторской он сидел и разглагольствовал о том, как люди хорошо откликаются на действительные и конкретные нужды. Когда не для какого-то абстрактного плана или галочки. Четыре сестры и один врач дали кровь. А сейчас уже и со станции привезли. Крови достаточно сейчас.

– Но он еще тяжел. – Это Банкин, травматолог. – Больному еще вытяжение надо делать, еще возиться много.

– Теперь, наверное, опасности для жизни нет.

Но вот уже и больного вывели из шока, и вытяжение наложили, и травматологи смогли уйти домой. Все ушли. Наступил вечер. Пока дежурство легкое. Все спокойно, Дежурные Мишкин и Наталья Максимовна решили поесть. Вытащили из холодильника свои припасы, притащенные из дома, объединили. Наташа подогрела на плитке, что было предназначено для еды в теплом виде, и, так сказать, еще не очень усталые сели за стол.

* * *

МИШКИН:

Мы поели. Расселись в креслах. Стали ждать, отдыхать. Начали спокойный разговор дежурных, когда все в отделении сделали, а нового ничего не привезли.

Телефонный звонок.

Наташа взяла трубку.

– Алло... Сейчас нельзя. Она занята с больными. – Повесила трубку.

– Ну что такое, Наташа, трудно позвать сестру к телефону? А завтра ей придется звать тебя к телефону. Да и учти, уважения больше, доктор пошел звать к телефону сестру иль сани-

тарку. Ты хоть посчитай – и увидишь, что выгоднее. И зачем это: «Сейчас нельзя. Она занята с больными». Фу. Мужики – те грубияны. Но ты не будь сухой.

Какой бы ты ни был резонер, но женщинам в такой тональности говорить нельзя. Конечно, она в слезы. Я уж и извинялся, и на бровях перед ней ползал. Дернул черт меня сухой ее назвать. Но, наверное, не в суке дело было. Просто самой неприятно, что так сказала. А все равно оправдываться стала:

– Виновата, Евгений Львович. Но так все надоели. Покоя хочется хоть какого. На дежурстве только и есть покой. Ну, привезут больного, так это нормально, работаешь, устанешь, но нормально устанешь. А дома! Дома нет покоя. Ведь уже скоро сорок лет мне. А до сих пор в кошмаре живем. Муж, родители мужа, ребенок и я. Вы же видели. Кресла кровати наши ставлю днем на родительскую тахту. От этой тесноты ругань все время. А с кем – со свекровью, конечно. Хотя я ей должна быть благодарна по гроб. Отношения с мужем портятся. Сын носится по комнате аж голова шумит. В коридор выгнать нельзя – сосед больной, ругаются. Да и действительно больной. Уже два года болен. И до конца жизни болеть будет. В сердцах пожелаешь... Уж не скажу что, а потом маешься, сердце болит от такого. Говорят, скоро дадут квартиру. Уж пять лет говорят. На кооперативную денег нет. А скоро сорок – жизнь-то кончается почти. Вот и бережешь покой ординаторской. Вы уж простите. Сама знаю, что плохо. Эх Евгений Львович, дадут квартиру, заведу собаку, как вы. А вы тоже хороши. В общей квартире собака. И главное, все на Галю бросили, она ведь с собакой возится. Да в общей квартире. А здесь вы деликатный, для других. А ей каково. Так и ходим мы, несчастливые, за счастливыми.

Перешла в наступление. Да Бог с ней. К тому же и права!

Опять телефонный звонок.

– Хирургическое отделение... Позвоните позже. – Бряк трубкой на рычаг. – Ой! Что же я! Вот так, Евгений Львович, а ведь решила сейчас всех подряд звать.

– Ох, кума, сглазишь ты наш покой. Его ведь заслужить надо. И расстроила ты меня. Все таки приятно думать, что тебе, то есть мне, очень плохо живется. Втроем в двадцатиметровой комнате. Но ведь есть же возможность собаку держать. А мне все мало. Скоро дадут тебе квартиру. На пятерых-то – трехкомнатную. Ох и заживешь ты. Буду приходить к тебе отдыхать. Пустишь?

Она засмеялась. Наталья Максимовна часто смеется. И сейчас. Белые волосы распушились. Под лампой сидит – волосы блестят, рот большой – я люблю, когда у женщины большой рот. Наташа такая молоденькая кажется! И не поверишь, что ей под сорок.

– А почему ты так молодо выглядишь?

– Какое молодо?! Я за последние годы полнеть очень стала. Вот все, кто занимается спортом, как бросят, так полнеют.

– Я и говорю, что от спорта больше плохого, чем хорошего. Ведь бросать-то всем приходится. И быстро развал.

– Если бы знала, что так себя буду плохо чувствовать, никогда бы не отдавала баскетболу столько времени. А молодо выглядеть – спасибо двадцатому веку, век косметики и парфюмерии. Мы не ждем милостей от природы – взять их наша задача.

– Тебе вроде и на милости жаловаться не приходится.

– Я уж все имею от нашей жизни, – она засмеялась. – Двадцатый век сломал извечную несправедливость для женщины – выглядеть такой, какой уродилась. В случае чего и операцию можно сделать.

Вошла санитарка:

– Больного тяжелого из-под машины привезли.

– Ну, вот тебе и покой.

Мы побежали в приемное отделение.

Больной тяжелый. Выяснить ничего нельзя – пьяный.

Возились с ним до утра. В пять я послал Наташу соснуть хоть часок. А потом сам же и разбудил. Картина была не совсем ясная, вроде бы операции и не нужно. Вывести из шока надо, а потом за переломанные ноги можно будет приняться. Сделали мы ему блокады, ноги в шины уложили, льем в него всякие жидкости, кровь, а дышит все равно плохо. Решил сделать ему пункцию грудной клетки слева. Потянул оттуда шприцем и получил прозрачную желтую жидкость. А что – не пойму. Позвал ее. Как говорится, одна голова хороша, а две лучше. Оказалось – один нос хорошо, а два лучше. Она подошла, понюхала лоток с жидкостью и спокойно сказала: «Вино. Сухое вино». Понюхал и я – точно. Мы посмеялись с нею. Благо, ей много не надо для этого. Поговорили о том, что она крупный знаток, а я себе все испортил, что в дегустаторы меня не возьмут. Ну посмеялись – и диагноз ясен: разрыв диафрагмы с выпадением желудка в грудную полость. Оперировать надо. А без вина бы не решились. И от вина бывает польза немалая иногда.

Соперировали. Желудок вытащили из груди назад, на свое место, в животе уложили, диафрагму зашили. К десяти больной уже немножко оклемался.

Я вспомнил, что в одной нашей хирургической книге, посвященной ранениям живота, приводится анекдот быль о поездке Бриана по французским госпиталям в первую мировую войну. В госпитале он увидел одного зуава, который был спасен во время штыкового боя от прямого удара в живот защитными в поясе золотыми монетами, – штык, соскользнув с монет, лишь оцарапал живот. Бриан сказал: «Видите, как полезно всегда иметь при себе немножко денег».

Как полезно всегда немножко выпить. Но, конечно, только сухое вино, а то женщины хирурги будут в затруднении. Впрочем, если бы были щи, было б еще яснее.

После удачной операции и сил как будто больше. Или радость, что ли, распирает?

Смотрю на Наташу – постарела за ночь маленько. Не вышло с покоем на дежурстве. Краски сошли немного, а какие они, естественные или искусственные, – не сказать. Мне не сказать. Вот Нина, наверное, моложе, а кто из них краше... Мне не сказать.

В три часа подкрасилась, посвежела и пошла домой. Отдыхать будет. И я тоже. Так и ходим, счастливые за несчастливыми. И все таки мы счастливички. Радость у нас есть после действия нашего. А смотрю я на других, на Сергея Алексеевича к примеру, – хорошо нам. И работа хорошая, счастливая. И решать мало надо – жизнь сама решает и заставляет нас что-то делать. Почти всегда единственно возможное. Свобода выбора – может, это и хорошо, но очень трудно. Нам легче.

ЗАПИСЬ ДЕСЯТАЯ

- Саня, на птичий рынок поедем?
- Конечно. А мама?
- И маму возьмем. Собирайся. Галя, ты поедешь с нами на птичий рынок?
- Вестимо.
- Тогда собирайся быстрее.
- Пап, а Рэда возьмем?
- С ума сошел. Да он сбесится от обилия собак. А потом, из за него придется брать такси. А так на метро. Галь, а как насчет поесть? Успеешь?
- Будет сделано, мой капитан.
- Пап, а что там, кроме собак?
- Рынок-то птичий, – стало быть, птицы. А еще кошки. Корм для разной живности. Еще рыбы.
- Но собаки беспаспортные? Не через клуб, да? Нечистопородные?
- Это да. Но почему такое разочарование? Нечего в себе воспитывать собачий расизм. Кстати, дворняг некоторые считают самыми умными из собак.
- Нет, я не про это. А насчет умных – вчера Мишка принес в класс собачий журнал – ревью собачье – ему из Москвы привезли, – там написано, что самые умные таксы. Там сказано – Мишка переводил нам...
- А сам ты еще не научился, что ли? «Три мушкетера» вы переводите все, а собачий журнал...
- Он же на перемене, вслух, всем. Там так сказано, что, если вы хотите иметь дома тирана, заведите таксу, они очень хорошо ориентируются в характере каждого члена семьи и к каждому подбирают свой ключ, пользуются слабостями каждого индивидуально.
- Вошла Галя:
- Сейчас уже все будет готово, а вы не одеты. Саша, почишь ботинки себе и папе. Женя, погладил бы брюки.
- Хлебом не корми – дай поруководить. И так сойдет.
- Кончится ведь тем, что мне придется.
- И правильно. Я тебя для какой должности взял?
- Пошел! Иди, Саша, чисти, чисти. Ну, хоть поставь тарелки на стол.
- Это можно.
- Все занялись делами.
- Наконец поели. Надели чистые ботинки. Галя достала пиджак из шкафа и подала Жене.
- Ну, сынок, по дороге проведешь курс ликвидации безграмотности среди нас по собачьей линии. К каким собакам как на сегодня мир относится. Как там в ваших ревью собачьих написано.
- Ладно, вот собачьи журналы, а я у тебя книгу о Швейцере взял, но не понял, кто он.
- Ну у, мужики, это ж надолго. Пошли.
- Пошли. А кто против? О Швейцере я и по дороге расскажу.
- Пошли. До метро шли пешком.
- Так вот, парень. Швейцер был такой, даже не знаю, как сказать – француз он или немец. Родился он в Эльзасе. Поэтому-то француз, то немец. И говорил и писал он и на том и на другом языке. Пожалуй, он все таки больше немец. Он был крупный богослов-философ, крупный музыковед баховед, крупный знаток строения органов и крупный музыкант, исполнитель Баха на органе. А в сорок лет он еще закончил медицинский факультет ко всему этому и уехал в самую глубину Африки, в Габон, людей лечить.

– А почему так поздно окончил медицинский?
– Он не собирался быть врачом, занимался совсем другими делами, но под сорок лет решил, что его нравственный долг помогать тем людям, которым хуже всего. И пошел учиться на врача.

– А что, африканцам хуже всего?
– Он считал, что европейцы, не понимая жизнь африканцев, своим присутствием разрушили весь жизненный уклад их, и он, так сказать, поехал за это платить, искупая, так сказать, вину европейцев.

– Он-то ведь тоже европеец.

– Потому и поехал.

– А он почему думал, что понимал их жизнь? Может, он тоже разрушал?

– Может. Но он так понимал свой нравственный долг. И более полвека провел в Африке, так как там очень много больных.

– А в Европе разве мало больных? Вот ты и дома не бываешь, говоришь, врачей не хватает. А Швейцер давно жил?

– Умер он в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году, а уехал в начале века.

– Ну вот, пап! Тогда врачей еще меньше было. А больных, наверное, больше здесь было, чем сейчас. Почему он туда поехал?

– Но в Европе были врачи, а там не было.

– А если бы выучить тех, которые знают их жизнь, негров, и пусть там лечат? А, пап?

– На все вопросы не ответишь, во первых. А во вторых, сейчас так и делают – учат, и они уезжают домой.

– Почему же Швейцер так не делал?

– Много сложностей на пути было. К тому же он миссионер, христианство распространял по белу свету.

– А он известен был как кто больше всего? Врач, музыкант, философ?..

– Все вместе. Он получил Нобелевскую премию мира в основном как врач подвижник.

– Ну, а ты разве не врач подвижник?

– Как говорит в таких случаях дядя Филипп: «Молчи, дурак, за умного сойдешь». Что привязался с этим Швейцером!

– Да я не пойму, пап, за что он такой знаменитый. Он ведь не большой ученый как врач, а премию дали как врачу.

– Я ж тебе говорю. Он в Африке лечил, а не в крупном европейском городе, как я, например.

– Здесь вас много, а там один на виду. Так?

– Приблизительно так.

– Тогда понятно. На виду, значит. А то ведь ты вон сколько работаешь, а вот премию не дают.

– Держи пятак – метро уже.

На птичьем рынке они пошли прямо к собакам. Галя, увидев продающуюся сиамскую кошку (почему-то они продавались среди собак), тут же выступила с интерpellацией: а не купить ли. Но решили сначала осмотреть весь рынок. Тут же произошла трогательная встреча какого-то дога с Сашей. Они как будто искали друг друга. Саша подошел погладить, а дог в ответ приподнялся, положил Саше лапы на плечи. Саша тоже обнял его в ответ. Взрослый бы испугался, но Саша не подумал ничего плохого, он правильно понял: собака хочет обняться – и он с удовольствием. Хорошо, что Галя не видела, а Женя увидел уже, когда их дружеское соединение не вызвало никакого сомнения в обоюдном доброжелательстве. Затем они долго стояли у коробки, по краю которой свисало около десятка головок маленьких боксерчиков.

Одного щенка Саша вытащил из ящика. Щенок был весь в крупных складках, как будто кожа была рассчитана на десять таких объемов.

Битых три часа они ходили и смотрели на самую различную живность. В какой-то момент Мишкин воскликнул:

– Господи, сколько живности то... – Сказал и вдруг остановился. Вернее, продолжал идти, но мысль остановилась, вернее, мысль продолжалась, но на одном месте. Он стал вспоминать что-то связанное с «живностью».

«Что? Что? А! Вчерашний разговор. Да и разговора-то почти не было, а весь, как отпечатанный, остался в голове:

– Да ведь в нем никакой живности не осталось. Совсем плох. (Какой живности? Почему живности? Что за странное слово?

И почему – «не осталось»? Живность. Она хотела сказать – сил, наверное. Может быть, живого мяса? Что она имеет в виду? Живность. Он живой, и очень живой. Живность. Домашняя живность. Домашний скот. Да что она!

– ДА ЧТО ВЫ!.. (Может, она думает – раз мы хирурги, значит, что-то вроде мясников. Может, она где-то внутри думает: больница – это бойня. Какая же живность? Живность. И почему не осталось? Он совсем не плох. Он вообще выздоравливает.) ...ОН СОВСЕМ НЕ ПЛОХ. ОН ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ... (Конечно, он здорово сдал после операции. Похудел. Ну а как иначе? Нельзя же оценивать его живность по весу. Опять живность. Почему я тоже это слово повторяю? Ведь не скот же он. Почему она по весу определяет его живность? Фу ты! Живность! Почему живность? Что, разве я измеряю его силы и здоровье в каких-то единицах жизненности? Что за инженерный подход к людям. Но ведь инженерный подход – это подход с точки зрения точной науки. А то живность! Какой-то скотский подход. А жизненность – инженерный подход. Тоже не годится. Человек не машина. А если бы человек был машина? Вот бы легко лечить было. Нет, ни сельский, ни промышленный подходы не годятся. После ремонта нет периода выздоровления, периода набирания сил. И вообще машина не поправляется.) ...ОН ЖЕ ПОПРАВЛЯЕТСЯ И СКОРО... (Машина отремонтирована и сразу здорова. А то живность. Конечно, она считает нас мясниками. Его-то она считает скотиной, но, наверное, где-то в глубине, что даже и не думает, а... думает – мол, они то, хирурги, всех нас за скотов держат, которых можно резать. Нет, она так, конечно, не думает. Но часто ведь слышим мы: «Хирурги – мясники. Им бы только резать...» А зачем нам только резать? Чем меньше режем – тем меньше устаем, тем меньше нервничаем, тем раньше домой уходим.) ...И СКОРО ДОМОЙ УЙДЕТ. (И вообще мы не режем. Противное слово – резать. Разве я режу? Я лечу. А то режу. Что режу – говорят, а вот что шью – не скажут. Живность домашнюю можно резать. А я лечу людей. Какое ужасное и навязчивое слово – живность! Это что, принятый термин? Или сейчас родилось из глубин подсознания? Конечно, волнуется. Муж ведь. Поэтому-то такое и в подсознании. А напрасно волнуется.) ...ТАК ЧТО ВЫ НАПРАСНО ВОЛНУЕТЕСЬ... (А как же не волноваться. А если умрет. А ведь, наверно, этот червяк в мозгу ползает. А если умрет, в глубинах этих самых, уже давно ясно – «зарезали». Оно и легче. Отсюда и живность. Фу! Никакой живности! – все будет в порядке.) ...ВСЕ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ.

– ДА ЧТО ВЫ! ОН СОВСЕМ НЕ ПЛОХ. ОН ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ. ОН ЖЕ ПОПРАВЛЯЕТСЯ И СКОРО ДОМОЙ УЙДЕТ. ТАК ЧТО ВЫ НАПРАСНО ВОЛНУЕТЕСЬ – ВСЕ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ.

Короткий был разговор. А так осталось в памяти. Что долго-то разговаривать».

Мишкин посмотрел на Галю, она заметно устала. А Сашка по прежнему оживлен и бегаёт от собаки к собаке. Того и гляди, сейчас попросит «все вернуть».

Галя потихоньку сказала:

– Пойдем, Женя, хватит. Оторви Сашку от живности этой.

– Почему живности?

- Что почему? – естественно, не поняла Галя.
- Живность почему? Слово странное.
- Да ты сам так говорил... Ну, животные. Скоты – как хочешь.

Мишкин засмеялся.

- Ну ладно, давай извлекать его.
- Саша, давай кончай базар. Уж мы все осмотрели, а ты все перещупал, по моему.
- Как перещупал. Вот еще этих посмотрю, и пойдем. Еще только их.
- Сашок, надо идти. Мама уже, видишь...
- Иду, пап, иду. Вот только...

Мишкин понял, что нужен довод более сильный, чем нужды или усталость мамы:

- Саша, я в это время уже обещал быть в больнице. Надо ехать, я уже опоздал.
- А а! На такси, да? Да, пап, на такси?
- Давай на такси. И мама устала. Галя, санкционируешь такси? Вернее, финансируешь?
- Поехали на такси. А ты действительно хочешь в больницу?

– Что значит хочешь? Заехать-то надо. Сама понимаешь. Галя вздохнула. Понимать она понимала, к тому же она знала Женю, к тому же понимала уровень необходимости.

- Понимаю. А как другие?
- Ты ж не за другого выходила замуж. Чего зря говорить.

И действительно, что зря говорить. И действительно, почти никогда он зря не приезжал. Потому что всегда он почему-то оказывался нужным.

В больницу они приехали все. В больнице и к этому привыкли. Если Евгений Львович решил свое время отдать семье, это значит, что он всю семью притащит в больницу.

И сегодня он оказался нужным.

В больницу поступил больной, которому сейчас делали операцию. Не бог весть что, не такой уж тяжелый больной – всего-то прободная язва, но делать надо под наркозом. В воскресный день это всегда проблема. Дает наркоз сестра, так как по штату на такое маленькое отделение дежурный врач-анестезиолог не полагается. Одной сестре трудно – в помощь ей еще одна сестра дается, которая снимается с поста в отделении. А оба доктора оперируют. Такова бывает расстановка сил, когда во время дежурства кончается кислород. И сегодня так же. Вызвали из коридора еще одну сестру с другого поста. Кислород подключается на улице. Она этого никогда не делала. Знает и умеет только сестра анестезист, которая не может отойти от больного.

Неужели придется размыться одному из хирургов и бежать возиться с баллонами, гаечными ключами, манометрами, редукторами...

Оперирующий Агейкин шумит на сестер, что предварительно не проверили. Сестра в ответ кричит, что перед операцией было сто атмосфер, этого всегда заведомо хватало и на большую операцию, «сколько же надо просить, чтоб приехали мастера, ведь наверняка где-то утечка. Ведь было же сто атмосфер! Было!»

А Агейкин все шумно и крикливо сетовал, что никак он не может их привести к порядку. А сестра все кричит про утечку.

Наконец Агейкин говорит: «Что ж, я размываюсь и тогда иду заниматься баллонами. Потом приду помоюсь». Говорит он это с вызовом, упреком, укоризной. Кому?! К кому?!

И в это время, как архангел, в операционную вплыл Мишкин. – Евгений Львович, хорошо-то как! Кислород!

- А у вас что?
- Прободная. Зашиваем.
- Сейчас подключу.

Мишкин вышел на улицу. Притащил баллоны к кислородной распределительной установке. Подключил один. Потом заодно еще два пустых сменил и заменил новыми. Все закрутил. Уложил на место гаечные ключи и уже собрался закрывать ящик с кислородными бал-

лонами, когда услышал за своей спиной: «Бог в помощь, доктор». За спиной стоял техник, который раньше занимался всем тем, что сейчас делал Мишкин.

– А а. Здравствуйте.

– Не захотели меня. Теперь сами давайте. Давайте, давайте, а я посмотрю. Посмотрю.

– Смотрите, смотрите, – в тон ему ответил Мишкин. – У вас же выходной. Отдыхать всем надо.

– Так вы ж не захотели меня, выгнали. Вот и давайте.

– Вы ж ходили пьяный на работу – вот и выгнали. Мишкин вспомнил скандал с этим вечно пьяным техником.

Его терпели потому, что никто не хотел за тридцать рублей в месяц приходить сюда после своего рабочего дня и заниматься этой немудреной работой. Его терпели и, как могли, старались не замечать его пьяные упражнения с баллонами. Однако всему бывает предел – однажды он наступил. И этого мастера – мастера! мэтра! – просто абсолютно никак не квалифицированного рабочего – выгнали.

– А кто ж за полставки, за тридцатку, будет у вас работать трезвым?

Мишкину нечего было возразить. И тем не менее он машинально, как всегда, вступил в дискуссию:

– Так вы ж у нас были совместитель. Это не весь ваш заработок.

– А это уж мое было дело. А за такие деньги кто ж трезвый будет работать. – Видимо, ему понравился аргумент, и он еще несколько раз его повторил.

Мишкин запер замок на кислородном ящике и собрался уходить.

– А между прочим, товарищ доктор, я вот чего, думаете, смотрю. Я сына привез к вам, – говорят, его сейчас оперируют. Так вы небось не оперируете его – с кислородом возитесь. Хорошо ли? – Пьяный почему-то засмеялся, увидев, по видимому, в этом разделении труда что-то юмористическое, и стал хихикать над этим недоступно юмористическим.

Мишкин остановился:

– Да вы не волнуйтесь. Там все в порядке. Язву уже зашили. Сейчас операцию кончают. Так что все в порядке.

– А я и не волнуюсь. Я знаю... – И смех его перешел в слезы. – А жить-то будет, товарищ доктор? Он у меня один. Я ведь другой раз из окошка, вон я живу где, напротив, смотрю из окошка – вы баллоны переставляете. Ну, думаю, сам на месте, все в порядке в больнице, значит. И за кислород не беспокоюсь. Значит, будет жить? Будет?.. – И он опять заплакал.

– Да. Все в порядке. Уже зашивают.

– А то у него ведь никого. Худой. Матка умерла наша. А жены еще нет.

– Все в порядке. Это язва. Жить будет, а живность нарастет. Идите домой, а завтра к нему придете.

– Ну спасибо, товарищ доктор, а то за тридцатку кто ж будет трезвым баллоны переставлять.

И он, наверно успокоенный, пошел куда то, может домой.

А Мишкин пошел в больницу, к семье, а потом, наверное, тоже домой.

Дома он играл с Рэдом, отвечал на Сашины вопросы. Часто не отвечал. Вопросов было много.

– Пап, а у Швейцера был кислород? Кто его подключал?

– А почему не было?

– А собака у него была?

– А что лучше – терапевт или хирург?

– А что важнее – сердце или легкие?

– А по русскому языку у тебя какая отметка была?

– А кто кроме Швейцера в Африке лечил?

- А сколько в Европе не хватает врачей?
- А что такое болезнь? А что такое здоровье? А собаки боль чувствуют? А можно оперировать без наркоза? А в театр со мной пойдешь ты или мама?
В театр пошел с ним Евгений Львович. Смотрели «Недоросль».
- Пап, а Фонвизин немец?
- Почему ты решил?
- А почему он Фон?
- А Фонтанов тоже должен быть немец? Я не знаю, кто предки у Фонвизина, но кровь его значения не имеет. Он писал на русском языке, думал о российских бедах и проблемах, – значит, русский.
- Пап, а если на такси ехать – географию тоже знать не надо?
- Пап, а мы придем домой, тебе из больницы будут звонить?
- Не знаю, Сашок. А ты не хочешь?
- Я не хочу, чтобы ты уезжал, а чтоб позвонили – хочу. Ведь ты им нужен.
Но в тот вечер из больницы не звонили, а когда Саша уснул, Мишкин позвонил туда сам. Ему сказали, что в отделении все нормально, что он может продолжать спокойно отдыхать и что через десять часов они ждут его на работе.
- Галь, а ты мне карман в брюках зашьешь?
- Галя, а ты когда теперь дежуришь?
- А ты о Швейцере прочла книгу?
- Галь, а ты завтра когда приедешь?
- Галь, а кто из нас на родительское собрание пойдет?
- Ты мне, Женя, задаешь тысячу вопросов. Ну прямо как Сашка. А вот взял бы лучше паспорт завтра и пошел бы в милицию. Ведь два года уже, как ты его просрочил.
- Вот не можешь ты без задания. У меня сегодня день отдыха – и вдруг паспорт. Да зачем он мне нужен?
- А вдруг перевод придет – не дадут.
- А я профбилет принесу. В энциклопедии сказано, что для идентификации личности профбилет достаточен, годится.
- Карман зашить?
- Вестимо.
- А говоришь, день отдыха.
- Ну не зашивай. Какая разница. Спать охота.

ЗАПИСЬ ОДИННАДЦАТАЯ

МИШКИН:

Мелкий дождь идет мелкой сеточкой. Крупный снег стоит, как решетка. Частый и мокрый снег падал вокруг меня. Я шел все время сквозь решетку. В глазах зима, а под ногами осень. И все равно жарко. Я шел, как Куц бегал, – то быстро, то медленно. А из больницы почти выбежал. Как всегда, я про себя целую жизнь проигрывал.

В конце концов, мне уже пятый десяток скоро. Хватит. Наоперировался. Чего я достиг? Не так уж хорошо я оперирую. Ну, операции разные, ну, может быть, редкие иногда. Но я не стал виртуозом. Каждая операция моя и зрелищно должна быть хороша. Могу я сказать, что мои операции приятно смотреть? Нет. А то, что они смотрят, – так это другого не видят. Уйду в поликлинику. Дадут мне отделение. Деньги будут такие же. А может, и больше – там врачебных ставок больше. Возьму себе еще полставки. Дежурств не будет, по ночам вызывать не будут. Лет много, растет сын, надо ему побольше времени отдавать. Растет прагматиком. Он даже не постигает, в чем сила Швейцера. А кто виноват? Мне надо им заниматься. А я никакого внимания. Конечно, что понесло его в Африку, когда в Европе дел полно, да и потруднее, народ попривередливее. И денег бы не было. В Африку-то со всего мира присылали. А вот в Галицию бы не стали посылать. Или сюда. А там он виден всем, как на луне. Но, с другой стороны, полсотни лет он там прожил. И ведь не прожил, а проработал. Работал – лечил, строил. Не так все это просто. Все таки он благой человек. Человек внутренних потребностей, а не внешних побуждений. Надо Сашку любить научить. Не дать, чтобы чувство ненависти ко всему плохому, что естественно и свойственно юным, не стало бы выше любви ко всему. А где время взять? Уйду в поликлинику. Там своя тяжесть, но мне спокойнее будет.

Это странное, полубеспредметное думание повлекло меня совсем не по тому внутреннему пути. Я шел все быстрее и быстрее. Я думал все быстрее. Мысли мои начали скакать с одной проблемы на другую. То я думал о Швейцере. То об Оппенгеймере. То уже совсем начал абстрактно думать о смысле жизни. Зачем мы есть? Для чего существуем? А в этой связи о Бернардe Шоу, который, как я вспомнил, где-то писал, что люди с отсутствующим метафизическим началом в мышлении должны смысл жизни видеть только в одном – способствовать продлению жизни на земле. И придет время – род людской узнает, для какой цели столько веков и тысячелетий росли, ширились и множились цивилизации, сохранялся человек. Мы, врачи, при любом складе ума или души все делаем для того, чтобы человечество узнало в конце концов, для чего оно существовало, для чего мы жили. Конечно, это наш долг – все делать для продления рода человеческого. Мы, даже когда консерваторы, и есть реальные носители прогресса.

Тут я обратил внимание на то, что стал уж совсем мокрым. Снаружи от снега и грязи, а внутри мне по прежнему было жарко.

Я остановился у телефонной будки.

– Филипп?

– Да.

– Привет, Филл. Что делаешь?

– Сижу. Работаю мало мало.

– Может, выйдешь? Посидим немного.

– Дома нет никого. Заходи. Посидим.

Пошел к автобусу. Ко мне подошел парень, так около тридцати лет. Немножко пьян.

– Слушай, ты как едешь? Куда?

– Не понял. Еду на автобусе, до метро.

– Вот и хорошо. Можно, я с тобой поеду?

– Пожалуйста. Никто не мешает.

– Ты понимаешь, я зарплату получил. Вот видишь. – Он похлопал по боковому карману. – Сто пятьдесят в эту получку. Вот. Мы выпили две бутылки на пятерых. Я пошел. А за мной, смотрю, идут двое парней. Они видели, как я расплачивался. И все деньги видели. Они меня прищучат и отнимут. А мне бы только до метро добраться. А там все. Там я их уже не боюсь. Понял?

– Чего уж тут не понять.

– Вот я и говорю, вроде ты парень здоровый. Вдвоем-то мы управимся. Да к тебе и не подойдут. – Он задрал голову и стал смотреть мне куда-то в лоб. Он, конечно, был меньше меня намного. Но уж так задрать голову не было никакой необходимости. Это для комплимента, так сказать.

Мы вошли в автобус и сели рядом.

– Тебя как зовут? Меня Михаил.

– А меня Евгений.

– Вот, Женька, смотри. – Он достал из кармана пальто завернутую пачку фотографий и развернул ее у себя на коленях. – Вот, смотри, Женька. Ничего баба?! Надо за такую бороться? Жена моя.

Я посмотрел и почему-то отнесся к этому разговору серьезно.

– Ничего. Да ведь как знать. Вам виднее, наверное. А зачем бороться?

– А вот это дочь ее. Не моя. Она старше меня.

– Дочь? – это я шутил.

– Жена, конечно. А вот смотри, Женька, это я десять лет назад. В пионерлагере, вожатый. Ох и любил я ребят. В шесть утра вставал, чтобы приготовить им все. Всякие спортивные игры. Я здоровый был. За них пострадал. И они меня любили.

– А почему пострадал?

– Они как-то гуляли. Вот. А я в стороне шел. К ним какие-то местные ребята пристали. Я на них – здоровый был. Они на меня тянуть стали. Я врезал – здоровый был. Ну, слово за слово. Я еще врезал. А тут местные жители, милиция, протокол составили. Два года просидел. Здоровый был. А ребят я любил. Самое хорошее у меня в лагере в это время было. И в институте я тогда на первом курсе был. Учился плохо, но учился. Я не все любил. А здоровый был. Молчишь, Женька, слышишь?

– Слушаю.

– Вот пришел после двух лет. Работать стал. Вот она мне попала тогда. У нее дочь. Ну я ее люблю, как тогда. Понял, Женька? Правда, зашибать я стал. Не хочет со мной жить. Говорит – разводимся. И пришла поздно. Я говорю – где была? А она говорит – не твое дело, мол, разводимся. А я говорю – вот разведемся, тогда, а сейчас я за тебя в ответе. Ну и врезал. Поддавши был, конечно. А теперь со мной и не разговаривает. Понял, Женька? Вот как. Ну, я теперь что решил. Вот получка, да? Я пойду куплю костюмчик себе на все деньги. Да? Понял? Рубашка, галстучек. Шляпу и плащ купил в прошлую получку. С жратвой перекантуюсь какнибудь. Потом договорился с одной девкой у нас. Красавица. Оденусь и с ней пойду, чтоб увидела она. Понял, да? Как думаешь, поможет?

– Нет, пожалуй. Попробуйте просто с ней поговорить.

– Нет. Я уже договорился. А Зойка говорит, куда я с тобой пойду – у меня парень. Я ей – не нужна и ты мне. Пройдись только. Пусть посмотрит. Тогда поговорим. Ну вот, приехали. А в метро я сам. Спасибо. В метро я не боюсь. Там я справлюсь. Здоровый. Да их и нету. Спасибо, Женька. Увидимся – выпьем.

Я пошел к Фильке.

Он мне с ходу начал рассказывать про свои поиски, про новые документы из архивов, потом про всех, кого он видел, и кто что ему рассказывал, потом про новые книги, новые откры-

тия, предположения, гипотезы. Мне время от времени удавалось что-то вставить, но мыслью я в этот день далек был от его интересов. Как носитель информации он был на высоте. Как приемник – я был никуда не годен. Ничего не помню, что он говорил. Я продолжал бездумно представлять себе свое будущее, когда уйду из больницы, когда буду работать в поликлинике, когда не буду дежурить и не буду по вечерам ходить в больницу; когда буду все свое свободное время проводить с Сашкой, да еще с этими вот – Володькой и Филлом. А потом я подумал, что еще год другой, и Сашке со мной будет неинтересно, будет он ходить гулять со своими друзьями. У них будут иные проблемы, иные интересы. И то, что нам сейчас кажется неразрешимым, они просто не станут даже разрешать – это будет им неинтересно. В крайнем случае, поступят бессмысленно, бездумно и крайне эффективно и просто, как Гордий со своим узлом. А я буду говорить о нравах современной молодежи, потому что в мои молодые годы эти проблемы были главными. А время наших молодых лет, как бы плохо оно ни проходило, в старости нам будет казаться прекрасным временем, правильным и даже эталонным, потому что мы тогда были здоровыми, сильными, красивыми, как нам будет казаться в старости, нам тогда было легко, потому что мы думали о всех дорогах, которые, казалось, открыты нам, а впереди была вечность, конец которой в последнее время мы начали уже ощущать.

А в компании нашей уже появились пустые стулья за столом. Мне казалось, что все я делал как надо. И ничего не было! Откуда осложнение?! С чего такое состояние! Пневмония! Ей не выбраться из нее. Ничего не осталось от легкого. Нечем дышать. И искусственное дыхание не помогает.

А Филипп рассказывал мне в этот день очень много интересного, я не помню ничего, но я уверен в этом, потому что он феноменальный носитель самой неожиданной информации и всегда рассказывает интересно и никогда не повторяется перед одним и тем же человеком. Как ему удастся запоминать, что кому он рассказывает! Но я ничего не помню. Я помнил, что ему надо работать. И я пошел.

А по дороге позвонил Володьке и отправился к нему. У него заканчивался ремонт, и плотник прибывал полки. Он пытался прибить гвоздем к стене деревянную планку. Гвоздем к современной стене! А рядом лежала дрель и все, что надо для нормального прикрепления шурупом. Я спросил у него, почему он пытается эту стену долбить гвоздем. А он мне ответил, что несколько гвоздей испортит, но прибьет. А когда я ему предложил шуруп, он сказал, что алебаstra у него нет, а на деревянных пробках ему кажется, что держаться будет хуже. Я позволял себе говорить с ним на равных, так как и себя причислял к рабочему классу, к людям, умеющим работать руками. И я ему сказал, что, по моему, он ошибается. На самом деле мне показалось, что у него был просто страх перед электродрелью, которая в руках дергалась и тряслась, как бормашина. Может, у него недавно зубы болели, а может, ему еще предстояло идти к врачу. Я сделал несколько дырок дрелью, поставил пробки, и он прикрепил полки.

В этой работе я был уверен – осложнений быть не должно. Но я не думал и там, что будет такое осложнение.

За это время Вовка ибн Мишка сбегал и принес водку. Мы сели втроем и выпили. Я спросил у Вали, так звали плотника, давно ли он на этой работе. Валя сказал, что совсем недавно. Раньше он жил совсем не здесь и занимался совсем не тем, а сейчас у него жена и он пошел работать на стройку. Он так говорил «не здесь и не тем», что мы постеснялись спросить – «где и чем». Я спросил, давно ли он стал плотником и где учился этому. А он нам сказал, что недавно и не учился нигде. Он просто пришел на стройку, у него спросили, кто он, он сказал, Валя, ему сказали, ну хорошо, Валя, будешь плотником. И вот теперь он плотник. Ему и на работе ребята не показывают, как надо, а спросить он стесняется. Зато теперь у него доски есть, он может ходить вот так, как сегодня, и учиться. Тут он сказал спасибо мне, потому что у меня чему-то научился. У Вали не было ни малейшего признака, ни черточки того, что называют профессиональной гордостью рабочего, да и вообще специалиста. В процессе выпивки

мы поняли, что отсутствие гордости и профессиональности он заменяет якобы рабочей амбицией, гипертрофированной амбицией. Это как целое дробью, как числитель и знаменатель, – по видимому, чем меньше гордости, тем больше амбиции, и наоборот. Выпили мы с Валею, еще решили поделаться полочки. А он и стругать-то еще как следует не научился. Научится, ничего. Я понял, что Володька его добыл из за материала, который Валя, конечно, берет со стройки.

Потом Валя ушел, и мы стали рассуждать о распространившейся люмпенской психологии в среде неспециалистов. Что, например, врач, безусловно, представляет собой рабочий класс, что это не чиновник, хотя вынужден иногда справлять функции чиновника, и не ученый, хотя ему иногда приходится делать вид, что он ученый, врач конечно же представитель рабочего люда, а хирург, так тот и вовсе у станка стоит и физической работой занимается без всякой дополнительной физкультуры или там йоговской гимнастики. Потом мы опять говорили о профессиональной гордости и амбиции специалиста и люмпена и что люмпены есть и среди интеллигентов, которые живут лишь сегодняшней минутой, и наконец, допив все, я пошел домой.

Дома я узнал, что мне звонили из больницы, но я звонить в ответ не стал. Зачем мне нужно узнавать, что она уже умерла. Я и без их звонков заранее все это знаю. Сегодня дежурят Наташа и Игорь – управятся и сами.

А впереди суббота и воскресенье – я не хочу знать, что там происходит. И зачем мне знать, если она все равно умирает, а помочь ей я ничем не могу.

Я стал подбивать Галя и Сашку поехать с утра на лыжах, подумаешь, погода неподходящая. Там посмотрим. А за городом, может, вполне подходящая и кататься можно. Зато меня не будет дома, и я до самого понедельника не буду знать, что она умерла. Я просил говорить по телефону, что меня дома нет. Галя, конечно, удивилась этому, но промолчала. А то я бы ей ответил! А я-то знаю, что, когда Сашка уснет, она начнет у меня все выпытывать. А вообще-то и Сашке надо бы рассказать. Пусть живет в атмосфере забот. Нет, я ей ничего не скажу – еще заставит поехать, а я не хочу. В понедельник пойду насчет поликлиники. И правда – хорошо бы в табор. Я, пожалуй, уже развращен работой. И мне скажут – «оставь нас, гордый человек». И я оставлю свою гордость.

Галя пыталась меня выспрашивать, но по реакции поняла, что ничего не скажу все равно.

Утром мы поехали на лыжах. Конечно, за городом вполне можно было кататься. Я от них уходил все время. А потом мы остановились у какой-то горки, откуда Сашка все время скатывался, а мы с Галей остановились маленько передохнуть. И тут я ей все рассказал. Я рассказал, как к нам привезли эту семнадцатилетнюю девочку, привезли ее из милиции, куда забрали за какое-то преступление и тунеядство. Малолетняя преступница нигде не работала и не училась. А в милиции она, на глазах у всех, вытасила из кармана иголки и проглотила их. Милиционеры, конечно, испугались, привезли к нам. Мы поставили ее под экран и обнаружили только одну иголку. Оставили ее в больнице и наблюдали. Иголлка в кишках – это далеко не всегда так страшно, как звучит для непосвященных. И глотают их не так уж редко. Галя знала все это. И сумасшедшие есть любители глотать все подряд, и с умыслом часто – как эта девочка. Ну обычно даешь каши, пюре картофельное, хлеба мягкого – и выходят иголки. Вот мы и начали кормить ее и каждый день смотреть на рентгене. А иголлка стоит в одном и том же месте, приблизительно в районе слепой кишки. Каждый день в разном положении, а не выходит. Крутится, значит. Еще проткнет кишку. Страшно стало оставлять ее там. Мы под экраном отмаркировали приблизительно место и пошли на операцию. Весь живот облазили – нет иголки. Вот зря мы во время операции рентген не сделали. На следующий день опять взяли рентген – стоит в том же месте. Не брать же второй раз ее на операцию. А тут и пневмония началась. Да какая! Все легкое почти поражено. Ну все делаем, конечно, что положено. А тут еще появились симптомы перитонита. То ли просто от операции, то ли все же кишку проткнула оставленная нами иголлка. Ломаем голову – брать ее на повторную операцию, не брать. И надо

вроде, и страшно. И тут вдруг девчонка говорит, что никаких она иголок не глотала, а просто перед рентгеном втыкала ее в рубашку сзади. Ну, знаешь, я... Тут Галя меня единственный раз прервала: «А как же она на операцию согласилась? Ведь знала, что ничего там нет». Тоже мне вопрос! Я и сам не знаю, почему согласилась. Может, от психопатии, а может, решила, что операция спасет ее от кары. Больная все же будет. К мамочке отправят. Черт ее знает, что она думала. А вот сейчас...

Я не стал доканчивать, и так все ясно. Оперировали то зря!

Я бросил их всех там в отделении, а жива она там или...

Я побежал вперед. Им меня догнать трудно. Потом я остановился и стал поджидать семью. Наконец, догнал меня Сашка и сказал, что мать поехала на станцию. Ей зачем-то нужно в город. Она что-то забыла. Велела нам ждать дома. А может, она и раньше приедет. И оставила Сашке точные инструкции, где что лежит, чтоб мы поели.

Я разозлился на нее. Но, как всегда бывает, достается тому, кто под рукой. Уж и не помню сейчас, за что обругал его. Но припомнил все, даже Швейцера. И парень обиделся. А детская обида – это много хуже и опасней взрослой. Она может на всю жизнь остаться, даже если в сознании забудется. И уж после этого, совершенно в кусках, я отправился домой. К концу дороги я вроде и помирился с Сашкой, но все равно боюсь очень, что где-то у него отложится в мозгах, а мне воздастся. Вот ведь – за себя боюсь. А мне, конечно, воздастся, за все воздастся. Сколько раз я с Сашкой ругался несправедливо. Что-то запрещал ему, что можно было бы и разрешить. Для авторитета, так сказать. Сколько бед из за этого авторитета да престижа. Начиная от мелких ссор и кончая вечными распрями, разводами и войнами. Авторитет! Престиж! Все воздастся. Вот пусть только вырастет. Хорошо бы он вырос таким, каким я его вижу. Но он будет таким, каким будет он, каким будет время. И что в него будет вложено, и генетически и от жизни. Девочке семнадцать лет, а так меня провела. Меня! Себя. Оперировал зря, ни для чего. А теперь... Убил, значит...

Когда мы приехали домой, мне не пришлось возиться с обедом. Галя уже была дома, и даже стол накрыт был. Оставалось только подогреть его.

Я не спрашивал, куда и зачем она ездила. Она свободный представитель свободного общества – сама скажет.

Мы молча ели. Вот так должны бы выглядеть поминки. Но на поминках всегда шум, а подчас и смех. А выглядят так чаще семейные обеды.

А потом она мне сказала, что девочке лучше, что и пневмония и якобы перитонит разрешаются, что опасности для жизни сейчас нет и что она в пневмониях разбирается лучше, это ее работа.

Я, конечно, ее обругал. Что это, в конце концов, предательство, могла бы сразу сказать, понимать надо, и поехал в больницу.

ЗАПИСЬ ДВЕНАДЦАТАЯ

– Да, да, да! Да, да. Иду. Ну сейчас.

– Жень, ну я же специально заехала за тобой, чтоб мы не опоздали. И уж совсем на ровном месте тянешь.

Сейчас. Докурю. И пойдем. А кто же у нас на завтра на операцию? Только мелочи?

– Вот так ты и опаздываешь всюду. Просто сидишь.

Да, да. Кажется, три грыжи, двое вен и совсем мелочи какие то. Мало. Просто сiju. Я думаю. Обсуждаю сам с собой. Ну, конечно, я безалаберный. Вот докурю, и пойдем. Ты одевайся, а я пойду халат сниму.

Мишкин подошел к столу. Посмотрел чью-то историю болезни. Полистал ее. Хмыкнул.

– Ну, Женя.

– Сейчас, Галечка. А где все врачи?

– Ушли все давно.

– А дежурные где?

– Сидят в ординаторской, едят.

– Ага. Посиди минуточку, Галочка. Я сейчас. Мишкин пошел в ординаторскую.

Галя подождала его минут десять и пошла в ординаторскую. Мишкин сидел на кровати и с Игорем Ивановичем играл в шахматы.

– Евгений Львович, я же жду вас.

– Галина Степановна, вы же видите, что я интеллект свой развиваю. Мы успеем, у нас еще полчаса... «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино, с днем рожденья поздравит и, наверно...»

– Все, Евгений Львович, ферзь ваш пропал.

– А если я турой сюда? «...И, наверно, оставит мне в подарок пятьсот эскимо».

– А так мат. Я свою ладью сюда.

– Ну, ты как Бобби со всеми претендентами сразу. Пойдем, Галя. Все.

Они вышли и пошли по коридору. На лестнице. Мишкин:

– Ой, совсем забыл. Галя, подожди меня в раздевалке. Я сейчас.

Галя только вздохнула.

Мишкин забежал в палату, подошел к больному:

– Вера Сергеевна вас смотрела сегодня?

– Смотрела.

– Мы решили вас завтра оперировать. Договорились?

– Чем раньше, тем лучше. А кто будет оперировать, Евгений Львович?

– Все навалимся. Всем отделением.

– А вы будете?

– Конечно. И я буду. Значит, на завтра.

Мишкин вышел в коридор, нашел постовую сестру, сказал, чтоб больного готовили на завтра на операцию. Велел посмотреть по истории, какие сделал анестезиолог назначения. И наконец пошел в раздевалку.

Назавтра, на утренней конференции, Мишкин извиняющимся голосом сказал врачам, что он назначил еще одну операцию. Это сбивало их расписание, но все привыкли. Теперь надо операционным сестрам сказать. Это уже будет побольше шума.

Но и с сестрами все обошлось благополучно. И Мишкин удовлетворенно пошел переодеваться на операцию.

Он всем сбил день. Перед всеми извинялся. Всем говорил, что виноват и что он плохой заведующий.

Сегодняшний день не пропал. Он чувствовал, что что-то не сделал. Вспомнил все таки...
Подумаешь, говорят – безалаберный.

ЗАПИСЬ ТРИНАДЦАТАЯ

- Слушай, Женя, общественной работы ты никакой не ведешь.
- Здрасьте – новый год! Не веду. А оперирую – это не общественная работа?! Обывательская?
- Ты за это деньги получаешь.
- А что ж, на общество только без денег надо работать? Еще у Ильфа в «Записных книжках» было написано: «У нас общественной работой называют ту, за которую не платят». Я весь в общественной работе. Кстати, мне не за всю платят. Хоть одну ночь, когда меня вызывали, – оплатили?
- Это, милый, твое дело личное. Можешь не приезжать. А если бы ты своих научил обходиться без тебя как следует – они не вызывали бы. Научи. Воспитаи. И не будешь ездить по ночам. Будешь вовремя уходить.
- А если вашего мужа привезут?
- А это мое личное дело, если я тебе позвоню. Короче, ты знаешь, что у нас называется общественной работой и ты такую не ведешь. Так ведь. В конце концов, общественная работа помогает нам чувствовать локоть товарища.
- Так это дело добровольное. А чувство локтя товарища – это когда скованы.
- Ну, сил у меня больше нет. Но почему у меня должно быть столько неприятностей из за тебя? Тебя же в районе все знают. Ты не иглока. В райкоме даже у меня спросили, какую общественную работу ведет у вас Мишкин. А я вынуждена что-то врать. Сказала про народный контроль, про стенгазету.
- Плюнули бы вы на них. Такая красивая женщина, как вы, может себе это позволить.
- Эх, Женечка, кончилось то время, когда я могла себе что-то позволять. Годы вышли. Ты подумай – захочешь куданибудь поехать за границу. У нас ведь путевки часто бывают, а характеристики-то тебе и не дадут.
- В гробу я видал вашу за границу. Да и куда поеду! На юг съездил этим летом – так в долгу по самую маковку. Заграница!
- Пойми! Ты же всех нас подводишь. Ну сделай ты хоть какуюнибудь общественную работу, хоть разовую, что ли.
- А разовые я делаю всегда и аккуратно. На субботник по уборке территории ходил? Ходил! На субботник по строительству нового корпуса ходил? Ходил. На субботник на уборку нового корпуса поликлиники ходил? Ходил! На воскресник на овощную базу ходил? Ходил! На картошечке все воскресенье со всеми хирургами и операционными сестрами честно своими ручками хирургическими отработали. Это что ж, мало? И впредь на все грядущие субботники, воскресники, не жалея рук своих, пойдём.
- И это все. А где твоя индивидуальная общественная работа? Ну напиши хоть в стенгазету чтонибудь.
- Да что? Рецензию на фильм, что мы вчера смотрели, что ли?! – Мишкин радостно засмеялся, представив себе, как он пишет рецензию. – Правильно. Там про хирургию. – Смеется. – Напишу. – Смеется. – Напишу.
- А что ты смеешься! И напиши. Ну хоть рецензию напиши, а мы в стенгазету повесим. Да еще как новую форму работы представим. А то и в заводскую многотиражку отдадим.
- Мишкин продолжал смеяться:
- Ну, умора! Напишу. Обязательно напишу сегодня вечером. И все – и больше не будете приставать с этой работой?
- Ты напиши, напиши сначала – пехота! – а потом торговаться начнем.
- Мишкин ушел, продолжая смеяться.

Марина Васильевна видела, как он шел по двору одетый, наверное домой. По лицу его блуждала та же улыбка, с которой он вышел из кабинета.

«Он ведь если вдруг сбрендит, то и напишет, пожалуй, – подумала Марина Васильевна. – Нет. Куда ему. Не соберется. Ох и безалаберный. А ведь все может. И делает все, но только то, что непосредственно нужно и для больного. Облегчает себе жизнь. Упрощает».

А Мишкин пришел домой и, никого не застав, с той же улыбкой сел за стол и стал пытаться написать рецензию. Он вспомнил фильм, вспомнил Сашку, вспомнил операции свои, в фильме, обходы и начал писать, почти не отрываясь от бумаги.

«Профессор киноэтики. А вся этика заключалась в том, что режиссер не должен жить с актрисами», – довольно просто и немудрено И.Ильф в своих «Записных книжках» разделался с «прогрессивными» разговорами о разных видах этики.

Профессор Приходько – единственный герой фильма – тоже просто к этому относится, когда возникает дискуссия о моральности пересадок сердца. Пожалуй, это разумная позиция.

О какой моральности идет речь! Мы, врачи, здесь для того, чтобы люди жили. Мы не даем жизнь. Мы не в состоянии ее сделать вечной. Но все между – наше, врачебное. Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы человек жил дольше. Таковы задачи, таковы правила игры врача.

Это фантастический фильм – фантастический потому, что реалистических ситуаций, подобных показываемым, в нашей стране не было; это реалистический фильм – реалистический потому, что, во первых, сердце так и не пересадили, а во вторых, потому, что подобные «фантастические» разговоры о моральности в принципе возможной, действенной медицинской помощи возникают в тысячах частных и официальных, устных и газетных разговоров, и у нас и во всем мире.

Искусство, в любом своем варианте, должно, да и включается во все, где хоть на миллиметр спорно. Искусство и для этого. Искусство кино в том числе.

Когда профессор Барнард произвел первые пересадки сердца, мир – и научный и обывательский (от медицины) – поднялся на дыбы: кто за, кто против. В некоторых странах отдельные газеты и даже ученые буквально суд над Барнардом устроили.

Бывает, люди совершают походя сотни, да, сотни аморальных поступков и после этого ищут (осознанно или подсознательно), на чем бы им «морально облегчиться», так сказать. Так зачастую мне представляется эта дискуссия.

Я смотрел и радовался, что авторы фильма не стараются «облегчиться».

По видимому, всякий успех всегда создает или проявляет стороны – право и лево. Этот успех, успех пересадок, породил споры об этико моральной стороне иных видов лечения. Впрочем, «и это было» – где-то я читал, как в конце прошлого века поднимался вопрос о безнравственности столь широкого внедрения медицины в жизнь, так как ее, тогда только начинающиеся, успехи приводят к выживаемости «убогих» и в целом род человеческий станет хилее.

Тоже был спор. И спорили, как сейчас, наверное.

Древнеиндийская философия: «Спор есть опорочивание (взглядов противника) только ради собственной победы, (достигаемое) извращением этих взглядов, возражением не по существу и т. д.» («Харибхарда»). А вот другой подход: «В спорах рождается истина». И по моему, истина – не в борьбе мнений, а в поисках путей слияния их. Работать надо. Делать, а не спорить.

Это и говорит в фильме профессор Андрей Приходько: работать надо, а не спорить, чтобы хотя бы догнать те хирургические клиники мира, в которых есть, по крайней мере, техническая возможность пересадки сердца.

Надо думать, как приспособиться к новому, как жить с новым, а не закрыть, что открылось нам естественным течением и расширением познания.

Как говорит один из персонажей фильма: «Трудно остановить поезд, который называется прогресс». Впрочем, еще не договорились все люди между собой, что именно они называют

прогрессом, неизвестно даже, что лучше для безнадежного больного – жить или умереть, что такое безнадежный больной; наконец главное, – не договорились люди науки между собой, что называть смертью, моментом биологической смерти. С моей точки зрения, прогресс – это в конечном итоге борьба со смертью.

Прав герой фильма, который просто не реагирует на предположение, что иные могут устроить бизнес из человеческих органов, что врачи могут злоупотреблять своим положением и не лечить предположительно умирающего, а стараться быстрее схватить необходимый или, если хотите, недостающий кому-то орган человеческий.

Герой фильма не видит новой нравственной, морально этической проблемы. Как он может думать о злоупотреблениях врача, когда сам он врач? Кто злоупотребляет?! Так говорят только те, которые в мыслях могут это допустить. А врач! Настоящий!

«...Можно себе представить и то, что в преступных руках радиий способен быть очень опасным, и в связи с этим можно задать такой вопрос: является ли познание тайны природы выгодным для человечества, достаточно человечество созрело, чтобы извлекать из него только пользу, или же это познание для него вредоносно? В этом отношении очень характерен пример с открытиями Нобеля: мощные взрывчатые вещества дали возможность производить удивительные работы. Но они же оказываются страшным орудием разрушения в руках преступных властителей, которые вовлекают народы в войны.

Я лично принадлежу к людям, мыслящим как Нобель, а именно: что человечество извлечет из новых открытий больше блага, чем зла» (Пьер Кюри).

Новая проблема! – это всего лишь один из частных случаев главной, единственной, всегдашней нравственной проблемы мира: как миру порядочных людей оградиться от мерзавцев.

Ведь какая разница миру порядочных людей, за что убивают человека: за деньги ли, за другую расу, за нужный ли орган.

Человек человека убивать не должен.

Рассуждать, за что убить можно, за что нельзя, – либо каннибальство, либо недомыслие, либо демагогия.

Фильм решительно определяет дискуссии о нравственной стороне пересадок сердца как демагогию.

Эти демагогические разговоры мне столь же непонятны, как и разговоры о какой-то особенной, отдельной врачебной этике. У врачей нет и не может быть отдельной от остальных порядочных людей этики.

Фильм подходит к этим разговорам. Ждешь, что вот сейчас начнутся пустые, шаблонные разговоры о том, что позволяет врачам их особая этика, а что нет. Но нет. Авторы фильма, по видимому, игнорируют эту отдельную этику. Этого штампа нет в столь многочисленных дискуссиях фильма.

Фильм говорит, что проблема есть техническая, проблема есть организационная, наконец, экономическая – очень важные и трудные проблемы, и, слава Богу, нет проблемы нравственной. Просто на этом греют руки демагоги с позиций самых противоположных демагогии. Этика одна – демагогии разные. Есть демагоги против пересадок – есть демагоги «за».

Одни демагоги говорят: берегитесь! врачи будут не лечить, а хватать нужные им (им!) органы, теперь будут людей убивать (новая идея – убивать людей!); другие демагоги норовят посвятить пересадку очередному празднику.

У них этика одна. И они-то и говорят, как правило, о разных.

Фильм, не касаясь прямо возможности отдельной врачебной этики, тем не менее ясно говорит, для каких характеров возникает необходимость рассуждать о «разных этиках».

Все сказанное мною сугубо субъективно. Я сознаю, что не все могу доказать математически убедительно, как относительно фильма, так и относительно проблемы. Лично я рад, что герой фильма, как мне кажется, не работает на потребу аморальщины созданием нагроможде-

ний из надуманных моральных проблем; но герой фильма лично мне по человечески все равно не нравится. Я не люблю крикливых хирургов, считающих, что можно своего подчиненного публично обидеть, назвать его кретином, предложить ему вместо хирургии заниматься кастрированием поросят. Это ходульное представление о хирургах часто поддерживается малодумающими врачами с ограниченной внутренней культурой и плохим воспитанием. Приходько же не сорвался в аффекте, он сдержался в палате при больных (хоть за это спасибо), но позволил себе при коллегах. Это счет: он знает, где можно срываться, а где лучше сдерживаться.

Да, к сожалению, это реальность, многие себе позволяют, но почему-то считается, что для хирургов это естественно. По моему, это мусор хирургической жизни. Но это есть, авторы фильма не погрешили против истины, но хотелось бы, чтобы они, как люди искусства, возможно даже наделенные внутренней культурой, тактом, воспитанием, чтобы они какнибудь оценили этот эксцесс со своих авторских позиций.

Впрочем, может быть, они и оценили.

Приходько в своих отношениях с коллегами, да и с больными, прямолинеен, как истина в последней инстанции. Этот генетический свой код он передал следующему поколению. И следующее поколение, сын его, воспитанный им, получив ту же комбинацию хромосом (по видимому), с той же категоричностью последней инстанции ломает жизнь ему, отцу. Сын бьет по отцу, бьет по его любимой женщине, а потом, как всегда бывает в результате нетерпимой категоричности, и по себе. Целенаправленная категоричность и нетерпимость, решительно взятое себе право решать за других – мстит, мстит всем без разбору.

Под конец фильма я испугался возможной, надвигающейся, напрашивающейся пошлости. У зрителя создают впечатление, что возможный донор, женщина, попавшая в аварию и лежащая перед героем хирургом грядущим трупом, сердце которой можно будет пересадить, – эта женщина, кажется, любимая героя фильма.

Кажется, но не оказывается. Не она.

Герой потрясен. Профессор задумывается. Авторы говорят герою: «Ну ты, отрицающий моральную сторону проблемы! А если это твой близкий?! Как?!»

Профессор качается, у героя боли в сердце, очень картинно демонстрируемые поглаживанием по тому месту, где обычно у людей располагается этот мышечный орган, «насос», «помпа».

Задумался профессор.

Но этому я не верю, как не верю многому в фильме красивому и картинному: и этим болям в сердце, и картинному разговору с больным, и красивому предложению матери своего сердца для больного ребенка. Все может быть, но я не верю. Красиво очень. Я не верю этому эпизоду еще и потому, что тут смешение, а вернее, подмена проблем. Герой этот был бы ошарашен и качался бы и, если хотите, боли бы в сердце были и без дилеммы: брать у нее сердце или нет. Просто погибает любимая. Донорская проблема тут ни при чем. И все равно страшно, даже когда она оказалась не Она.

А может, авторы именно это и говорили?

Да. Я согласен с авторами фильма – нет никакой новой нравственной проблемы. Я и сам так думаю.

Но это глобально.

Но вот лежит конкретный человек, возможный донор, возможно близкий человек...

Странно, очень странно устроен этот мир.

* * *

Утром он пришел к Марине Васильевне.

– Вот. Держите. И чтоб никаких разговоров об общественной работе.

– С ума сойти! Написал. Господи, да если так дело пойдет, может, и отчет на аттестацию напишешь? Радость ты моя! Может, лед тронулся, Женечка?

– Все. Написал. Озверел сам на себя по ходу дела.

Всю ночь Марина Васильевна перекидывала листочки.

– Смотри ка, написано. Да много-то как. Да я велю перепечатать и в «Экран» отправлю с дипкурьером. Ты, паразит, если захочешь, даже председателем месткома можешь быть. Наверное. Вот бы мне приветить к этому тебя. Повязать, как говорится, в это дело. Горя бы не знала тогда. Сам бы эту шкуру почувствовал. Не делал бы нравственной проблемы из технической детали.

ЗАПИСЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Илющенко. Евгений Львович, что лить будем?

Мишкин. Кому? С непроходимостью? Значит, соду, калий, гемодез, глюкозу. Хорошо бы плазмы, белка – его подпитать надо.

Илющенко. А Нина не привезет нечего оттуда, от себя?

Мишкин. Обещала несколько банок аминазола с интралипидом.

Илющенко. Хорошо бы. А когда приедет?

Мишкин. Да вот жду сейчас.

Илющенко. Вы ей сами звонили?

Мишкин. Нет. Ей что-то нужно...

Илющенко. Тогда это надежней...

Мишкин. Сказала, приедет. Я ей рассказал – обещала. А вот и она.

(Мишкин отошел от окна и сел в кресло. Вошла Нина.)

Нина. Здравствуйте. Удалось достать несколько банок. Мало, конечно. Но это такой дефицит. Аprobация-то их у нас закончилась. Сами знаете.

Илющенко. Господи, спасибо и за это. Нам так нужно – тяжелый больной очень. С интоксикацией справляется, но слаб очень. Пойти поставить, Евгений Львович?

Мишкин. Подожди. Пусть прокапает сначала все против интоксикации, потом питать начнем.

Илющенко. Это верно. Пойду сестрам отдам.

(Илющенко подхватил дорогие гостинцы и вышел.)

Нина. Евгений Львович, у меня знаешь какая к тебе просьба, у нас одному парню в институте не хватает кое каких данных. Вы не могли бы ему дать несколько снимков своих, что показывал мне, сделанных во время операции, где желчные пути и протоки поджелудочной железы? Ему только несколько снимков – и диссертация сразу же приобретет другой вид.

Мишкин. А как это ему может помочь?

Нина. У него хорошая работа, вполне достоверная. Но достоверность ее могла бы быть иллюстрирована такими снимками. А он о них как-то не думал, пока материал набирал. А когда я ему рассказала про тебя, он за голову схватился.

Мишкин. А какие ему нужны? Что за работа?

Нина. Знаешь, пусть он сам приедет и поговорит с тобой и вы отберете, что ему понадобится. Не против?

Мишкин. Валяй.

Нина. Я позвоню ему сейчас?

Мишкин. Валяй.

(Вошел Илющенко. Нина звонит. Разговор идет параллельно.)

Илющенко. Соду и гемодез уже прокапали. Он ничего, и пульс пореже стал.

Нина. Боря. Это я. Я договорилась с эсквайром Мишкиным Он даст тебе пару снимков, но ты должен приехать, объяснить точнее, что надо, и отобрать – их ведь много.

Мишкин. Ты дежуришь сегодня?

Илющенко. Да. Больной стал получше. Подосвободился маненько. Позвонил на «скорую», попросил привезти нам когонибудь – поинтереснее.

Нина. Конечно, удобно, если интеллигентно.

Мишкин. Правильно. А как говорил?

Илющенко. Простите, пожалуйста, говорит дежурный и тэдэ, пришлите, пожалуйста, если можно и будет не очень далеко от нас и тэпэ, хорошо бы прободную язву, холецистит, на

худой конец непроходимость и даже аппендицитом не побрезгуем, Мишкин. Аппендикитами ты уже, по моему, вполне насытился.

Илющенко. Все равно сгодится.

Нина. Тебе годятся интраоперационные снимки желчных путей и поджелудочной железы. Так?

Илющенко (шепотом). Это ваши, что ли, снимки?

Нина. Я так и сказала... Даст, даст. Приедешь – увидишь.

Мишкин. Угу.

Илющенко. А я бы принципиально не давал. Пусть сами делают.

Мишкин. Они и сами могут сделать, конечно. Невелика хитрость. Но нам-то чего жалеть? А мужику поможем.

Илющенко. Конечно, не жалко. Но я бы принципиально не дал.

Нина. Эх, Борис! Все должны помогать друг другу в любом деле, было бы дело. Нечего принципиальничать на ерунде, когда принцип доказан всем, а не только снимками.

Илющенко. Вот, слышите? Они уже все доказали, во всем уверены. Пусть поработают сами.

Мишкин. Не люблю, когда говорят: «А я из принципа», – это если попросту, «а вот назло» – это всегда либо злобность, либо шкурничество, либо лень, либо убожество и мелочность. Брось, Игорь, будь шире.

Нина. Все, все, Борис, договорились. Адрес знаешь?

Илющенко. Они договорятся – это уж точно. А вы будете иметь утешительный заезд типа: «И правильно, милый Евгений Львович. Долг дружбы, Евгений Львович. Законы дружбы, друзья должны помогать друг другу».

Мишкин. Ну, ты все понимаешь. Только шире будь – надо ли все понимать. А что касается дружбы, то этого я вообще не понимаю. Любовь есть. В нее входит все. А «дружить» – нет такого понятия в канонических текстах. Так то, друг мой. Шире будь.

Нина. Сам позвонишь. Приеду, объясню подробнее. Все. Обнимаю тебя. Обнимаю.

Илющенко. Да это ж ваши диссертации, в конце концов.

Мишкин. Не морочь голову. Не живи по принципу: у меня не вышло, пусть и у них не выйдет, – наоборот лучше, продуктивнее и для себя тоже.

(Илющенко махнул рукой.)

Нина. Евгений Львович, ты едешь? Я вас довезу. Поехали.

Мишкин. Одеваюсь. Черт подери! Подошва совсем оторвалась. И туфли никак не купишь.

Нина. Почему? Сейчас заедем в магазин и купим.

Мишкин. Во первых, у меня с собой денег нет. Во вторых...

Нина. Ну, первое не проблема, у меня с собой есть. Потом отдашь.

Мишкин. Главное как раз второе. Размера моего достать не могу.

Нина. Да а. Большие. Какой размер?

Мишкин. Сорок восьмой.

Нина. А разве такие бывают? Не может быть.

Мишкин. Может, раз они на мне.

Нина. Сейчас я позвоню. Помогут.

Мишкин. Да бросьте. Никуда я не поеду. И вообще перебьюсь. Не первая необходимость.

Нина. Что за вздор. Если есть возможность.

Мишкин. Не надо. Я же говорю, не нужно этого.

(Игорь подмигнул Нине: мол, надо, звоните, а я его пока за руки подержу.)

Илющенко. Евгений Львович, вы перед уходом все таки взгляните на больного.

Мишкин. Вестимо. А как же иначе.

Нина. Алло... Привет, Миша. Это я... Да, да. Слушай, я это сделала. Переговорила с ним. Он согласился. Вы придете в понедельник к десяти в институт. Только не опаздывать, а то он не сможет... Ладно... Так что тебе все сделают. Нет, нет, это вы сами с ним решать будете. Я ни при чем... Я! Я другое дело – долг дружбы.

Мишкин (бурчит себе под нос). Дружба. Вот именно, что дружба.

Нина. Врачи, друг мой, по выбранному добровольно пути с удовольствием помогают людям. Это для них удовольствие. (Поглядела искоса на Мишкина со странной улыбкой.)

Мишкин (что-то высматривает на шкафу, – наверное, какиенибудь снимки). Да, да. Удовольствие. (К Игорю.) Для меня удовольствие, например, сделать операцию. Для собственного удовольствия.

Нина. Я тебя прошу, ты можешь позвонить Стефании Львовне? Нужно одному хорошему человеку туфли сорок восьмого размера.

Мишкин. Я же сказал – не надо.

Илющенко. Бросьте вы, Евгений Львович. Подумаешь, дело какое.

Нина. Да, вот такие и не меньше. Есть же еще на планете люди. Как пелось в детской передаче: «Все же выпала планете честь: есть мушкетеры, есть», – кажется вроде этого что-то... Она утебя!.. Тем более спроси.

Мишкин. Не надо спрашивать. Пойду взгляну на больного. Из принципа не поеду.

Илющенко. Что вы значение пустякам придаете.

(Мишкин вышел.)

Нина. Вот чудак.

Илющенко. Ничего. Вы все мне объясните. Сам он все равно не пойдет. Я его жене передам.

Дома.

– Жень, так я поеду. Возьму.

– Не знаю. Не стоит, по моему. На кой нам это надо. Пусть так, как идет. Не хочу я этих подачек.

– Почему ты так все осложняешь? Ты же сам все делаешь, на других все сваливаешь. Это ж не хирургия, где ты все делаешь сам. Это ж мне идти. Мне время тратить. Что ты меня мучаешь! И работай, и вас с Сашкой приводи в порядок. – Теперь занимайся твоей безалаберностью. Легко быть щепетильным за чужой счет.

– Трудно – пожалуйста, никто не держит. Мы с Сашкой и сами управимся... Когда ты дежуришь – я его и накормлю, и спать уложу, и одежду приготовлю.

– Дурак ты все таки, Женька. И фашист.

– Мачеха ты, а не мать. Так оно и быть должно. Нечего было мне и рассчитывать.

Галя заплакала:

– От таких вот слов Сашка и узнает когданибудь, что я ему не родная мать. Как тебе не стыдно? Ты и в хирургии такой. Всех загоняешь. Хоть и сам все делаешь, но об остальных тоже подумать ведь надо. Вот Наташа, она верой и правдой тебе служит, но у нее же семья. Ты сам все делаешь! Но она же не может уйти, когда ты работаешь. Их по одному, меня по другому, но угрохаешь. – Плачет.

– Ну, чего ревешь?! Я ж никого не держу. И Наталью Максимовну не держу. Пусть идет.

– Дурак ты. Я не об этом вовсе. Никто не хочет уходить. Но ты-то должен думать о других. Нельзя же думать только о больных. Ты здоровых сделаешь больными. Тогда будешь думать о них иначе, что ли!

Меня в Мишкине поражала странная смесь доброжелательной, мягкой интеллигентности с неожиданной жестокостью. Иногда не думая (да в эти моменты никогда, наверное не думал)

он мог обидеть человека, и, конечно, близких обижал чаще всего. Вернее, только близких. Поистине труднее всего любить ближнего своего, близкого своего.

У Мишкина всегда был выход: он включался в операцию – и недовольство собой моментально улетучивалось из его сознания смывалось, как кровь с резиновых перчаток.

Он был защищен от жизни.

Я вспоминал рассказ Гали о начале их совместной жизни. Это было после института в маленькой районной больнице.

Он был заведующим хирургическим отделением, она участковым терапевтом. Он заведовал сам собой, сестрами, санитарками, больными. Она знала, что он жил один с сыном в домике на территории больницы и часто убегал из отделения, потому что сына надо было накормить, напоить, одеть, умыть. Ему помогали сестры, санитарки – весь персонал больнички, кто был свободен, когда он был занят.

Однажды она дежурила и пошла к нему посоветоваться об одном только что поступившем больном. Хотя, если вспоминать по правде, – не советовать ей надо было, а поглядеть, как он живет, поглядеть на него.

Он лежал на раскладушке и читал. Сын сидел на матрасе с ножками, называемом тахтой, и был отгорожен от мира спинками стульев, связанных между собой. Перед мальчиком лежала груда всякой домашней всячины: игрушки, клубок ниток, будильник, ложка, ботинок, детские книжки, шапки, и детские и отцовские. Мальчик брал поочередно в руки какую-нибудь ближайшую вещь и кидал ее на пол. Пол вокруг был усеян всей этой утварью.

– Евгений Львович! Он же часы сломает. Мишкин засмеялся:

– Что вы. В «Записных книжках» Ильфа есть такое место: «Часы „Ингерсолл“. Их кидали, били, опускали в кипяток – идут, проклятые». Так и эти. Он пока все не перекидает, будет молчать, а я могу почитать. А потом начнет шуметь, я снова все соберу – и новый цикл существования. Это и называется мирное сосуществование двух систем в нашей семье. Мы довольны.

Так началась их совместная жизнь.

Она вспомнила, как ушла от мужа, встретившись с этим сосуществованием двух систем, и как стала третьей системой в их существовании.

Она вспомнила, как партийно профсоюзная организация больницы клеймила ее аморальностью, поскольку она, замужняя женщина, мешала доктору Мишкину найти жену и мать своему ребенку. Ему-то что! Ему всегда было плевать – он уходил на операции, а ее продолжали клеймить и тогда, когда она ушла от мужа и переселилась к Мишкину. И даже после того, как они вступили «в закон», время от времени возникали всплески былой борьбы за нравственность.

А потом появилась опасность, что сердобольные борцы «за высокую мораль» могут рассказать Сашке, что Галя не его родная мать, и начались их мытарства по новым местам и квартирам.

Галя вспомнила, как тяжело ей было с ним хотя бы только оттого, что никогда не могла она понять, кого он больше любит, ее или хирургию. Хирургия была четвертой системой их существования, вполне полноправным человеком. Она ревновала, она мучилась, не отдавая себе отчета в том, что они все – полноправны, полны всех прав в полном смысле этих понятий.

В конце концов она поняла – для нее важнее, как любит она. И сейчас Галя была защищена от жизни, от него, от Мишкина, своей любовью к нему.

А я сторонний наблюдатель, я люблю их обоих...

Потом она принесла туфли.

Он говорил, что никогда не наденет их, что он предупреждал ее, и еще много всякой ерунды. Потом примерил, прошелся, и мир снова был восстановлен.

– А я тебе позвонила сказать, что все в порядке, но мне кто-то ответил незнакомый, голос незнакомый, и началось: а кто его спрашивает, а зачем он вам. Я не знала кто, а потому не стала отвечать, представляться – представляешь, сказала бы: «Супруга» – брр. Я сказала: «Какая разница кто? Если не можете позвать – позвоню позднее» – и повесила трубку. Кто это у вас? Наверное, лень было просто идти искать.

– Ну и зря начала права качать. Сказала бы – «из дома». Или фамилию бы назвала. Сама обиделась, плохое настроение свое еще ухудшила. Кому-то настроение испортила – ему теперь неудобно передо мной. Сказала бы, и все. Все так и норовят друг другу настроение испортить.

– Господи, все ты понимаешь за других. Там ты никому не портишь настроение. А дома то!

– Ну ладно, ладно. Я тоже хорош. Виноват, молод, исправлюсь.

– Первое – это точно. Второе – врешь. А вот третье... – вряд ли. Да и не знаю, надо ли. Ох и трудно с тобой, Женька. Как крест.

ЗАПИСЬ ПЯТНАДЦАТАЯ

На субботник собирались не так аккуратно, как на работу. В отделении часто появлялись и раньше начала, так сказать, партикулярных занятий. Сегодня же кто пришел вовремя, а кто и с опозданием.

Мишкин опоздал ненамного. Мужиков было четыре человека. Марина Васильевна направила их носить оборудование в новый корпус. Строительство в основном закончили, и сегодняшний субботник хотели, хотя бы частично, посвятить размещению оборудования. Оборудование пока лежит всюду – в подвалах, сараях, во дворе под навесом и во дворе без навеса, просто так, под открытым небом, тоже, к сожалению, лежит. Все это надо внести в корпус. Конечно, это не одной субботы работа, но сегодня этим субботником проводили, так сказать, разведку боем, первая прикидочка.

Марина Васильевна уж думала, нельзя ли под какимнибудь предлогом прекратить временно работу хирургического отделения и весь персонал отделения направить на подготовку корпуса и оборудования. Конечно, строители должны им сдать весь корпус уже готовым, с расставленным полностью оборудованием, но тогда придется очень долго ждать, а между тем семиэтажный хирургический корпус уже стоит готовый. Как быть дальше, решили думать после сегодняшнего субботника.

С большим трудом районные организации разрешили Марине Васильевне провести субботник прямо в больнице, назвав это субботником по уборке территории. Вообще этого нельзя, ей объяснили, вернее, объясняли, что, поскольку медики не создают материальных ценностей, матценностей, говорили ей, и поскольку в народную копилку после субботника в больнице они ничего не положат, то им, работникам здравоохранения, надлежит этот день провести гденибудь на производстве в районе или на плодоовощной базе. Врачи больницы предлагали отдать в наркомилку один рабочий день – это около пяти рублей – или дежурство одно – это больше десяти рублей. Но районные организации с этим не могли согласиться, сказали, что это совсем не то. После больших дебатов, просьб, уговоров разрешили части персонала остаться в больнице и заняться новым корпусом и территорией больницы, а часть сотрудников уже вчера была на плодоовощной базе. Перебирали и грузили картошку. Заработали в среднем на одного работающего сорок семь копеек. Руки после этой работы остались относительно сносными – оперировать можно было.

Сейчас была проблема найти варежки – перетаскивать оборудование в ящиках голыми руками опасно: можно испортить руки.

В конце концов все наладилось, все нашли, все устроилось.

Начали.

Вчетвером нести один операционный стол очень тяжело.

Мишкин. Не стони, не стони – неси. Здоровый мужик, – это он Онисову. – Что тебе станется.

Евгений Львович несет впереди и распахивает дверь собою. Рядом около дверей стоит строительный рабочий. Стол пронесли. Старшая сестра издали наблюдает. И издали же кричит рабочему:

– Ну что стоишь без толку! Не можешь двери закрыть. Холод напускаешь. Холодно ж на улице.

– Кто открыл, тот пусть и закрывает.

Врачи со столом поравнялись с рабочим. Агейкин уже совсем было рот раскрыл, наверное решил тоже включиться в воспитание рабочего, но Мишкин успел раньше:

– Будьте добры, закройте дверь, пожалуйста, за нами. Закрыл.

Поднесли стол к лифту. Оказывается, лифт еще не пустили. Надо ждать.

– Чего зря ждать! – азитированно воскликнул Агейкин. – Пойдем, следующий пока подтащим.

– Подождите, – сказал строитель, закрыв дверь и подойдя к ним. – Передохните. Уже пошли. Скоро включают.

– Мы за это время еще один подтащим, – как бы извиняясь, улыбнулся Мишкин. – А вы скажите, пожалуйста, лифтеру, если он придет за это время, что мы сейчас еще один принесем.

Строитель пожал плечами, сел на стул рядом с лифтом, закурил.

Они вышли на улицу, подошли к очередному столу. Мишкин переломился где-то посередине и взялся за нижний край ящика со столом.

– Ну, беритесь.

Из за спины его голос Натальи Максимовны:

– «Рвать цветы легко и просто детям маленького роста, но тому, кто так высок, нелегко сорвать цветок».

– Чувствуется, что еще в дошкольном мире. Родители растут с детьми. А я уже... Нет, лучше все таки: «Я играю на гармошке у прохожих на виду...»

– Евгений Львович, вы разломайте упаковку здесь, а мы доски пока отнесем и свалим в кучу.

– И женщины иногда совет отменный дать могут.

– У у, Евгений Львович, на вас и непохоже. – Наталья Максимовна смеется. – «К сожаленью, день рожденья только раз в году».

– А что! Верно говорит. И нам легче будет нести. И сверху не надо доски волочить. – Агейкин все говорит возбужденно и громко. Странно – как будто повседневная работа у него не физическая. Наверное, просто потому, что необычная.

Подошли две женщины средних лет.

Это две дочери одного семидесятилетнего больного, которому Мишкин удалил желудок по поводу рака. Старик очень тяжело перенес операцию. Тысячи осложнений. Порой они совсем теряли всякую надежду. Дочери не отходили от него ни днем ни ночью. Уже два месяца это продолжается. Измучились вконец. Их сейчас не узнать по сравнению с предоперационным периодом, если так можно сказать; но зато его выздоровление – их заслуга.

– Евгений Львович, ну что скажете нам? Надежда-то есть сейчас?

– Лучше, конечно, не планировать, но я думаю – выкарабкается. Тяжел еще очень.

– Папа просит дачу снять. Так если надежда есть...

– Задаток большой давать надо, – это вторая дочь. – Чтоб не зря, если жив будет.

Агейкин. Подождите так. О чем вы говорите! Как можно говорить, что будет. Ну, рискните деньгами. От дверей им кричит строитель:

– Доктора! Лифт включили. Я с лифтером затащу стол. На какой этаж?

– На седьмой!

– Ну, спасибо вам, Евгений Львович. Мы тогда снимем дачу. Мишкин. Ну давай, ребята. Подхватывай.

– Сейчас сигарету выкину.

Онисов. С ним хорошо, и он хорошо. Конечно. Уникум ты.

Мишкин. Давай, давай, берись, философ. Чего бормочешь? Три, четыре – поднимай! Пошли.

Агейкин. Вон. В окнах. Больные. Смотрят. Таскаем мы.

Мишкин. Неси. Дыхание сбиваешь.

Поставили около лифта и этот стол.

Мишкин. Ты, Онисов, чудаков. С ним хорошо – он хорошо. Смотрят. Окна. Больные. Живи себе и носи время от времени, если думаешь, что всегда ты не несешь.

Работа шла хорошо. Но успели они... Если они будут носить и дальше так кустарно – понадобится несколько месяцев.

Марина Васильевна пришла – приехал начальство на субботник. Велено мусор этот, упаковку, тару – ликвидировать, чтоб территория была приглажена. Иначе зачем субботник.

– А как ликвидировать? Куда деть?

– Сжечь.

– Доски какие! Жалко. Какие стеллажи сделать можно.

– Пожалуйста. Уноси домой, но сейчас.

– Мне сначала квартира нужна.

– К тому времени еще не один субботник будет. Вечно ты, Мишкин, создаешь проблемы из ничего. Сказано жечь – жги.

– Жгу. Я разве против. Мне только жалко.

– С оборудованием, в общем, хватит на сегодня. А территорию мы убрать должны. Так что начинайте. Я пошла на свой участок.

Марина Васильевна побежала, будто не главный врач, будто молодая совсем.

– Здравствуйте, Евгений Львович.

– О о! Привет, Нина. Ты как здесь оказалась?

– Мимо проезжала. Вон машина моя. К тому же у меня для вас кое какие лекарства есть. Решила посмотреть – может, и передам заодно, подумала я. А вы здесь все сегодня, оказываетеся.

– Вот спасибо. Сейчас я когонибудь пошлю за ними.

– Я сама отнесу в отделение. Дежурной девочке анестезистке отдам. А у вас субботник?

– Как видите.

– Хорошо как...

– Чего хорошего.

– И я с вами поработаю. Вы носилки сейчас таскаете? Я к вам в пару, Евгений Львович. Можно?

– Не очень ловко, наверное, коллега.

– Пустяки. Ладно. Сейчас прибегу. А у меня в машине прекрасный джин и вермут. После субботника. Это великолепно.

Побежала. Подошел Онисов:

– Ну, ты уникам. Старый уже совсем, а все тебя любят.

– Пошел вон, Хазбулат.

– А что! Такие большие фигуры всегда привлекательны.

– Помолчал бы лучше. Вот когда больным после операции отдаешь большой камень из желчного пузыря – они приходят в ужас, ахают и страшно гордятся своей тяжелой патологией, но мы то, хирурги, знаем, что мелкие камни вреднее, опаснее, и гордиться больным лучше этой мелочью. Так вот, не будь ты этой мелочью в пузырях и протоках. Лучше помолчи. Понял, Хазбулат?

– Ты сейчас говоришь, как большой Пахан в малине своим уркам. Ты все таки уникам, Мишкин, даже в таком разговоре. И образы твои дикие: камни, кровь, желчь. Ты же ущербен, весь ушел в ту жизнь. Полные носилки уже, хватит, понесем. Не верю я в искренность этих образов у тебя.

Подняли носилки с мусором и пошли.

– А почему? Я живу ведь в этом мире только. Это ты по кино ходишь каждый день. А потом делаешь глубокомысленные сексуальные умозаключения.

– И что! Эта сфера жизни естественна. Да, кстати, эта артистка, о которой я вчера рассказывал, – у нее болезнь какая-то по части секса. А на вид несчастная такая, трогательная, светлая.

– Бедная женщина! Конечно, несчастная. Высыпай. Ну, опускай. Сразу и назад. А тебе не все ли равно, какая женщина актриса. Тебе б, Хазбулат, была б красивая.

– А на экране все равно не поймешь – какая она. А если поймешь – какая же она артистка. Ставь здесь. Давай накладывать. Осторожней! Длинные палки эти не бери.

– А ты пойми. Проанализируй.

– Ну, Мишкин. Я ж по складу мышления художник, художественный тип мышления. Это Марина Васильевна пусть анализирует. Она критик, она мыслитель разумный, ученый. Я вижу и говорю образами женских тел на экране.

– Господи! Ну загнул! Художник. Говно ты, а не художник – «образы женских тел на экране». Я и не пойму даже, что это.

– Вот и анализируй. Ведь и по физиологии так же: художественный тип мышления, художник – не может проанализировать, он видит, видит больше, чем другие, и выдает образы. А ученый, критик – тот анализирует, толкует, объясняет то, что художнику увидеть удалось.

– Зануда ты, Онисов. Вот ты и есть уникум. Какой ты художник – разве что «женских тел на экране». Наложь анастомоз на кишку красивый, тогда и образы создавай.

– Вон бежит уже твое женское тело без экрана. Пойду той кучей займусь, пока ты разберешься с ней. И наложи носилки пока полностью.

– Евгений Львович! Гень, я отдала. Понесли.

– Неудобно, Нина. Почему вдруг. Что говорить-то будут! Неловко. И не переодеваясь.

– Ты тоже, я вижу, не только не переделся, но даже наоборот. В галстук, в светлой рубашке я тебя впервые вижу, и вижу на субботнике.

– Это я играюсь, и оделся так принципиально. Но никто и внимания не обратил.

– Неужели ты такое значение придаешь одежде, что с ней может быть связана хоть какаянибудь принципиальность? Так ведь ты будешь делать вид, что тебе лень переодеваться на официальный прием. Э-э, друг мой. Вот где слабинка-то.

– Короче, иди и посиди у меня в кабинете. Я скоро освобожусь.

– Смотри, какой костер, Геня! Доски какие. Жалко.

– А куда их деть?

– И все побросали работу. Смотри, Эугений, как потянуло народ на тепло.

– А почти всё уже снесли. Сейчас кончать будем. Иди, я тебе говорю, ко мне в кабинет и жди там.

– Слушаюсь, Гений. Если никого нет, это тебе будет удобно? – Нина побежала к корпусу, а Мишкин подошел к своим, которые стояли около костра.

– Чем отличается человек от животного? – спросил Илющенко.

– Многим, – мрачно буркнул Мишкин, а потом добавил: – Всем.

– Человек смеяться может, плакать, и к огню его тянет. Животное не смеется, не плачет, а огня боится. Правда?

– Правда, правда, – тихо сказала Марина Васильевна. – Давайте кончать на сегодня. Сейчас догорит, и расходитесь. Время уже. Будем по традиции пить в конце субботника?

Агейкин. Я всегда «за».

Онисов. Я нет.

Наталья Максимовна. Мне домой надо.

Илющенко. Как прикажете.

Марина Васильевна. Скучные вы, ребята. Ну ладно. Зарплату получите.

Наталья Максимовна. А разве сегодня будут давать? Суббота же.

– Субботник же. И бухгалтерия работает, и банк. Субботник всюду. Начальство всюду. Смотрят, проверяют. У завода даже траву для начальства зеленым покрасили. Так что и деньги привезли. Да вон и очередь уже – все знают. – Марина Васильевна показала на флигелек, где располагалась хозчасть больницы и находился кассир.

Наталья Максимовна. Ох, хорошо! Побегу возьму.

Агейкин (кричит вслед). Наташа! Мне тоже очередь займи.

Мишкин. Это как траву покрасили? Испортится!

Марина Васильевна. Зато видят – убрано, хорошо, чисто, красиво, за угол не завернут, не посмотрят, что там.

Мишкин. Ну дела! Нет уж, я лучше десятку одолжу до понедельника у когонибудь. Не люблю очереди. Не буду стоять.

Марина Васильевна. Пойдем со мной. Тебе дадут без очереди. Ты у нас человек уважаемый.

Мишкин. Нет, нет. Не пойду. Неудобно и не хочу. Равенство так равенство. Очередь для всех. Одалживаться! Лучше мне десятку до понедельника вы одолжите. Одалживаться можно лишь денежно. Сами говорили. Помните?

Марина Васильевна. Как хочешь, Евгений. Когда ты перестанешь выпендриваться и начнешь нормально жить? Дам я тебе десятку. Одалживайся у меня. Как с тобой Галя управляется?! Все равно сейчас помощи нахлебаешься.

Мишкин пошел к себе в кабинет.

– Сейчас, Нина. Помою руки и пойдем.

– Пойдем к Володе, выпьем у него мои богатства.

– Давай. У меня десятка есть. Частично она мне для дома нужна, а частично можем купить какуюнибудь заедку.

В дверь постучали.

– Евгений Львович, можно к вам?

– Конечно, Валентина Степановна, всегда. Что случилось? Это доктор, анестезиолог, помогает нам иногда. А Валентина Степановна наш вождь, заведующий райздравом.

– Ваш вождь! Но, как всегда, мне ваша помощь и совет нужны.

– Всегда готов. Заболели?

– Не я. У дочери живот болит. Я привезла ее. – Открыла дверь. – Катюша, зайди. – Вошла девочка лет пятнадцати. – Расскажи Евгению Львовичу, что болит у тебя. Днем вчера заболело у нее. Ну, рассказывай. Ночь, правда, спала хорошо. Но сегодня болит по прежнему.

– Пусть она сначала сама расскажет.

– Конечно. Ну что же ты, Катя.

Девочка стала рассказывать, когда она заболела, где болит, что она чувствует при этом, как развиваются ее ощущения. Мать иногда вступала с уточнениями.

Потом девочка легла на диван, и Мишкин стал ее осматривать, ощупывать, задавать еще вопросы...

– Что вам сказать, Валентина Степановна. Живот мягкий, болезненность умеренная. Аппендицит есть, но чтоб считать его горящим... Сомнительно. А кровь вы ей сделали?

– Лейкоцитоз восемь тысяч.

– Ну вот и аппендицит такой. Аппендицит есть, конечно. Но с ходу делать не стоит. Не гнойный. Тут деструкции нет. Давайте посмотрим до завтра. Положим ее в отделение. А если что – меня вызовут. К тому же сразу после субботника не стоит. Руки наши... Без особой нужды, без экстренности, лучше не лезть в живот.

– Ну хорошо, Евгений Львович. Договорились. Я ее укладываю, а потом мы созвонимся, решим, что и как.

– Договорились. Вы на машине, Валентина Степановна?

– Я ее отпустила.

– Тогда разрешите, мы вас подвезем. У коллеги машина своя.

– Спасибо, спасибо. Сейчас Катю отдам и вернусь.

– Ну вот и опять договорились. Вышла.

– Ну вот и заканчивается, Нина, день свободного труда. Сейчас поедem.

– Лев Павлович, нельзя так с ходу оперировать. Ведь это же аппендицит. Вы должны понимать, что срочность при этом заболевании чисто легендарная. На самом деле такой срочности нет. Несколько часов, конечно, может обождать, и до утра вполне. Перитонита ведь не было.

– У нее боли сильные были, Евгений Львович.

– В крайнем случае мне бы позвонили. Если заведующий райздравом привозит свою дочку, а я говорю, что пока ничего нет, надо ждать до утра, то просто обычная деликатность требует, чтобы без меня вы не оперировали. Я же был дома. Говорил с вами по телефону. Нехорошо. Да и аппендицит не гнойный оказался. Я же прав был.

– Были сильные боли, и я не считал себя вправе, понимаете... Конечно, Евгений Львович, если вы считаете, что я поступил неправильно, – можете меня наказывать. Я готов.

– Да за что наказывать! Сделали вы все как надо. Диагностика и тактика – не дважды два. Но я говорю о деликатности. Какого черта вы меня ставите в дурацкое положение, в дерьмо запикиваете!

– Бейте, Евгений Львович, вот шею.

– Да, Лев Павлович, признать себя виноватым, истинно и искренне признать виноватым труднее, чем подставить другую щеку. Я не хочу вас бить, я хочу, чтобы вы думали о других во всех подобных ситуациях. И меня бы не подводили, и себя...

– А обо мне когданибудь думали?! Я не про вас лично, Евгений Львович. Вот я знаю, меня ругают все, и сейчас думают, что я хотел хорошо выглядеть перед начальством, что спас дочь начальства, понимаете. Ну и правильно, ну и считайте. Впереди вас идут много русских бар. Вам-то уж столетия как хорошо. А впереди меня тысячи русских мужиков, тысячи поколений работяг. И всей тысяче русских мужиков, моим предкам, самим приходилось работать, понимаете.

– Ты не поднимай все на принципиальную высоту. Мы оба хирурги. И нечего считать, сколько русских мужиков было перед нами. Кстати, Лев Павлович, не тысячами русских мужиков, а всего сорока русскими предками, сорока поколениями вы можете похвалиться. В лучшем случае за тысячу лет. Так что не занимайтесь демагогией, а ведите себя интеллигентно, как и подобает русскому врачу, если уж на то пошло, вышедшему из любой среды, из любой сферы России.

– Вам ведь легко это говорить, Евгений Львович. А мне ведь все своим горбом пришлось пробивать. И выучиться и выжить, Евгений Львович. Когда я родился, в деревне жрать было нечего, понимаете. Сами знаете, какой голод был в начале тридцатых годов. А тут отец ушел в армию, да так и не вернулся. Получил паспорт, остался где-то работать, написал, что вызовет, деньги пришлет, да так и пропал. Хорошо, я один у матери был. А он уже с паспортом был – чего ему возвращаться. Мы с матерью опухли от голода. И никто не помогал нам. Деликатности не учили, – колосок подобрал на земле – выжил. Потом война. В оккупации был. А сколько мне стоила эта оккупация потом, в институте, Евгений Львович, знаете! И вспомнить страшно. Потом мать снова вышла замуж, за вернувшегося с фронта. Стал тот председателем колхоза. Мать еще одного родила, понимаете ли. А после войны, как забрали у нас все зерно, опять жрать нечего было. А отчим подсчитал и решил раздать из семенного фонда, чтоб не сдохли. И посеяли, Евгений Львович, и выжили. А отчиму и за саботаж, и за укрытие зерна, и за разбазаривание семенного фонда, и за все сразу как впаляли. И загремел мужик в тюрьму. И никакой деликатности, Евгений Львович. Опять сам. Тут я школу кончил, и меня в армию. Слава Богу, папанин пример был, научил меня старик, уж не знаю, жив он, нет, но за науку спасибо. Остался в городе и поступил в институт. В медицинском в нашем городе конкурса не было – попал. И опять никто не помогал. А стипендию получал двести двадцать, двадцать два,

значит, по-сегодняшнему. И без вашей деликатности в иные дни лежал в общаге на кровати, чтоб сил не тратить, Евгений Львович, жрать нечего было. После третьего курса стал фельдшером на «скорой» работать. Легче стало, так и то чуть в тюрьму не угодил. На нашей станции пьяный залез в машину и стал гудеть. Шофер подошел, а пьяный ему палкой предплечье сломал. Мы с нашим доктором вышли, вытащили пьяного, вломили ему малость, так нас под суд. Кто-нибудь помог?! Сначала шесть лет дали, и оккупацию припомнили. Потом пересуд был, исправительно-трудовые дали. Оставили на работе и в институте. Парень инвалидом стал. Так ведь хулиган, понимаете. А если не мы за себя – кто за нас, Евгений Львович? Нам нечего терять. И без всякой вашей деликатности говорят: «Зачем били? Вытащили, связали, а бить до инвалидности нельзя». Это деликатно? Как будто когда они или вы бьете – считаете, сколько ударить можно, а сколько нельзя, понимаете.

– И правильно сказали. Что ж звереть-то так. До инвалидности бить. Можно бить до первой крови, так сказать, а можно бить до последней капли крови, с озверением, так сказать.

– Вот именно, Евгений Львович, что озверели. Здоровый малый, сильный, да еще руку сломал нашему шоферу, с нами дрался. Ну пару раз лишнего поэтому дали. Да ему инвалидность, наверное, через полгода сняли, после суда. А у меня на всю жизнь клеймо. Правда, судимость сняли, вы и не знаете поэтому. Ну, может, и лишнего дали парню. Но ведь и у нас характер свой есть. Вы уж простите, Евгений Львович, за неделикатность, но вы можете себе позволить быть бесхарактерным, мягким, не ругаться, повернуться и гордо сделать за другого его работу, понимаете. А нам, Евгений Львович, выжить надо.

– А вы считаете, что, если не ругаешь и не бьешь, значит, бесхарактерный? А по моему, для мягкости нужно больше характера, чем для удара. Ударить – это же так легко. Ни мысли, ни гордости, ни характера. Весь характер в мыслях о престиже – и больше ничего, пустота.

– Так что, как говорится, извиняемся, барин, но нам институт кончать надо, денежки зарабатывать и кормить себя, а то и мать, и жену, и детей. Вся жизнь впереди. И кончил все таки, барин, институт. В район, в деревню работать уехал, уже с женой, вместе учились. Сын родился. Работаем. И тут мне предлагают в районе путевку в ординатуру на два года в Москву. Я поехал, а в деревне, где сын с женой, – опять жрать нечего. Еще у колхозников будет, а доктор – хоть подыхай. Получала она семьсот двадцать, ну полторы ставки набегало, около ста, по нынешнему, имела. Проживи ка, Евгений Львович!

– Да что вы мне это говорите, Лев Павлович? Я-то что, не так жил? И тоже в районе, а не в городе.

– Да за вас ваши предки отъелись. А мне ловчить надо было. Сын годовалый. В магазинах мало чего было, а на рынке деньги большие нужны. На деликатность много не купишь, Евгений Львович. Из Москвы каждый месяц домой на три дня ездил. Чемодан целый с продуктами вез. Хорошо хоть, начальство по деликатности, мной выпрошенной, не обращало внимания, что я по понедельникам иногда на работу не выходил. Знали, что в деревню уезжал к своим. Не успевал я к понедельнику иногда.

Вот и ловчил. И до сего дня ловчу. Зато квартира теперь есть и силы сохранил. Я с дежурствами до двух ставок набираю – силы пригодились. Жена две имеет. Вот и получается на нас пятерых, с детьми и тещей, около пятисот рэ. Тоже не густо. Да я, как вы, на такси себе не позволяю. Еще и накоплю. Все сам, Евгений Львович. И ловчить самому приходится. У нас с вами разные деликатности. Вы из другого мира, вам ловчить не приходилось. И не голодали... Ну не возражайте, не надо, голодали вместе со всей страной, когда всем плохо было. Я это знаю, много раз слышал. Вам легче, Евгений Львович, о добре говорить. Вы же сами, Евгений Львович, говорили, что добро проповедуют только сытые. Вот наемся, детей накормлю и стану добрым. Уж и забыл, кто у вас в проповедниках добра числился.

– Могу напомнить, – усмехнулся Евгений Львович, хотя полагал, что Агейкину это не нужно было. Ему важно было высказаться. Но и Мишкину этого хотелось. – Могу напомнить:

Будда, Ганди, Толстой, Швейцер... Еще могу назвать. Простите меня, Лев Павлович, Бог с ними, не будем выяснять, от каких истоков идут проповедники. Скорее, по-моему, поведение, реакции человека идут не от внешних обстоятельств, а от внутренних. Это как озноб – жара, все потом обливаются, а у кого в крови лихорадка – мается холодом, сто одеял натягивает. Озноб – дело внутреннее, не внешнее. Может, я и не прав, даю слово – подумаю, но и вы подумайте. Что ж, я в другом мире рос, я врач в четвертом поколении, но уверяю вас – в каждой среде свои горести, свои беды. И не надо мериться этим. Разве горести измеришь? Моя горечь для меня всегда самая горькая. Помните только, Лев Павлович, что порядочный человек чаще бывает счастливым. Его меньше точит, меньше грызет изнутри. А непорядочный даже не лжет, только как не лгут часы без стрелок. В общем, хорошо, Лев Павлович, что мы выговорились, простите меня за мою настырность, но нам легче после этого быть обоюдно деликатными. Для деликатности любовь нужна. Для любви – понимание. А без любви по настоящему жить никто не может. Даже Господь Бог, говорят, людей создал, так как в любви нуждался. И нам с вами не хватает. Да. Время каяться – время щеки подставлять.

– Что, что?

– Это я уж так. Сам себе. Зря только мы этот разговор затеяли перед операцией. Но у нас, пожалуй, все времена перед операцией.

Мишкин начал переодеваться. И Агейкин пошел переодеваться.

Пошел с видом победителя.

ЗАПИСЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ

Мишкин положил руки на стол, полусогнув кисти. Костяшки пальцев у него побелели. Часто пишут, что кто-то отчего-то так сжал руки, что костяшки пальцев побелели, а белеют они, когда натягивается кожа на пальцах. Достаточно их полусогнуть – пальцы. Онисов сидел напротив и ворчал:

– Я Агейкину твоему сказал, что этот аппендицит можно и не оперировать. Не каждый же аппендицит надо оперировать. А он расшумелся, обиделся. Я ж его ни в чем не обвинял. Чего он обиделся?! Расшумелся, стал доказывать необходимость операции. Я ж не спорил. Я ж понимаю, что можно соперировать, если боли сильные. Иногда и не поймешь больного. Но после операции, если отросток не гнойный, мы понимаем, что можно было и не оперировать. Обиделся. Чем человек ограниченнее, тем более обидчив.

– Ладно тебе ворчать. Ты, наверное, не просто сказал, а чтонибудь вроде: «дурак – нечего было оперировать» – после того, как он тебе сказал, какое было тяжелое дежурство и сколько пришлось работать ночью. Я ж тебя знаю. – Засмеялся.

– Ну, ты уникам! А что особенного! Нечего жаловаться на тяжелое дежурство. Сам себе создал тяжесть. Лишнюю. «И аппендицит, – говорит, – технически сложный был». Сказал бы сам, что зря делал его. Нет, на всякий случай стал оправдываться.

– А ты то. Ты ведь тоже всегда оправдываешься. А то и вину на другого норовишь свалить. Ты же тоже с ним дежурил. Ты где был? Все на него переложил, а еще и ворчишь. Ты же мне сам зачитывал из какой-то книги, помнишь, что в основе самых различных бед людских и особенно бед человеческих взаимоотношений лежит это неистребимое желание оправдаться и свалить вину на другого. Как Адам на Еву, а Ева на змия – первородный грех. Теоретически ты все понимаешь, а практически – на него все сваливаешь.

– Нет, ты уникам. Я ж не про то тебе говорил. Я говорил, что все вокруг надо на себя опрокидывать. Например, я молодой и здоровый, но когда я вижу лысину своего друга детства – это я, когда я вижу седину своего друга детства – это я.

– Хорошо же ты хочешь устроиться. Все на себя. Это, малый, ты уникам. Душевный комфорт себе создаешь, – усмехнулся Мишкин.

Телефонный звонок.

– Евгений Львович, вас.

– Я слушаю.

– Евгений Львович? Здравствуйте. Это Нина, Жень.

– Да, я вас слушаю.

– Тебе неудобно, Женя, сейчас?

– Да, у нас конференция.

– Ну ладно. Я потом. А сейчас минутку только. Мог бы ты посмотреть и, если надо, соперировать одну мою знакомую с холециститом, с камнями.

– Пожалуйста.

– Завтра она придет к тебе в больницу.

– Хорошо.

– Около десяти утра. Да?

– Хорошо.

– Спасибо, Женя. А я еще раз позвоню. Хорошо? До свидания.

– Хорошо, до свидания. Вошел Агейкин:

– Когда же мы, Евгений Львович, станем соблюдать расписание операций, понимаете!

Опять сегодня все поломали. Опять не так, как было написано вчера.

– Да, это верно, Лев Павлович. Это я виноват. Да и вы. Вы по дежурству положили больного с грыжей. Четверг же. Если мы его сегодня не прооперируем, то получится четыре дня до операции. Только в понедельник. Предоперационный койко-день для грыжи слишком большой будет. Решил ограничиться одной койко-ночью – назначил на операцию. Может, и не надо было с ходу. Но, с другой стороны, знаешь, сейчас считается, что чем больше больной до операции лежит в отделении, тем больше у него шансов набраться не поддающегося антибиотикам так называемого госпитального стафилококка, то есть больше шансов для осложнения. А вообще-то нехорошо, конечно.

– Конечно, нехорошо. Сестры обижаются. Никогда, говорят, не знаем, как изменится операционное расписание.

В ординаторскую постепенно набрались все хирурги отделения и уже пришедшие дежуранты.

Мишкин. Конечно, должен быть порядок в операционной, сестра должна знать, что будет завтра. Иначе она перестанет верить в будущее. – Мишкин одиноко засмеялся. – Если нет устойчивости, тогда все можно в операционной. Но мы, но человек оказывается между двух инструкций: койко-день и расписание. Да, я помню, какой был скандал в клинике, когда я нарушил расписание. Меня чуть не выгнали. Я тогда болел еще. Заболел тогда. – Мишкин задумался. Онисов опять высказался насчет «уникума». – Ну ладно. Все собрались. Давайте начинать. Кто докладывает? Агейкин? Начинай. Чего молчишь?

– Скромный очень.

– Скромность – это часто показатель надежд на будущее. Так сказать, ну что я сейчас, что я сделал – вот вы посмотрите, что я буду делать. Вы еще узнаете, что меня ждет, что от меня ждать. Так ведь? Вот ты уже профорг. А что будет дальше? – Мишкин опять странно засмеялся. Он все время в своем смехе уходил куда-то в прошлое. Может быть, вспоминал свою работу в прошлом. Да уж что там смешного. – А патанатом где? Без него мы не можем начинать. Позвоните ка ему. Скажите, что мы ждем.

Сидящий рядом с телефоном Илющенко стал набирать номер, но в это время пришел патанатом.

– Ну, вот и наш контроль пришел. А это символично – только сейчас понял. Он и председатель народного контроля в больнице и начальник патанатомической службы, контролирующей нашу работу. Правильно, всякий контроль надо объединять, контроль надо централизовать. – И опять засмеялся.

По видимому, это Онисов, а вернее, Агейкин вернул его во времена своей бывшей работы в клинике, когда он совершал преступления, ломая операционное расписание, распуская собственное суеверие, когда он мучился своими болезнями, когда он прощался со своей хирургической карьерой. Мишкин, по видимому, думал об этом, и с воспоминаниями этими и был, наверное, связан его смех.

Впрочем, ни Онисов, ни Агейкин, никто не натолкнул его на эти воспоминания. Так было всегда, когда предстоял разбор смертного случая. Мишкин начинал думать, что он сделал и чего не сделал, что он сделал лишнее, и невольно от вчерашнего дня он уходил к позавчерашнему и дальше, дальше. Так было всегда, и все уже к этому привыкли. В таких случаях он начинал изрекать истины, кидался афоризмами, от прошлого он уходил в будущее, морализировал, чем вообще грешил. Отсюда и его только что брякнутая мысль о зависимости скромности от надежд на будущее. Вот и сейчас он, очевидно, впал в свой, так сказать, клиничко-анатомический транс.

– Докладывайте, Лев Павлович.

Агейкин. Больная семьдесят два года, поступила в больницу с явлениями острой кишечной непроходимости. Больная наблюдалась несколько часов. Диагноз был подтвержден. На основании того, что у больной непроходимость развивалась в течение нескольких дней и не

сразу стала полной, а также потому, что в течение нескольких месяцев она чувствовала себя слабо, вот мы предположили, что у нее опухоль толстого кишечника. Да, мы ее взяли на рентген, и раздутые петли и уровни были, в том числе и в слепой кишке. Опухоль, по нашему мнению, располагалась где-то слева, в области сигмовидной кишки. После недолгой подготовки – вливания жидкостей и солей – больная была взята на стол. При операции мы так и обнаружили: рак сигмы и непроходимость. Учитывая тяжесть состояния больной, непроходимость, а также то, что опухоль в принципе удалима, решили операцию делать двухэтапно: убрать участок кишки с опухолью и концы вывести наружу, в последующем сшить концы и восстановить обычное прохождение кишечных масс, что и было сделано. Кишечный свищ, конечно, не лучшее для больного, однако цель оправдывает средства, а мы хотели, чтобы больная выжила.

Мишкин. Не надо переводить наш разбор в философский спор: оправдывает ли цель средства. Тем более что это невозможно доказать. Ни одной желаемой цели не достигли, когда средства оказались скомпрометированными. Так что не проверять. А вы, Лев Павлович, в другом не правы. Свищ в любом случае, в любом варианте операции при описанной картине необходим. И свищ мы никак не можем рассматривать и расценивать как оправданное средство достижения цели – жизни. Свищ не средство, но недостаток. Свищ, как говорится, *Conditio sine qua pop* – условие, без которого невозможно. Без свища здесь операция невозможна, вернее, возможна, но глубоко ошибочна. Простите, что я перебил, но операцию делал я, и поэтому об этом я хочу рассказать сам. В этом случае могло быть три варианта операции. Первый вариант – просто наложить свищ на слепую кишку и через две недели после ликвидации непроходимости сделать радикальную операцию: удалить кишку с опухолью и сшить сразу концы. Недостаток – опухоль в организме, растревоженном операцией, остается на две недели. Второй вариант мы сделали. Удалили пораженную кишку, а концы вывели в виде свища двустволки. Недостаток – большая травматическая мобилизация удаляемой кишки у ослабленной непроходимостью больной. А если убирать немного, нельзя соблюсти все онкологические законы, не радикально будет. Третий вариант: убрать кишку с опухолью и сразу сшить концы, восстановить естественное прохождение по кишечнику. А чтобы наложенный анастомоз подстраховать – наложить свищ на слепую кишку, а впоследствии ликвидировать его. Недостаток и предыдущего варианта и плюс весьма сомнительная надежность анастомоза с растянутой непроходимостью стенок кишки. Нам надо было, конечно, остановиться на первом варианте. Я, наверное, ошибся, выбрав второй вариант. Лев Павлович был прав при наших обсуждениях во время операции. (Мишкин продолжал говорить, а сам вспоминал, как было дело. Он вошел в операционную. Агейкин к этому времени уже вскрыл живот.

– Ну что тут у вас?

– Опухоль сигмы, Евгений Львович, непроходимость...

– Вестимо, непроходимость.

– Я считаю, что неоперабельно. Наложу свищ на слепую кишку и зашью.

– Ну ка покажи сигму.

– Не выводится. Опухоль вклинена в заднюю стенку.

– Оттяни край крючком. Здесь кишку натяни. Неоперабельная! – это еще надо посмотреть. Может, можно забрать с участком мышцы. Подождите, я помоюсь.

Мишкин быстро помылся, оделся, подошел к столу, влез в живот.

– Что ж, по моему, опухоль эту можно убрать. Надо попытаться.

– Евгений Львович, опухоль большая, бабке семьдесят два года – зачем! Лучше наложить свищ – сколько проживет, столько проживет.

Мишкин вспоминал, как все в нем злобно кипело против этого *modus vivendi*, против этого кредо у врача. Кто же может на себя взять смелость отмерять годы жизни и определять необходимость, жить ей в этом мире или хватит. Уж не Агейкин ли должен брать на себя функции Бога?! Судьбы, рока?!

Мишкин клял себя, что позволил злобе править им, да еще во время операции. Конечно, опухоль была удалима, и он удалил ее. Но надо было, наверное, просто наложить свищ на слепую кишку, а удалять опухоль через две недели. Зачем он не обуздал свою злобность!

Он вспомнил, как в клинике шеф смотрел на подобную операцию, где хирург счел опухоль неудалимой, – а это действительно подчас трудно решить, иногда удаляешь, а уж через месяц могут вылезти метастазы или рецидивы, а то и наоборот: казалось, напрасно буквально выдираешь опухоль, да еще метастаз один удалишь, отдаленный, а больной через пять лет приходит на проверки, – так вот, шеф промолчал, не сказал ничего на операции, а на утренней конференции, при разборе прошедших накануне операций, устроил грандиозное шоу, как теперь говорится, и сказал хирургу, что он чуть ли не убийца. И надо же было Мишкину вылезти, когда шеф сумел доказать всем, что опухоль удалима, резектабельная, надо же было Мишкину вылезти и предложить попытаться сделать через две недели операцию. Шеф в горячке доказательств, по-видимому, забыл про такую возможность проверки этой конкретной его концепции. Где-то в это время начиналась у него болезнь. И к этому хирургу, Мишкин подумал тогда, лучше на стол не попадаться. Мишкин тоже поверил, что этот хирург чуть ли не убийца. И сам хирург в это поверил. И психология у него изменилась, у этого человека, перешагнувшего грань жизнь – смерть. Он опасный стал человек, с точки зрения Мишкина в то время. Об этом человеке Мишкин думал и во время операции, думал и сейчас, при обсуждении.)

– Лев Павлович предлагал ограничиться свищом на слепую кишку. И это было бы правильным. А радикальное удаление опухоли мы могли бы попытаться сделать во второй этап, недели через две. То, что больная не выдержала операции, моя вина – руки опередили голову. Все мы понимаем, почему она умерла. Мы сделали операцию, превышающую ее возможности. Мы хотели ее сделать здоровой – цель наша. Это к вопросу о целях и средствах, Лев Павлович. Я не имел права рисковать ее жизнью столь необоснованно.

Вера Сергеевна. Я не согласна с Евгением Львовичем. Я не спорю, ограничиться свищом на слепую кишку, может, и лучше было бы, но смерть последовала не от радикализма. Я давала наркоз, я видела тяжесть ее состояния. Она могла погибнуть и от вашей маленькой операции. У нее плохо шел наркоз. Была недостаточная легочная вентиляция, очень скакало давление. Вот график ведения наркоза – смерть эта наркозная. Я не знаю, чья это вина, и если есть чья либо вина, то только моя.

Наталья Максимовна. Тут надо проанализировать все. Мы не можем обсуждать, как эта больная велась до поступления в больницу. А вот если проследить, как мы ее вели с самого момента поступления в отделение. . . В ту ночь дежурила я. Диагноз непроходимости сомнения не вызывал. Лев Павлович говорил о кратковременном наблюдении. Это так. Она поступила в четыре часа утра, и я, поставив диагноз, решила, что-то толстокишечная непроходимость не требует сиюминутной операции, а лучше подготовить ее вливаниями немножко и дожидаться утра, когда будут в отделении все, в том числе и Евгений Львович. Не знаю, может, она умерла бы все равно, но с себя я вины снять не могу, так как боюсь, что решение это пришло просто потому, что устала и хотелось спать. Не могу с себя. . .

Мишкин. Ну ну. Ее нельзя и не надо было ночью оперировать. Обязательно несколько часов подготовки. Обязательно надо было дожидаться утра, когда мы все здесь, когда есть Вера Сергеевна, а стало быть, есть возможность полноценного наркоза. И больная активно готовилась. Может, хлоридов надо было побольше, да и гормональная подготовка была бы ей не лишняя пораньше. Но кто это скажет сейчас? Кто еще имеет суждения? Что-то все у нас имеют сегодня. Пожалуйста, Игорь Иванович.

Илющенко. Я дежурил в ночь после операции. Может, смерть и в результате наркоза – не знаю. Но момент, когда начался отек легких, я проглядел. Возможно, что, начни мы наши мероприятия раньше, удалось бы ее вывести из этого состояния и стабилизировать.

Мишкин. Трудно сказать, а проглядеть-то было легко. Она ведь была очень загружена. Практически без сознания. Вера Сергеевна, вы ее так основательно загрузили? Или это просто состояние проявлялось.

Вера Сергеевна. Да. Я считала это необходимым.

Мишкин. Конечно, и нужно было ее загрузить. Она была возбуждена... Да что ж мы забыли патанатома? А он сидит и молчит. Хотя должен был сказать свое слово сразу после Агейкина. А вообще-то патанатомии естественней давать последнее слово. Он завершает все счета и расчеты.

Патанатом. А что говорить. Все правы. Больная не выдержала, всего. И прежде всего рака. Вы почему-то не говорили совершенно о болезни, а только о себе. От самодовольства, что ли. Не так уж вы много можете, мои дорогие коллеги. Вы делали так и этак, но у больной-то был рак. Рак!

Мишкин. Это мы помним, но обсуждения нам нужны, чтобы найти, что не сделали мы, что навредили. Строить будущее – это обезвреживать настоящее... А ведь вы видите только тех раковых, которые умерли, – живых, здоровых и мы видим меньше, а уж вы и вовсе...

Сидевший рядом с Мишкиным Онисов вдруг хлопнул себя по бедрам и, нагнувшись, прошептал:

– Ну, уникам, прямо не могу. И других уникамами хочешь сделать. Когда повзрослеешь? Спасу нет!

Мишкин опять улыбнулся странно, а потом опять одиноко засмеялся. Никто не понял этого неожиданного смеха, никто не видел причины его. А Мишкин опять вспоминал клинические анатомические конференции, когда вставали по очереди и шеф, и его подначальники, и просто другие врачи, не участвовавшие в лечении обсуждаемого больного или уже покойного, и старательно искали ошибки и промахи у лечащих врачей.

Мишкин нагнулся к Онисову:

– Сам ты уникам. – И ко всем: – Пусть нас ругают за непроведенную конференцию, но я думаю, что протокол нам не нужен. Мы же все обсудили, правда?

ЗАПИСЬ СЕМНАДЦАТАЯ

МИШКИН:

Я лежал и читал. Время уже около одиннадцати. Спать ложиться рано. Семья в отсутствии. Галя на дежурстве, Сашка за городом. Рэд сидит около тахты, положив голову рядом со мной.

«Тяжело тебе, собаке. Мы уходим, а ты должен оставаться один. Мы уходим и днем и ночью. Тебе и поговорить, собаке, не с кем тогда. Правда, можешь полежать на тахте, почитать. Небось не читаешь. Ну ничего, придет время».

Я потрепал Рэда по голове и уже дальше думал неизвестно о чем. Отдал долг собеседнику и углубился в себя, так сказать.

Потом подумал: а не поесть ли мне? С другой стороны, говорят, что на ночь есть плохо. А голодным быть хорошо? Пить на ночь хорошо. Голодным быть всегда плохо. Добро и правда от полноты жизни в мир идут. Оттого, что не надо думать о хлебе насущном. Чем больше сытых, тем больше добрых.

Такое пустопорожнее любомудрствование подняло меня и потащило на кухню. Но до кухни я не дошел – раздался звонок.

Неужели опять в больницу – так не хочется. Да что же это? Когда конец будет. Сейчас сниму трубку и... привет. Опять такси искать, бег в ночи и прочее. Стар я, что ли, становлюсь? Или сам с собой кокетничаю. Ведь люблю, когда зовут меня. Тогда я сам себе значительнее кажусь. Да и радость есть от работы этой, демиурговой. Очень моя работа моему самодовольству способствует. Так сказал бы Володька. Растрезвонился!

– Аллю.

– Жень, ты? Это я.

– Салют, Филл.

– Что делаешь?

– А ничего не делаю. Лежу, читаю и мыслю. Думаю, что пора кончать читать и начинать только мыслить. Пора обдумать все, что прочитал за жизнь. А?

– Это верно. И что намыслил?

– Намыслил, что надо поесть, ибо не от голода благородные решения в голову приходят. А гениальное нищенство может в максимуме своем дать лишь Франсуа Вийона.

– Ну, и я ничего не делаю и в принципе с тобой согласен. Идея такая, чтобы приехал сейчас ко мне. Приезжай, Женька.

– Сейчас? А не поздно?

– Может, и поздно. Дома никого нет. Приезжай.

– Сейчас приеду. До встречи.

– До встречи. Жду.

И что ему приспичило вдруг? Поесть бы да поспать. Но, с другой стороны, посидим, поговорим. Ведь если человек в одиннадцать звонит и зовет, значит, ему зачем-то это надо. Может, ему плохо, а он этого не осознает. А может, ему, наоборот, хорошо и нужен кто-то близкий. Как, бывает, хочется хорошим поделиться с близким.

Я позвонил в больницу. У них там все было в порядке.

У Фильки была бутылка цинандали, и мы, лежа на двух диванах, посасывали его и продолжали то же любомудрствование, что и у себя дома я делал, лежа на тахте в одиночку.

Он стал говорить о том, как любой простой факт, если над ним думать, можно повернуть направо и налево. Скажем, здоровый, грубый, бездуховный и безмысленный Голиаф и против него маленький, вооруженный мыслью овеществленной, пращой, Давид. А можно и иначе. Большой, открытый, добрый от своей могучести Голиаф и маленький, хитрый, направ-

ляющий свои незаурядные мыслительные способности на убийство Давид с пращей, созданной его мрачным гением.

Поговорили, обсудили это. Потом допили все. Потом решили, что я останусь ночевать у него.

Позвонил опять в больницу – дал телефон. Позвонил Гале на дежурство. Разделись, легли. Погасили свет. И в темноте через комнату стали лениво перекидывать мысли с дивана на диван. Ну, не знаю, мысли ли, – но слова были.

Как хорошо рассуждать лениво и безответственно.

Филл опять стал рассуждать, как важны нам мифы и легенды, как создавали они нам и мировоззрение и образ жизни.

Очень он хорош, даже когда выдает словесно мыслительный шлак, все равно побуждает к какому-то размышлению. Или я просто расслабился сегодня.

И после я его не прерывал, только молча слушал, а он дал такой навал всяких шлаковых рассуждений. Но все равно хорошо. Мне было хорошо.

Он стал мне говорить о важности легенды об Адаме и Еве. Сколь важно, чтобы люди понимали, ну хотя бы думали, что вышли они из одной исходной точки. Из одного существа. Тогда есть материальный субстрат идеи – все люди братья. А материалистический подход очень важен и в идеалистическом мире, потому что людям легче понять, что пощупать можно. Если люди достаточно осознают материальность одной исходной точки – меньше будет оснований для разделения людей на группы: эти такие, а эти эдакие. Все такие эдакие, потому что все вышли из одной точки. Или если б люди знали, что вышли из одной амебы, а не из миллиона амеб в океане. Так сказать, «если амеба у нас одна, то и судьба одна». Вот это понять важно.

– Ты что, готовишься к лекции, пишешь статью, продолжаешь спор?

– Ругались мы сегодня на работе. Оказалось, мы такие разные все, сидящие в одном кабинете. А ведь из одной точки вышли. А потом спорили, спорили, и вдруг – ничего не разные, но просто один не поел, другого разлюбили, третий с детства несет обиду на что-то, четвертому слишком хорошо, наверное, было...

– Наверное, в воздухе сегодня философские микробы. Я тоже дома думал приблизительно о том же. Расскажи лучше о деле.

– Лучше ты сначала скажи, что ты делал.

– Ничего. Операций сегодня не было у меня. Тяжелых больных тоже пока, слава Богу, нет. Ушел с работы в два часа. Ходил с одним мужиком к консультанту-урологу.

– Ваш больной?

– Нет. Сейчас нет. Так, полужнаком.

– А кто он и что он?

– Вопросы ученого-историка. Да я и не знаю толком.

– Ты же с ним таскался по консультантам. Осложнение после операции?

– Я его оперировал шесть лет назад и совсем по другому поводу. А сейчас он обратился ко мне, ну просто нет у него никого. Он один. Никого не знает. А я его оперировал.

– Совсем чужой?

– Нет, конечно. Я его оперировал. Он и помнит. А я его не помню практически. Короче, у меня ничего не было. А что делал ты?

– Я в архиве сегодня работал. Смотрел документы семнадцатого века. И вдруг из дела выпали засушенные пальцы. Вещественные доказательства. Дело об отрывании пальцев на базаре. Дело-то ерунда, тривиальное, но ты представляешь себе, где-то триста лет назад подрались на базаре, оторвали, отрубили пальцы. Может, хирург какой включался тогда. Потом судили. А потом положили дело в ящик, и никто, никто, понимаешь, триста лет не прикасался, до меня. А то бы пальцы выкинули.

Мы опять пофилософствовали, но уже хотелось спать.

Так вот и закончился еще один день.
Надо было бы вытащить сюда и Володьку. Да уж поздно. Жаль.

ЗАПИСЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Евгений Львович пришел с родительского собрания.

– Ну как, пап? Что говорили?

– Да все как обычно. Учитесь вы средне. Хотя для вас всё делают... С другой стороны...

– Пап, а пап, а как тебе наш классный руководитель?

– Пожалуй, хороший преподаватель, умный... вдумчивый. Тяжело, конечно, с вами.

Трудно быть хорошим учителем.

– Так кто ж пойдет на такую работу! Я б ни за что не пошел.

– Дурачок ты еще, Сашка. Лучшие профессии, по моему, с моей точки зрения, – врач и учитель.

– Врач – это да. Особенно хирург. А учитель, знаешь, пап...

– И хирург среди врачей ничего не «особенно». А просто наиболее наглядна его работа. Да еще и романтична. А романтика – это красота для малообразованных и малопонимающих. Вот работа терапевта не менее интересна, только, может быть, более трудна.

– Нет. Хирург – разрежет, все увидит.

– Не повторяй этих глупых вещей за другими. Все кухни так говорят. Что ж хорошего не знать, а только видеть. Сам подумай – если хирурги будут резать, не зная, на что идут! Болит – режь, а там посмотрим. Так, знаешь, сколько лишней крови прольется. Надо знать, что ты можешь от этой резни получить. Пока хирург не станет нормальным терапевтом до операции, ну хотя бы в диагнозах, – грош ему цена и горе его пациентам. «Хирург разрежет – увидит!» – посмотрит, зашьет и скажет терапевтам – там то-то и то-то, а как это лечить – известно вам. Так? Ты подумай... Ты уже можешь думать, Саша? Можешь? Молчишь. Ну, тогда послушай, я тебе сказку расскажу, так сказать легенду, о тихом мальчике. Не поймешь, так через год расскажу снова. Говорить?

– Говори. А не скучно?

– Слушай.

Легенда о тихом мальчике

В одной семье, среди множества детей, был мальчик. Он самый младший был в семье. Красивый, со светлыми длинными кудрями, с прекрасным голосом и незаурядными музыкальными и поэтическими способностями, или, как сейчас говорят, данными. Как в те времена и в той стране было заведено, он пас овец вместе со старшими братьями и услаждал их слух почти все время своими прекрасными песнями, подыгрывая себе, или, если тебе понятнее, аккомпанируя себе, на инструменте типа гуслей, лиры или кифары, так красиво можно называть гитару. Он трогал пальцами струны, и в ответ они, как бы благодаря мальчика за ласковое их поглаживание, издавали дивные звуки, которые чрезвычайно нравились и братьям, и овцам, и всем, кто ни услышит их. Слух о его способностях, о радостях, которые он дарит окружающим, распространился по всей той земле и дошел даже до царя. Властелин этой земли вызывал иногда мальчика к себе и наслаждался музыкой, и словами, и мыслями, которые мальчик в эти песни вкладывал.

Его старшие братья, как в те времена считалось естественным, время от времени надевали на себя разные металлические предметы – доспехи, брали в руки щиты, мечи и прочие, как теперь сказали бы, атрибуты войны и уходили воевать. Всегда была необходимость в той или иной войне. То они свою свободу защищали, то отнимали ее у других, а более всего их интересовали стада, которые им не принадлежали, а могли бы принадлежать. Но с чем бы

войны их ни были связаны – они всегда говорили об истине, которая у них есть, а у других нет. Они защищали эту истину и нападали с именем этой истины. Во имя истины всегда проливалось много крови, угонялось много скота и много людей низводилось до положения скотов.

Все эти войны носили очень местный характер, потому что воинам надо было сойтись и пощупать друг друга руками ли, мечами ли. Все зависело от непосредственной ловкости и силы встречающихся личностей. Да и от овец своих и баранов не стоило далеко уходить.

А во время этих драк мальчик оставался пасти овец. Он был вынужден защищать их от нападения львов и медведей. Это развило в нем смелость и сообразительность, а появление в тех местах тогда львов или медведей было далеко не редкостью.

А иногда еще отец посылал его отнести корзину с едой на войну, накормить старших братьев и быстро вернуться к стаду.

Так все было близко тогда. Правда, если оценивать расстояние временем, затраченным на поездку, то в наше время тоже все очень близко. Мальчику надо было пройти от дома до места драки и убийств всего несколько часов, наверное. И теперь любая точка нашей маленькой планеты от любой наперед заданной точки отстоит также не более как на расстоянии нескольких часов. Часами измеряется доставка людей, а ракеты, бомбы... «Впрочем, довольно об этом». Так часто кончали в те времена какойнибудь эпизод из своего повествования древние рассказчики. Если хочешь, почитай Геродота, Плутарха, и ты встретишься с этим оборотом.

Так вот, мальчик по тем временам был образован довольно разносторонне, а к тому же природная сообразительность, да к тому же, наверное, непомерное честолюбие, развитое большим и постоянным вниманием к его особе со стороны почти всех окружающих. Когда, он пришел к месту драк и убийств, называемому полем брани, он услышал действительно громкую брань и увидел здорового единоборца в шлеме, кольчуге, со щитом и мечом, шумно кричащего, крови требующего и победы жаждущего и победы единоличной желающего; к тому же мальчик увидел, что колосс этот не очень развит, не очень хитер и не очень думает. Как рассказали мальчику, вот уже сорок дней эта громадина в неисповедимом тщеславии взывает к драке единоличной, поносит противника, а с места не трогается. А противники и с той и с другой стороны, как соплеменники этого воина, так и соплеменники мальчика, обе стороны, боятся его силы и его тщеславия, одна сторона больше боится силы, другая – тщеславия. Мальчик смотрел на это олицетворение грубой личностной силы и пытался переделать в голове своей этого единоборца из противника во врага.

Понимаешь ли, сынок, когда воевали только ратоборцы противники, так сказать единоличники, была большая возможность быстрого прекращения драки, могло быть и без лишней крови, можно было, победив одного только, остановиться на поле победы, не пойти дальше, а просто велеть принести, привести, привезти столько-то овец, золота, камней, хлеба. Но вот если вместо противника неприятеля оказывается враг, – тогда все не так, тогда воюют до победного конца, тогда драка не до первой крови, а до последней крови. Страх легче всего делает из противника врага.

Мальчик долго глядел на могучесть и слушал громкие крики гиганта, старался вникнуть в смысл фраз, которыми соплеменники поносили его, – словесный вздор и мусор, который, если не хочешь необоснованного ожесточения, лучше не слушать, но мальчик специально долго слушал и, когда ожесточил свое сердце страхом достаточно, пошел к царю испросить себе разрешение на единоборство с титаном.

Сначала мальчика отговаривали, но он призывал в помощь рассказы о его успехах в борьбе со львами и медведями; ему говорили – твои руки созданы для гуслей, а не для меча; он же говорил, что меч ему нужен лишь как подспорье, символ, атрибут; ему говорили – противник твой опытный и умный боец; он говорил, что опыт их старых боев только поможет ему справиться. То есть он говорил, что победить ему поможет, как теперь говорят, не консерватизм, а его новаторство.

Понимаешь, сынок?

Спел мальчик свою песню, положил кифару, или лиру, на землю и пошел навстречу закованному грозному бойцу.

А тот смеялся, глядя на мальчика, и плакал, что столь невелик и незначителен его противник. Мальчик же не пошел вперед, а остановился, взял камень, вложил его в воловьих жилы, привязанные к раздваивающейся в виде рогов ветке, оттянул камень, зажатый в кулаке, натянул жилы посильнее, как теперь резинки натягивают, прицелился, потом отпустил конец, зажатый в кулаке, камень полетел и впился в лоб врага.

Мальчик применил рогатку. Я не знаю, он ли ее придумал, возможно, что и он. Во всяком случае, как говорится в ученом мире, «в доступной мне литературе я раньше это не встречал».

Так появилось оружие, уничтожающее противника без личного общения, на расстоянии. Оно позволило с большей эффективностью переделывать воина противника, воина неприятеля в воина врага. Оно было первым звеном...

Мальчик не усомнился, не испугался, никто ему не сказал: что ж ты придумал! – и он никому не мог ответить: «Пустое! Разве вы не видите красоты торжества ума и механики!» Мальчик настолько еще не был образован.

Мальчик пел, играл, а потом опять воевал, стал царем и опять пел и играл. Родил другого царя, который известен в истории как самый мудрый человек того времени, – и никто ему не сказал: что ж ты придумал!

Мальчик все свои силы, знания, талант, образование – пока был мальчик – употребил на создание этой страшной игрушки.

Первой из страшных. И стал постарше, и воевал, воевал, воевал.

Но все таки под старость бывший мальчик как-то спел: «Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное?»

Но все это было уже под старость, сынок.

– Поэтому, сынок, я хочу (ты спрашиваешь, что было на собрании, я и говорю), чтобы ты учился, был образованным, умным, талантливым, и очень хотел бы видеть тебя врачом или учителем. В этих профессиях меньше, чем где бы то ни было, у тебя будет возможности сознательно приложить руку к чему-нибудь подобному. А не только думать об этом под старость. И не засыпай, даже если папа несет тебе какую-то лабуду, придя с родительского собрания.

– Слушай, пап, а лук разве не был тогда? – Звонок.

– Ну, вот опять. Опять телефонный звонок.

* * *

– Слушаю.

– Женя? Здравствуй. Это Таня. Ты знаешь, какая вещь... Володька, правда, не велел тебе звонить, но я все равно... Минут сорок назад у него появились сильные боли в животе. Он лежит и прямо стонет. Бледный. Не посоветуешь, что делать?

– Съел, что ли, что?

– Говорит, нет. А дома что ел, так это все ели. Встал с дивана, и вдруг сразу появились сильные боли. А перед этим ничего не было. Сразу началось. Может, грелку?

– Рвоты, поноса не было?

– Ничего не было. Только боли сильные. Все сорок минут, как началось, так все время стонет. Ты же знаешь – он терпеливый.

– Все терпеливые, пока не болит. А что я могу сказать! Сейчас приеду.

– Да он орать будет, не разрешает и неотложку тоже.

– Ну ладно, ясно. Сейчас приеду. И действительно, еще неотложку вызывать!

- Ты извини, пожалуйста, но я просто не знаю, что мне делать. Орет просто, стонет.
- Сейчас буду, жди.
- Ну спасибо, Жень. Только ты учти, я ему ничего не скажу.
- На такси – это быстро. И через пятнадцать минут он был уже там.
- Привет. Чего лежишь? Напился, что ли? «Шютка».
- Не до шюток что-то. Ты позвонила?
- Ничего я не звонила.
- Врешь.
- Перестань орать. Никто не звонил – в гости могу зайти, если рядом был? А что случилось? Заболел?
- Ну и правильно, что позвонила. Очень болит, Женька. Постоянно болит, а приступами усиливается. А сейчас рвота была.
- Ничего не жрал такого?
- Ой, не могу, Жень, больно. Ничего не сожрал. Болит здесь вот. Точно. И сразу началось. Вот точно здесь. И тошнит опять.
- А черт тебя знает. Ну-ка покажи?
- А может, пройдет? Зря позвонила. Ой, больно очень.
- Что ты кобенишься? Раз уж пришел – показывай.
- А ты выйди.
- Вот это?! А раньше штука эта была у тебя?
- Первый раз вижу. Ой, Жень, болит.
- Дай-ка пощупать.
- Ой-ой-ой! Больно жутко. Ты не сильно, паразит.
- А не сильно – не поймешь.
- Так больно очень.
- А мне за это деньги и платят, что больно делаю.
- «Шютка».
- Вот именно. А здесь?
- Здесь меньше.
- Впрочем, тут и щупать особенно не надо. Это, парень, грыжа у тебя ущемленная.
- Довели тебя твои упражнения гимнастические. Оперировать надо. Все от общей хилости.
- Иди ты. Ой-йой.
- Что, и так все время, с такой периодичностью? Приступы?
- Как часы.
- Короче, чего тянуть. Надо ехать.
- Куда? Может, подождем?
- Идиот. Маленький, что ли? Кишка омертвевает. Небось когда у Таньки был аппендицит – сразу погнал ведь. У тебя, что ли, раньше была грыжа? Никогда не говорил.
- Я и не знал раньше. Не могу, Женька, больше. Болит очень.
- Ну, поехали. Как – «Скорую» вызовем или сумеешь на такси ко мне? Дойдешь до машины?
- Конечно, дойду.
- Еще через полтора часа Володька уже лежал на столе, а Мишкин, помытый, в стерильном халате, стоял рядом.
- Жень, ты как, наркоз общий дашь или заморозишь?
- На кой наркоз. И так больно не будет. Если вдруг больно – скажешь, дадим наркоз. Болит сейчас? После укола не меньше?
- Может, самую малость меньше.

– Ладно, давайте новокаин. Начинаю. Сейчас укольчик небольшой, а дальше не больно. Только распирать будет. Как сейчас? Болит?

– Сейчас нет. Отошло. Жень, а может, не надо оперировать, а? Прошло вроде. Давай лучше: ты мне укольчик – я тебе комплиментик. И разойдемся друзьями.

– Молчи, дурак, за умного сойдешь. Я ж заморозил. Ты как ребенок. Сейчас глубже уколою – опять чуть больно будет... Сейчас как? Не больно?.. Ну хорошо... Подавай, лапонька, подавай. Сама смотри. Ты думаешь, если мой друг, то и помогать не надо... Вытри здесь. Ага. Ты на работе был сегодня, Володя?

– Был. А что?

– Не болело на работе?

– Нет. Не болело. А ты сейчас что делаешь?

– Что делаю! Опирирую. Лежи молчи.

– Сам же вопросы задаешь. А посмотреть нельзя?

– Вот подумай, чуть легче стало, сразу и смотреть надо, и склочничать. Лежи и не рыпайся. Сейчас я тебе, парень, за все выдам. Отыграюсь. Держи вот это.

– Это уж точно, отыграешься. Ой! Ты что?! Отыгрываться начал?

– А что? Болит?

– Нет. Но неприятно. Ты что хочешь, чтоб я еще псалмы радости тебе тут пел?

– Спой. А что! Не болит? – не болит. Морфий тебе вкололи? – вкололи. Лежи себе и пой. Или спи.

– Так ты ж треплешься – спать не даешь.

– Дай-ка обложиться, салфетки. Больше. Кишка ущемила. Зараза.

– Чего? Чего там?

– Лежи, не мешай. Сейчас рассечем кольцо – на душе спокойней станет. Легче. Кишка вроде ничего.

– Это тебе спокойней станет или мне легче? Ты о ком заботишься?

– Что мне о тебе заботиться. Ты же сейчас тунейдец, тебя хоть высылай за безделье. Кишка хорошая совсем. Опускаю ее. Всего часа два-три прошло.

– Ты чего молчишь, Володька?

– Ты же сам сказал – спи. А теперь не даешь.

– Пардону прошу.

– А там как у вас, или у меня, уж не знаю, – все в порядке?

– Да, да. Главное уже сделали.

– Действительно надо было оперировать?

– А то?! Диагностика, милый, с точным прицелом в яблочко. Это тебе не твои йоги.

– Пижон ты, Женька. Я же всегда говорил, хоть и не видел, что на операциях ты наверняка пижонишь. Раньше подозревал, а теперь вижу точно.

– Опьянел ты, любезнейший, от морфия. Молчал бы лучше.

– А что! Не болит, лежу в приятном обществе – почему не поговорить. А ты норовишь быть первым на деревне, оттого и из клиники ушел. Ну и видок у тебя, Жень, между прочим. Посмотри на себя в зеркало.

– А что ты там видишь? Колпак да маску. Какой вид ты там, разглядел? А насчет клиники – это запрещенный прием.

– Ну извини. А вид у тебя такой, какой ты есть на самом деле.

– Ну-ка помолчи немного. Здесь мне тупфером отведи. Вот так. А то не проткнуть бы ненароком.

– Чего, чего? Что у вас там?

– Опять чего! Лежи ты спокойно. Мы на работе, и у нас есть о чем поговорить и без тебя. Иглу, что ли, взять покруче?

– Ну скажи же, длинный. Мне же интересно.
– Ну заткнись. Прошу же тебя, как человека.
– А ты со всеми так на операциях или только с друзьями?
– Полежишь в отделении, выяснишь.
– Ну не подонок?!

– Замолчи, пьяница, пропойца. От одного укола как захмелел! Оскорбляешь во время исполнения служебных обязанностей.

– Во-первых, у тебя сейчас не рабочее время. Ты сюда приехал – и это твое личное, а не служебное и время и дело.

– Не мое служебное. А ты бы тогда Филла попросил на той же дружеской основе. Опять чуть-чуть помолчи.

– Молчу опять. Совсем не больно. Но ты совершенно неестественно себя ведешь.

– По-ошел опять. Во-первых, операция – это вообще неестественное занятие. А во-вторых, ты думаешь, естественно мне оперировать тебя?

– А ты и хирургию, наверное, выбрал, чтоб рисоваться можно было. А? Перед бабами.

– Володя, после расскажешь все, что хочешь. А сейчас все.

– Знаешь, Жень, кол мне на голове теши, но можно вести себя иначе. Скажем, интеллигентней. Скажем, не кричать на больных, на сестер. Есть у тебя стремление рисоваться, как подонку. Мне обидно, что ты становишься на один уровень с твоим бывшим шефом, судя по твоим рассказам о нем.

Мишкин наклонился, задвинул голову за занавеску, отделяющую мир оперируемого от оператора, и прошептал в ухо прямо: «Володька, мы не одни. Я на работе. А то наркоз дам. Ты ж совсем пьян, алкаш».

Некоторое время операция шла в молчании.

– Тебе не больно?

– Как тебе сказать. Радостного не много, но терпеть можно. Тебе-то что? Ты делай свое дело. Остальное тебя не заботит все равно.

– Ты думаешь, что если ты сейчас страдаешь, то все тебе можно? Тоже ведь гусь не из последних. Лежишь и судишь с пьедестала. Откуда у тебя такое высокомерие? Черт! Здесь плохо зашили.

– Не расслышал последнее.

– Последнее и не тебе. Дай еще такую иголку с ниткой. Перешью.

– Я ж не слышу, Жень. Мне же тоже интересно.

– Перебьешься.

– А все-таки я сейчас страдаемое – говори со мной деликатней.

– Дай нам работать. Совсем опьянел. Ей-Богу, я сейчас дам наркоз. Чтоб я еще когда-нибудь оперировал близких. Ни за что! Он же, негодяй, не боится меня. Я для него не хирург.

– Это мне, что ли, наркоз? Мне ж не больно. Я против. Просто тебе, как и всегда впрочем, неприятно слушать замечания в твой адрес. И вообще, то-се, пятое-десятое.

– Наконец-то ты нашел время и место. Ну, сейчас, по-моему, хорошо ушито. Хорошо.

– И было хорошо и сейчас хорошо мне. Не болит. Долго еще?

– Ты спешишь?

– А ты остришь? Вот видишь – почувствовал наконец себя начальником над товарищем.

– Тамбовский волк тебе товарищ. Были мы с тобой товарищами.

– А ты в палате тоже будешь мне начальником?

– Дай-ка кетгут еще. Здесь перевяжем. Угу, спасибо. Теперь можно и кожу зашивать.

Шелк дай, пожалуйста. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой...»

– Женька, а я так и подозревал, что ты на операции весь из себя такой интеллигентный, строишь интеллигентного, выпендриваешься, и если поешь, то детские песенки, – очень интеллигентно.

– Надоел, дайте ему наркоз.

– Какой наркоз – не дамся. Ничего не болит.

– Не дашься! А мы тебя не спросим. У нас средство есть. Все. Заклеивай. Везите его в палату. «...И неясно проходим в этот день непогожий, отчего я веселый такой».

– Нет, нет. Никакого наркоза.

Мишкин вышел из операционной, в дверях остановился и стал картинно сбрасывать перчатки, не помыв их предварительно, как обычно:

– От наркоза милую. Жить будешь!

* * *

Приехал Филипп.

Мишкин. Навестить товарища надо, Филя?

– Что делать. Официальная обязанность товарища требует сочувствия и проявления сожалительных тенденций.

– Хорошо говоришь. Документ какой читал?

– А я, милый, и без документов в любом стиле говорить могу. А тебя, дурака, удивить и вовсе легко.

– Ну давай, давай, Филек, удивляй.

– Ну пойдем к брату во страданиях. Где он лежит то?

– Где. Вестимо, в кабинете моем. Знаешь, ему, оказывается, перед операцией, по благу, дали лишнюю, усиленную дозу наркотика. Ну совсем был пьян. Надрался до чертиков. Как обычно, он губы выпячивает, говорит скандированно свои эти «то се, пятое десятое». Я уж потом ругал сестру. Ну и как всегда: «Я хотела как лучше». Почему все думают, если что положено, то по благу, своим надо чуть больше. Дикари.

– Ну напился человек. Зря ругал. Так бы и я пришел к тебе на какуюнибудь операцию. Да еще лежать в кабинете, одному. И телефон есть? Я «за».

– У нас так мало привилегий и льгот, вернее, их совсем нет, что мы их сами себе создаем. Упустить такой случай! – положить товарища в кабинет, не в рамках всеобщего уравнения, – не мог упустить. Даже, может быть, ему этого и не надо.

Вошли в кабинет.

– А-а! Сам товарищ Гусев! Приехал проявить? Правильно. Рад, что не могу отплатить тем же.

Филипп. Не радуйся – все будет. Время быть здоровым – время болеть. Бог поможет, и дождешься – отплатишь тем же.

Женя. Глядя на твою патологическую здоровость, – тьфу-тьфу, не сглазить, – не думаю, что смогу когда-нибудь тебе услуги подобного рода оказывать. Впрочем, ты тоже начал бегать «трусой от инфаркта» – появилась надежда, что заболеешь.

Володя. Должен тебе сказать, Филл, что Мишкин тут «балшой начальник» и потому пижонство разводит сверх меры всякой. Ну, ужо погоди. Выпишусь, уйду из-под его начала, тогда ужо.

Филипп. А что и как? Я-то здоров. Он мне не страшен. Могу пока заняться.

Володя. И не скажешь. Тонко все делает. И пижонство хоть и грубое, но тонкое, с тонким пониманием своего места в этом мире.

Женя. Ну, все анекдоты вспомнили? Как заговорил сегодня. А еще вчера смеяться не мог. Говорил – отстань. Даже правду-матку в глаза не резал. Только покряхтывал.

Володя. И это было. Я тебе всю правду еще никогда не говорил.

Филипп. И не надо. В желании всегда говорить правду в глаза есть немалая доля презрения к людям.

Володя. Пошел, пошел нести. Я и тебе еще скажу.

Женя. Про то и речь.

Филипп. Пользуешься своим немощным состоянием и говоришь что угодно? Так, стало быть?

Володя. Это уж...

Женя. А все у него отчего – от хилости. А хилость отчего? – то бассейн, то йоговатая гимнастика, то лыжи – вот и стало здоровьечко слабым, хилость появилась. И у тебя от твоего тоже скоро будет. А все от безделья. От безделья и жажда чуда появляется.

Володя. Вот такое ничтожество. Понял, Филл?

Филипп. Ничего, мы рога ему обломаем. Еще посмотрим, кто хилее окажется. К тому же сам на лыжах ходит тоже.

Женя. Так я для удовольствия, а не для пользы тела. Для удовольствия-то все хорошо. Да как вам докажешь. Придешь на могилку, а похвалиться правотой уже и некому.

Филипп. Юмор, ребята... и впрямь больничный. Нашли место и время.

Женя. И это было. Это я ему тоже говорил, но на операции – он ведь не помнит, конечно.

Володя. Вот так он. И меня даже заразил. Но порядки, Филя, я тебе скажу... Мои условия – результат блата и коррупции. А вообще: в приемной снимают показания, имя записывают, где живешь. Но не говорят, правда, так вежливо, типа: курите и так далее. Мою-то историю он заполнил без меня. А я смотрел, как других принимают.

Женя. Имя-то надо записать. Сидел такой шпион и подсматривал. Я думал, ему больно, а он работал, гад.

Володя. Отвлекает. Потом переодевание – дают робу. Потом обыск карманов, говорят, не забыл ли чего в своем цивильном платье.

Филипп. Ну, прости им.

Володя. Слушай. Потом объявляют распорядок. Когда свидания, когда передачи, когда родственникам можно говорить со следователем, сиречь с врачом. Пройти сюда невозможно.

Женя. Мало увидел.

Володя. А это еще не все. Лекарство надо принять в присутствии сестры, чтоб не копил, а то еще отравишься. Ну, это правило сестры пропускают, дают лекарства сразу на целый день, а их за это ругают врачи. Ножа при еде не дают – оружие потому что. Ну и так далее. А сегодня представление. Пришли к ним и просят кровь безвозмездно сдать. Бесплатно-то есть. Донорам обычно платят за кровь. Крови в городе не хватает для больных. Никто давать не хочет. А ведь кому, как не им, кровь-то нужна? Нам, что ли? Врачам, а то им спасать нечем будет. Лечить ведь не умеют – им кровь живую подавай.

Женя. Вот и я говорю, что кровь нам очень нужна. А кто же, действительно, это понимает больше нас.

Володя. Во-во! Понял, пижон какой. И пошел сам сдал кровь. Эдак небрежно так говорит – подумаешь, двести грамм, я и пол-литра могу, ничего страшного.

Женя. Ты, как всегда, начал опять с апломбом говорить, про что не понимаешь. При чем здесь граммы? Конечно, не вредно. Здесь же проблема не в этом.

Володя. А еще пижонство – ходит сам на все ерундовые операции. Правда, у ребят работу не отнимает, им хватает, он и ассистирует им много – но зачем?! Посиди, подумай – он же думать не успевает. Скоро же так регресс начнется. Главные надзиратели здесь – это няньки. Но они и как судьи – несменяемы и неподвластны. Их нет, и тем пользуются. Но с ними все равно легче – за рублевочку вылижут, как корова теленка новоявленного.

Женя. Ну ладно. Устал тебя я слушать. Пойду функционировать, а вы продолжайте.

Володя. Без тебя на тебя время тратить Филл не будет. Он, как носитель информации, должен посвятить меня в события за больничной решеткой. Ну, так какие новости на воле?

Филипп. Вчера встретил Левчика...

Женя. Ну вот! Мне идти надо, а тут начинается самое интересное.

Мишкин только вышел из кабинета, как к нему подошел какой-то пожилой человек:

– Товарищ заведующий?

– Да.

– Моя жена, Афанасьева, из пятой палаты. Что вы мне сказать о ее здоровье можете?

– Мы ее обследовали досконально. Смотрел ее терапевт, невропатолог – ничего особенного не нашли.

– Но боли бывают.

– Человек уже и после тридцати полностью здоров не бывает. Но болезни, требующей больничного лечения, нет. Мы ее выпишем.

– А я считаю, что с ней плохо.

– Ну что можно сделать? Мы не нашли ничего. И анализы нормальные, и консультанты не нашли ничего. Мы ее выписываем. И так она без нужды пролежала около трех недель. Все обследование длилось – и ни для чего. А у нас очередь на место людям, которым нужна операция.

– Как вы можете сейчас, когда вся страна готовится к празднику, старого общественника выкидывать на улицу?

– Да никто ее не выкидывает. Но вы ж должны понимать нашу социальную систему здравоохранения, раз говорите об общественниках. Она ж не позволяет просто так тратить деньги. Вы ведь, наверное, тоже общественник?

– Мы сами ее создавали. И я общественник, и я участник. А вот я посмотрю, как вы собственную мать будете лечить. Я желаю вам, чтобы вы попали в такую ситуацию...

– В какую ситуацию?

– Пусть жена праздники пролежит у вас.

– Зачем? Какая ситуация?

– Я категорически протестую и буду жаловаться на вас в райком.

Мишкин повернулся и пошел. Стоявший неподалеку Агейкин, бывший свидетелем этой сцены, стал выговаривать этому просителю, или, пожалуй, требующему, не просящему.

Мишкин резко оборвал его:

– Не надо. Пойдемте в ординаторскую. А вы, если хотите, обратитесь к главному врачу.

Агейкин подошел к Мишкину:

– И неправильно, Евгений Львович. Ну и что ж, что они с заслугами. Что положено, то положено. А еще и оскорбляют. Надо было обрезать, чтобы знал.

– Бросьте вы. Мало что говорил. Да мало ли какие обстоятельства у него. Мог бы сказать только. Может, он только газетные фельетоны читает. Он не знает, как иначе разговаривать, просить, а может, придет к главной, начальник все же и женщина, расскажет обстоятельства, и все уладится.

– Не знаю, каким миром вы живете. Есть же элементарное чувство справедливости. Вас обидели, оскорбили...

– Эх, Лев Павлович, Лев Падлович, Александр Скерцович...

– Что, что?

– Это я так шучу. Да что такое справедливость? Когда говорят «справедливость», речь всегда идет об отмщении в том или ином виде. А я этого не понимаю, не принимаю. Жизнь воздаст всегда. Зачем же нам с вами вмешиваться?

Они подошли к ординаторской, Мишкин открыл дверь и пропускает Агейкина.

– Ни слова, ни дела в простоте не можете, Евгений Львович. И меня, ординатора, да и вас моложе, вы должны пропускать демонстративно в двери. – Проходит.

Мишкин засмеялся:

– Слово и дело, говорите. – Смеется. – Ну, извини. Это я машинально, по привычке.

Агейкин. А что. Ну и что. Действительно, слово в простоте не скажете. Он вас оскорбляет, а вы философствуете. О справедливости. О мести. А если вас бить будут? – небось сразу ответите?

– Не знаю. Не был в такой ситуации. Лучше удеру. Ты посмотри на меня – еще ведь ударю и убью ненароком. Жалко мне людей, не знающих других аргументов. Я уж лучше пожалею. Даже в политике сейчас ставят вопрос об отмене вооруженных разрешений конфликтов.

– Вы, конечно, здоровый, ничего не скажешь, но ведь так и убить могут, если не защищаться.

– До убийства дело доходит в драке, а не в... Да что пристал? Живи как хочешь, а я – как получается. И если будут бить – как получится.

– Значит, жалеть будете?

– Да. Если получится. А если знакомый мне, может быть, руки ему больше не подам. И то, скажу тебе, неловко.

– Ну знаете, я считаю, что ради справедливого дела и ударить можно, и даже обмануть или своровать.

– Это все так старо. Тыщу раз эту проблему обсловопренили, и обфилософствовали, и просто обсосали. Если даже для спасения чьей-то жизни своруешь, ну, например, в магазине «Медоборудование» какой-нибудь инструмент, или убьешь живого – сердце нужно будет, скажем, – ты, может, и спасешь жизнь, хотя и неизвестно, но вором или убийцей станешь. В результате мир не потерял человека, в лучшем случае, но мир и приобрел еще одного убийцу или еще одного вора, это в любом случае. Может, не очень убедительно, но, если подумать, можно и более доходчиво. Кто только не философствовал на эту тему. Надоело и занудно. И не надо говорить, кто прав. Неизвестно. Но каждый сам выбирает себе дорогу и свои правила в жизни. Ганди, кажется, говорил, что заботиться надо о средствах, а цель сама позаботится о себе.

– Если наша цель – лечить, то о жизни человека должны заботиться, о нашей цели.

Мишкин засмеялся:

– Нет уж. Ты, работая, лучше о лекарствах заботься, о правильном оперировании, заботься о своей голове и о своих руках, тогда у больного будет больше шансов выздороветь. Если юноша, или девица, идет в мединститут с мыслями о грядущих своих благодетельствованиях человечеству, о помощи, которую он, или она, будет оказывать людям, не жалея живота своего, все, мол, для людей, для того, мол, и идет, – в будущее этого человека как во врача я не верю. Хорошо, когда студент, или будущий студент, говорит: мне это интересно. Интересно! Работа ему эта интересна.

Тогда больным будет лучше. А еще эти герои типа «Сельского врача» – юноша смотрит фильм и воображает себя будущим героем, жертвенником, – а на самом деле он просто видит себя центром какого-то маленького мирка и воображает его миром большим. В конце концов, каждому работающему должна прежде всего нравиться своя работа, интерес простой к ней иметь и делать ее уметь надо. В конце концов, кухарка должна любить и уметь кухарить прежде всего.

Наталья Максимовна сидела в ординаторской и молча писала истории болезни.

– Надоели с вашей болтовней. Занялись бы лучше больными. Как операции нет – так уж жди пустых дискуссий.

– И впрямь, что ты пристал ко мне, Агейкин? Откуда я знаю, что и как. Будет дело – будет видно. Может, и мстить буду, и бить буду, а смерть придет – помирать буду.

– Вот теперь, – опять включилась Наташа, – получше будет. Дело к пляске.

– Вот ты против справедливости, – Агейкина тоже не собьешь, – и не...

– Почему ж я против справедливости, ну ты...

– Ну ладно, я не про это, понимаете. За порядком не следите, обидеть боитесь? Да? А боком-то и выходит все. Инструмент подадут не тот – ни слова. Просит другой. Пожалуйста, говорит, понимаете! Нитка порвется – опять не обругаете. Ведь должна она проверять! Это же для больных все нужно по справедливости.

– Ну отвяжись. Сделали тебя профоргом – и следи за порядком. Ну виноват. А вот насчет ругани... К сожалению, иногда и ругнусь. Потом самому стыдно. Тебя даже ругал.

Наташа смеется:

– Слушай, Лева, а: «Что ты тычешь тупфер, когда я завязываю, простите. Надо же смотреть. Срываешь же лигатуру. Извини, но лучше бы после, когда завязано, наверное». – Опять смеется. – А что: «Вы, пожалуй, не правы, наверное, Лев Падлыч, извините».

Все смеются. Вошла сестра:

– Вас ждут, Евгений Львович. Бывший больной наш.

– Пусть зайдет.

– Не хочет, я предлагала.

– Ну сейчас выйду. Наташа все еще смеется:

– Есть хирурги, которые не кричат и не ругаются, потому что они и зубилом сделают операцию. – Смеется. – Ты ему шлямбур, а он тебе грыжесечение. Ты ему, – смеется, – отвертку, а он резекцию желудка. Ориентируясь на себя, они не требуют и для других. А чуть начинает требовать, уже боится, что от других требует невозможное, так как от внутреннего самодовольства ни с кем себя сравнить не может. – Смеется. – А потому молчит.

Мишкин думал о том, что Володька говорит приблизительно то же, что, и смеясь и не думая, сказала Наташа, он бы еще добавил что-нибудь о пренебрежении.

Мишкин. Хватит трепаться. Работать надо. Агейкин прав. Порядка нет, и пора об этом подумать. А у тебя новая квартира на сносках, вот ты и про шлямбур вспомнила, наверное. Будем работать, а не трепаться – будет порядок. Я пойду к этому, кто ждет. – И вышел.

– Над тобой я смеюсь, Лев Павлович, на сестер орешь вот, порядок требуешь, они плачут, а ты что требовал полгода назад, то и сейчас остается. А он не кричит, но его, так сказать, поправки принимают. Он работает, а тогда все можно, даже но ругаться.

Вошел Мишкин, положил на стол коробку шоколадных конфет.

– Губанов приходил. Принес пакет – я его посылаю, говорю, зачем вы это, а он мне так проникновенно: «Доктор, ей-Богу, похоронить меня было бы дороже». Против такого резона что я могу возразить. И вот вам результат: конфеты и коньяк. Конфеты ешьте. А коньяк пойдет ко мне в кабинет. – Ушел.

Мишкин медленно шел по коридору к кабинету: «Конечно, все это самодовольство. Даже то, что я готов себя прооперировать по своей же методике в доказательство, – не подвижничество, не жертвенность, а просто самодовольство. Просто я придаю слишком большое значение себе и своим делам и слишком верю в свои дела. Так, конечно, можно обмануть всех, даже себя. О себе-то всегда сам думаешь комплиментарно. Только дети истинный показатель, кто ты есть или был. Дети выросли пустыми, – значит, и ты был пустота. Если ты человек – дети будут людьми. Фу, запутался».

– Ну, отцы суетные, коньяк в клюве принес. Володя. Это ж прекрасно! А откуда?

Мишкин. Знакомый Нины один. Силы отнял у нас. Все время кому-то ей надо помочь.

Володя. Так открывай срочно. У меня закуска из утренней каши манной осталась. Чистый пудинг по консистенции.

Мишкин. Как поется в песне: «Вот поженимся, тады». Нельзя. И не то что произойдет несчастье или осложнение, но порядок должен быть. Никому нельзя – и тебе.

Филипп. Хватит, он уже один раз здесь был пьян.

Мишкин. Да и я на территории больницы никогда не пью. От греха подальше.

Володька. Ну это да. Уважаю, Мишкин, и ценю. Продолжай работать.

Мишкин. Как ты мне тут надоел. Ну чего ерничаешь!

Володя. Ты-то мне надоел и вовсе в жизни всей.

Филипп. А вы мне оба. Порознь еще ничего, а вместе – хоть святых выноси.

Мишкин. Пойдем. До завтра. Скоро Танька к тебе придет.

Вышли на улицу.

– Женьк, а как, правда, у Вовки все нормально?

– Вестимо.

– Уж и надоели все эти твои шаблоны. Поговори нормально.

– А может, Вовка и прав.

– Что прав?

– Что самодовольство все это.

– Да он это не говорил.

– Ну мог сказать.

– Когда скажет, тогда и будешь обсуждать.

– И правда, я стесняюсь сделать замечание. Он бы сказал, что стеснительность – самодовольство, боишься в неловкую попасть ситуацию, боишься показать себя не с лучшей стороны.

– Ты много сказал. Всего не пойму, но, наверное, глупость. Давай зайдем в этот буфет. Есть хочу. – Зашли. – А тут можно и по стаканчику сухого. Возьмем?

– Вестимо. Ну, извини.

– Будьте добры, дайте, пожалуйста, два пирожка с мясом и, если не трудно, два стакана рислинга.

Сзади тихий и, наверное, пьяный голос:

– Слово в простоте не скажут: пожалуйста, будьте добры, если не трудно – обнаглели совсем.

Мишкин засмеялся. За столиком сидели два парня и тоже пили вино. Да ведь по виду разве скажешь, что за парни. Обычные, как миллионы вокруг. Мишкин снова засмеялся.

– Ты что смеешься?

– А ты не слышал?

– Что? Нет. Ничего не слышал.

– Да так. Слово и дело сошлись, по моему. Пойдем сядем.

ЗАПИСЬ ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

– Алло. Это Мишкин говорит. С кем я говорю?.. А, Наталья Максимовна. Наташа, ну как вы там, собираетесь? Приготовили все рисунки? На улице дождик. Возьмите чтонибудь рисунки завернуть. Туда-то вы на машине, а вот обратно – можем испортить... Нет. Пожалуй, не волнуюсь... А чего ты волнуешься?.. Ты с кем оттуда поедешь? С Игорем?.. Значит, как договорились: вы берете машину, а там на площади я вас жду.

Мишкин повесил трубку, вошел в комнату. Галя причесывалась.

– Ну ладно тебе. Кончай. Поедем уже.

– Женечка, ну не дергайся. У нас еще много времени. Однако Мишкин, по видимому, все равно нервничал. Он в уме проигрывал все, что ему придется говорить. Когда он докладывал на обществе случай абсолютно ясный – он, конечно, меньше волновался. Там было ясное дело. Эмболия легочной артерии – это смерть. Тут все решается за тебя. Надо использовать все, чтобы попытаться спасти. И он это делал. Он, можно сказать, не был активным участником. Он был ведомым обстоятельствами. Не мог же он просто смотреть, как человек умирает. Кто может на это чтонибудь возразить. И выступления в прениях после его сообщения, естественно, носили комплиментарный характер, и лишь некоторые добавляли в крайнем случае: а вот мы, когда тоже... а не лучше ли было бы... и т. д. Но поскольку ни у кого не было успешных удалений эмбола из легочной артерии, то и выступления такого характера переходили тоже в панегирический стиль. Лишь один профессор выступил, что хорошо бы предварительно сделать рентгеноконтрастное исследование легочных сосудов и тогда диагностика была бы абсолютно точной, и привел в пример собственную методику и продемонстрировал снимки. В своем заключительном слове Мишкин и сказал, что показаны очень интересные и хорошие снимки, что очень интересная и хорошая методика, в тех случаях, когда диагноз остается неясным, что в своей дальнейшей работе он, безусловно, если позволят обстоятельства и время, прибегнет к... и так далее и так далее.

Но в тот раз все было ясно. А сейчас он предлагает методику операции, которая должна заменить несколько других, царствующих ныне, которым посвящены не одна диссертация, не одна монография, которые широко рекомендуются практическим хирургам, в том числе и Мишкину, и авторы которых и проповедники которых, профессора, будут сидеть в первых рядах среди членов общества, слушателей Мишкина.

Конечно, будешь нервничать. Кто он такой!

Мишкин молча шел рядом с Галей, и начинались обычные его душевные биения, когда он начинал во всем винить себя и ругать Галю, а это случалось всегда, если что-то происходило в отделении, начиная от украденного кем-то куска торта у больного или книжки у больной до осложнений или смертей после операций. Он начинал метаться и говорить, что это его вина, что он либо не указал, либо недоглядел, либо распустил, либо не сделал. «Я виноват, я виноват», – начинал он довольно бессмысленно и тупо стенать. Марина Васильевна говорила ему в таких случаях: «Прекрати свои истерики. Брось беспрестанно виниться – так же не воспитаешь». А он отвечал, что надо не воспитывать, а учить. «Как же ты их учишь, – говорили ему, – когда ты сам все делаешь, нужно же и для учебы тоже, чтобы все твои сотрудники и помощники работали, ты не должен их подменять». А он как-то переходил на другие рельсы и говорил: «Если я что-то делаю за своих коллег, от санитарки до врача и до жены, – это прежде всего им плохо, потому что я обхожусь без них, я научился обходиться без них, мне прибыло, а у них убыло. Сначала начинаешь обходиться без одного, потом без другого. Сначала без бытовых услуг, а потом и без главных. Становишься самостоятельным и независимым и от любви и от забот». Вот и говори с ним.

Вот и сейчас он шел и думал: «А не зря ли я все это затеял, а не от гордыни ли я все это затеял? Пусть хорошие результаты, пусть мне кажется, что так более надежно и радикально мы убираем все возможные разбросанные в ближайших тканях опухолевые островки, невидимые метастазы, пусть мне кажется, что подобное шивание кишки более надежно, чем предлагавшееся присутствующими на обществе диссертантами и сценаристами, их книгами и фильмами, – пусть, но если это всего лишь желание выступить от суетности и гордыни – не ждет ли меня возмездие». Все изыски, стенания и поиски прошлой русской литературы поднимались на поверхность его души и бушевали в нем сейчас на улице, как и всегда в отделении.

Проходящая мимо машина обрызгала Галю. Она остановилась привести в порядок чулки, – не идти же в хирургическое общество с заляпанными чулками, когда муж выступает. А он, муж, стал шипеть: «Думай, когда ходишь. Надо идти подальше от края. Думать надо, когда машина идет навстречу».

– Женечка, почему я должна думать об этом? У меня и без этого есть над чем подумать. Ну обрызгали! Подумаешь.

– Может быть, ты и права. И мне, наверное, надо было отойти.

Они подошли к условленному месту, и одновременно подошел больничный микроавтобус, а вернее, крытый микрогрузовик. Впереди сидела Марина Васильевна.

– А вы чего? – по видимому не очень задумываясь над отточенностью формулировок, брякнул Мишкин.

– Ну не негодяй ты, Евгений. Спасибо хоть сказали бы главному врачу. Да и я куда же без вас денусь? На хирургии только и держусь в главных врачах. Без вашей хирургии мне бы уже давно осточертела и работа эта, и должность.

Мишкин опять задумался и стал вспоминать, как Марина Васильевна бросает работу и прибегает в операционную, когда поступает какойнибудь экстренный тяжелый больной. Он вспомнил, как месяц тому назад Банкин делал трепанацию черепа девочке, попавшей под машину, а Марина Васильевна стояла и держала голову девочки в нужном положении все полтора часа операции. И, как всякий, так сказать, практический хирург, ругала нашу организацию здравоохранения, которая не может обеспечить элементарным оборудованием все больницы. «Виданное ли дело, – ругалась по хирургически она, – чтобы человек в операционной без толку стоял и просто держал полтора часа, хотя нужен-то всего специальный стол с подставкой. Хорошо, есть лишний человек в операционной – главный врач». Мишкин тогда посмеивался над ней и говорил: «Если заведующий отделением может бегать на улицу и подключать баллоны с кислородом, почему бы главному врачу не подержать в руках полтора часа больной голову».

И им обоим было ясно, что кислород может подключить любой человек, и врач и сестра любая, – лишь бы посильней был, тогда полегче, а голову держать мог и вовсе кто угодно, кто ближе. И обоим было ясно, как противно ходить и просить кого то, а тем более приказывать и иногда выслушивать объяснения, что положено каждому данному советскому служащему и члену профсоюза за ту заработную плату, которую он получает, и о круге обязанностей, которые он за эти деньги должен справлять, и о тех правах, которые ему обеспечивают ежемесячные профсоюзные взносы.

Сколько раз он собирался изменить поведение и вспомнить манеру управления своего бывшего начальника, но потом начинал думать, что результаты у него в отделении были лучше, чем там, в клинике, «вверенной его начальнику для руководства и управления», – и успокаивался.

А главный врач почему-то начинала говорить, что во главе департамента, в частности больницы, должен находиться все таки не специалист, а просто чиновник, так как чиновник не имеет своего специального мнения и вынужден прислушиваться к специалистам – поэтому у него, у чиновника, кругозор, а когда во главе департамента специалист – он и сам все пони-

мает, кругозор его сужается до точки зрения. А Мишкин ей тогда ответил: «А вдруг чиновник возомнит себя специалистом?» И оба соглашались: «Тогда плохо».

А рядом в тот раз стоял Агейкин, и он тоже включился: «Извиняюсь, но точка зрения, понимаете, и именно своя точка зрения, необходима для правильного руководства». Он уже сейчас у них профорг.

Тут они приехали. Пошли в зал.

Игорь стал развешивать картинки с этапами операции. А Евгений Львович, Марина Васильевна и все остальные пошли и сели на места. Мишкин сел с краю, чтобы легче было выходить.

– Женья, а зачем ты ребят вписал в соавторы? Ведь это ты, и только ты, все сделал, и придумал, и выполнял, и больных из рук не выпускал.

– Знаете, Марина Васильевна, надо, во первых, людей стимулировать не только вашими благодарностями. А денег мы с вами не можем дать, правда ведь?

– Ты совершенно неправ. Это неправильное воспитание. Хочешь, что ли, себя противопоставить своему экс шефу? А воспитаешь паразитизм.

– Опять вы о воспитании. Воспитывать надо в детстве. Да и аттестация скоро будет, это им поможет получить категорию. А это уже деньги. Пусть пятнадцать рублей, а деньги. А сытые работают лучше.

Когда Мишкин доложил, некоторые из корифеев задали вопросы. Лишь один профессор задавал вопросы точные, сводившиеся к главному – как делать. Этими вопросами Мишкин был доволен.

Сидящие в первых рядах с удивлением расспрашивали друг друга. Кто такой? Откуда? Опять он? Смысл этих вопросов был – как посмел?

В медицинских журналах всегда после имени авторов статей идет сообщение: из какой клиники или института и какой профессор заведует автором – чтобы знали, кто на самом деле посмел и за чьей спиной посмевающий прячется.

А Мишкин, черт побери, посмел сам. Этого нельзя, конечно, оставить просто так.

И стали выступать корифеи, не те, которые вопросы задавали, а те, которые имели свою точку зрения, которые диссертации и книги на эту тему писали.

Что он мог услышать от них новое, он, который оперировал для прямой помощи от человека к человеку, от них, которые создавали теории и глобальные методики, чтобы в равной степени спасать, да, спасать, а не только помогать, не одного человека, а сразу легионы человека единиц. Он услышал, как хороши методы, ими предлагаемые, а раз они хороши, раз они многих уже спасли, зачем же еще другие методы. Они не вдавались в детали его операции, они обсуждали проблемы своих методик.

Сидевшая через два ряда от них Нина прислала записку: «По-моему, надо прикрыться артиллерией. Я насчет Нашего. Пусть скажет „за“. Возражения есть?»

Мишкин не успел высказать возражения. Когда он посмотрел в ее сторону, Нина уже переместилась на два ряда и уже разговаривала с «Нашим». «Наш» сочувственно и согласно качнул головой. Нина повернулась назад и каким-то неопределимым жестом и мимикой сообщила: «Все в порядке. Сейчас выступит – вырчит».

Что-то Мишкину в этом не нравилось. Может, он представал себе, как Нина била на жалость и рассказывала о его незащищенности или еще о чем то, с ее точки зрения помогающем.

Будущий защитник посмотрел на Мишкина и успокаивающе кивнул головой – мол, не волнуйся, все будет как надо, – но, когда очередной оратор кончил говорить, профессор пропустил момент, увлекшись беседой с соседом.

Председатель. Кому еще угодно задать вопрос или высказать свое суждение? Поскольку нет желающих продолжить обсуждение только что услышанного, ммм... позвольте тогда мне по праву председателя нашего заседания подвести короткий итог. Предложенная операция интересна тем, что она прошла успешно и мы увидели удачливого больного, которого проде-

монстрировал нам сейчас доктор Мишкин. Предложенная операция интересна и тем, что разработана она и выполнена не в строгой, строго контролирующей свою деятельность клинике, не в институте, где всякие подобные предложения предварительно многократно производятся на трупах, проверяются на животных, а сделана и разработана в простой больнице, где не имеется ни возможностей, ни условий для проверки и эксперимента. И пусть удачливых больных у доктора Мишкина несколько десятков – мы не можем рекомендовать эту операцию еще и потому, – теперь я скажу по существу предложенной методики, – что она и хирургически и онкологически безграмотна. Разрешите поблагодарить доктора Мишкина за интересную демонстрацию и поздравить с выздоровлением нескольких больных, оперированных по его методике. Переходим ко второму вопросу сегодняшней повестки дня, к следующей демонстрации.

Мишкин плохо слушал продолжение заседания. Он думал, на чем основано заявление об онкологической безграмотности. Ну ладно, хирургическая безграмотность – они могли на слух не понять анатомическое обоснование операции, на слух это не сразу ухватывают, это сложно. Но онкологически же совершенно ясно, что при этой методике можно убрать значительно шире и больше окружающей жировой клетчатки с лимфатическими узлами, сосредоточение, возможно, будущих или даже настоящих, но невидимых метастазов. Чем больше мы можем убрать этой клетчатки, тем радикальнее, тем онкологичнее. Это же аксиома!

Но пройдет полтора года, и на заседании этого же общества будет представлен доклад уже из научно исследовательского института, которым руководил тот самый профессор, который единственный задавал деловые вопросы и которые так понравились Мишкину, – доклад с анатомическим обоснованием этой методики операции. Были и исследования на трупах, и большое количество цифр, правильно статистически обработанных, с возможными отклонениями в обе стороны. Было большое количество снимков с препаратов, рисунков этапов возможной операции. В большом докладе было все, кроме того, что эта операция была предложена и впервые выполнена и что это было доложено здесь же, на заседании этого же общества, автором доктором Мишкиным. Но было сказано, что «подобных предложений в доступной им литературе обнаружено не было» и что эта операция пока что проделана лишь на трупах и на собаках и докладчики (а их много) «рекомендуют эту операцию научным сотрудникам хирургических научных учреждений для ее клинической апробации».

Мишкин не знал еще в день своего доклада, что перед этим заседанием, в день их доклада, к нему подойдет один из руководителей института и соавтор доклада и спросит: «Скажите, пожалуйста, коллега Мишкин, где напечатано ваше сообщение об этой операции? Мы нигде не могли найти, ни в одном журнале. Поэтому мы вынуждены были обойти молчанием ваше имя, хотя сообщение помним». Мишкин мог только отослать его к протоколам общества, он был спокоен, потому что за эти полтора года, пока в тиши научных лабораторий и экспериментальных операционных подготавливались обоснования для нового глобального хирургического наступления на эту локализацию рака, он непосредственно помог еще двадцати пяти человекам с именно этой локализацией. Он помогал очень локально, от рук одиночки, каждый раз единственному больному. К этому времени, ко дню их доклада, уже будет семь лет, как он этим способом помогает каждый раз единственным больным людям.

Мишкин не знал еще, что именно поэтому ему будет безразлична подобная ситуация, а что Нины на этом заседании не будет и некому будет предложить какую либо окольную помощь, которая всегда кажется необходимой, когда возникает возможность ее получить, и которую так щедро Нина всегда предлагает, создает, никогда не зная, вернее, не думая, к чему все это приведет; не думая и не зная даже о псориазе, как будто ждущем таких вот стрессов – помощи из за угла.

Но все это только будет, а сегодня Мишкин сидит на заседании общества, только что обсудившего демонстрацию, которую он ему, этому обществу, представил. Опыт пятилетнего применения этой операции и жизнь нескольких десятков сейчас здоровых человек не давали

повода для серьезного восприятия жестких слов председателя. Товарищи его были несколько ошарашены. Наверное, и потому, что они помогали людям через его голову, через его руки, а не непосредственно. А вот, скажем, Наталья Максимовна, которая больше, чем другие, сделала самостоятельно этих операций, тоже была спокойнее, под защитой своего умения, своего точного знания, под защитой воспоминаний о своих больных.

Мишкин не особенно был огорчен еще и потому, что он знал это все наперед. Он знал, что это будет, не потому, что это хирурги ретрограды, хирурги консерваторы, он знал, что такова практика научной и практической медицины.

Мишкин стоял на виду у громадной официальной хирургической общественности с одной единственной маленькой пращой, но она, эта праща, помогла ему сохранить жизнь отдельным людям.

Он не огорчился, не нервничал, он думал, что, может быть, это естественно. Он думал, что, если этот толковый профессор, который все понял сразу и понял, где сила и где правда и точность, не дай Бог, заболит, он его постарается соперировать, как только может хорошо.

Но мстить добром – это очень жестоко.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТАЯ

Еще несколько лет назад, когда родственники приводили на консультацию какогонибудь профессора, то приходил обычно эдакий вальяжный мужчина, который снисходительно шутил и давал солидные рекомендации. А за последние годы облик профессора изменился. Это уже молодые, быстрые, худые ребята. Впрочем, ребята они в глазах Мишкина, потому что все они приблизительно одного с ним возраста.

Раньше консультант говорил: «Ну что ж, дорогой коллега...», а сейчас: «Да у вас, ребята, по моему, все...» Многих из них он знал лично и почти всех встречал на хирургическом обществе. Несколько раз в год консультанты появлялись у них в отделении. Часто, когда больным бывало плохо, а иногда очень плохо, родственники их приходили к Мишкину за разрешением привезти профессора на консультацию. Часто он давал еще и совет – какой профессор в данном случае может оказаться наиболее полезным, кого бы лучше всего пригласить. Нина как-то сказала: «Пригласи когданибудь Нашего. И делу поможет. И ему в помощь. Из всего чтонибудь получится». Мишкин так и не собрался это сделать раньше.

Когда больным плохо, да, пожалуй, всегда, когда плохо и здоровым тоже, люди жаждут чуда. К чудесам тянутся всегда не от хорошей жизни. К больному человеку хотят привезти кудесника, найти лекарство, созданное в какойнибудь деревне или в горах, во всяком случае не в лаборатории. Ни одна болезнь не дала столько чудесных лекарств, как рак. Когда людям плохо или страшно, они, как еще слепые котята начинают стучаться, тыкаться мордочкой во все, что тепло, так и они прилепляются душой ко всяким телепатиям, летающим тарелочкам, в Библии начинают искать признаки прилета из других миров, а в Христе – представителя иной, более нравственной цивилизации. Когда людям плохо, появляются всякие чудесные теории, которые без больших затрат все сразу улучшают, и большое количество эпигонов и излеченных – это может быть и бег трусцой, или гимнастика йогов, или горная смола мумиё, или такая-то особая диета с какимнибудь особым прилагательным. Ждут и хотят чуда, но, как всегда, без духовных затрат ничего не получается.

А когда плохо больному, лежащему в отделении, появляется либо чудо профессор, консультант, либо лекарство какое то, всех и все лечащее.

И сегодня пришел профессор, так сказать, протееже Нины и начальник ее, молодой, так лет около сорока – сорока пяти, высокий, худощавый. Он шел рядом с Мишкиным по коридору и быстро говорил про что-то, судя по их лицам интересное для обоих. А раньше обычно консультанты выходили из палаты, перевязочной, кабинета заведующего, шли медленно, и обычно консультант покровительственно поддерживал заведующего под руку. Это было очень демократично.

Они прошли вдвоем в кабинет к Мишкину.

– Что ж, ребята, по моему, вы все сделали как надо. Ну что ж, вы, Евгений Львович, не волшебник и не Господь Бог. Больше, чем мы можем, вы не можете. Сделали вы все правильно, а что сейчас плохо – так это болезнь, и никто, ни я, ни любой другой, не улучшит положения. По моему, так, Евгений Львович. И родственникам я скажу то же самое. Лечите, как и лечили, а там, так сказать, как Господу Богу будет угодно. Да. Я, Евгений Львович, слышал ваше выступление на обществе. Большой материал уже у вас накопился? Документирован?

– Да. Уже много. Вот посмотрите. – Мишкин взял со стола какую-то очень большую папку и стал вытягивать оттуда один за другим рентгеновские снимки. – Вот, пожалуйста. Этого больного я оперировал пять лет назад. На днях приходил. Поправился на двадцать пять килограммов. Пока, тьфу тьфу, не сглазить, признаков рецидива или метастазов нет. Все функции, которые ми восстанавливали, – восстановились... Или вот эта больная. Совсем молодая. С ними же хуже, с молодыми. Но тоже больше четырех лет прошло. Никаких признаков плохих.

Смотрите, на снимке как. Вот до операции... а вот после. Видите?.. Или вот посмотрите... А вот еще... А этот случай... А этот больной нам дорого достался... Вот эти снимки мы демонстрировали на обществе...

– Евгений Львович! Такой громадный и значительный материал просто так валяется на столе. Кабинет открытый. Как можно! Здесь же по крайней мере одна докторская и несколько кандидатских диссертаций. Надо архив привести в порядок, Евгений Львович.

– Конечно, Сергей Борисович, надо, конечно. Но не хватает у меня ни терпения, ни организаторского интеллекта для этого.

– Не хватает интеллекта! Да для этих операций надо...

– Тут, Сергей Борисович, надо систематизировать, подобрать литературу.

– Да это пустяки. Надо было это все сделать уже давно. А где еще делают такие операции?

– Не слышал. Но, наверное, где нибудь делают. Это ж на поверхности. По моему, должны.

Или скоро будут.

– Вот видите. А вы этот материал держите так свободно. Кабинет-то у вас вообще не закрывается?

– Нет. А я б его, этот материал, с удовольствием дал кому нибудь. Пусть обработает и публикует. Сергей Борисович, посмотрите эти снимки. Они вам ближе. Вот эту большую оперировали пять раз в клиниках, и не только нашего города. Желчные пути до операции. А это после.

– А клинически все прошло?

– Прекрасно. Поправилась. Болей нет. Желтух нет. Или вот – камень заклинен, проток расширен. Мы оперировали также.

– На симпозиуме по этой патологии корифеи наши высказывались об этой операции с крайней осторожностью. У каждого не более десятка наблюдений за больными после таких операций. Не совсем таких, менее радикальных, но близких. Они говорили, что много осложнений.

– Вот именно, что менее радикальных. А надо в таких случаях более радикально оперировать. Таких операций у меня более сотни, около полутора ста, наверное.

– Сколько?! Да вы преступник, Евгений Львович. Ведь только из того, что вы мне показали, по крайней мере три докторских и с десятков кандидатских диссертаций. И все это так открыто лежит. Ну не систематизировали, не разобрали... Наша общая приятельница много мне рассказывала о вас, но такой щедрой, в кавычках щедрой, безалаберности я встретить не ожидал.

– Да пусть, Сергей Борисович. Я ж все равно с этим материалом ничего делать не буду.

– Да как так можно! Евгений Львович! Это же уникальный материал. Вам, Евгений Львович, надо дать группу аспирантов, молодых ребят, и пусть обрабатывают. Я был в Лондоне, там есть очень крупный хирург, на его некоторые операции ездят смотреть хирурги всего мира. Он считается крупнейшим специалистом хирургом в своей области – так ни одной строчки сам не писал. И не подписал. Нет его трудов, за его подписью. Около пасутся его мальчики и пишут, правда ссылаясь на его операции, с адресом, так сказать. Вот и вам надо такую группу.

– «Купишь, – ответил папаша, вздыхая...» Что вы сравниваете, Сергей Борисович. Он ученый, а я просто практический хирург. Вот я на обществе-то сказал, а в печати не было. Ну сделал несколько хороших операций. А потом, даже если и так, кто мне даст аспирантов? Я ни степени не имею, не аттестован даже как категорийный хирург. Кто ж разрешит аспирантов. К тому же и аспирантам нужен влиятельный руководитель, чтобы диссертации защищались, а не только писались.

– Ну, это-то найти можно. В конце концов, мои аспиранты. Можно сделать вас как бы филиалом моей клиники. А что значит вы не аттестованы? У вас что, нет категории?

– Вот именно. Все никак не соберусь. Интеллект, говорите. А я все отчет никак не соберусь написать – для аттестации. Это ж страниц сорок – пятьдесят надо. Да я и не умею совершенно писать. Я только оперирую. Да я двух слов на бумаге не свяжу.

– Перестаньте юродствовать, Евгений Львович. Я же слышал ваши выступления на обществе. Вы просто юродствуете. Прекрасно пишете и широко. Уверен абсолютно. В конце концов, это же деньги. Ну ладно, кандидатская вам даст всего лишь десятку, но высшая категория – это уже тридцать рублей. Ведь у вас семья, а семья – это подписание определенных векселей. У вас обязанности перед женой, детьми. Как можно! Все таки тридцать рублей.

– Кто вам сказал, что мне дадут высшую категорию?

– А как же! Вас знают. Да я снимки вижу.

– Вы, Сергей Борисович, не знаете положения об аттестации. Высшую не дадут, если раньше не было первой. А между аттестациями должно быть не меньше трех лет. Значит, во первых, это не раньше чем через три года я могу получить ее, высшую. Да при этом надо опять писать отчет. Уже два самоотчета получается. Это не для меня забава.

– Глупость все это. Дадут вам высшую сразу. Я ж вижу, что дадут.

– Инструкция есть инструкция.

– Инструкция – не закон. Давайте я вам дам своих аспирантов, буду их научным руководителем. Они под моей палкой и себе настрогают диссертации, и вам сделают. У вас минимум кандидатский сдан?

– Что вы! Зачем он мне? Да я и не сдам его. Чужой язык я плохо знаю, а о философии и говорить не приходится. Нет уж, я так доживу, наверное.

Мишкин не знал, как ему кончить этот никчемный, бесплодный разговор. Конечно, это Нинина работа. Хотела быть благодетельницей всех сразу, накормить одним хлебом тысячи. И, как всегда, он надеялся на спасительный безумный и рабочий мир в больнице. Он надеялся, что вот когонибудь привезут, чтонибудь случится в операционной, чтонибудь в послеоперационной палате произойдет. Он надеялся, что он комунибудь сейчас срочно понадобится. Но разговор продолжался. Видно, все оберегали разговор своего шефа с этим знаменитым кудесником, корифеем, который все может.

Никто не входил.

В процессе разговора они совершенно забыли про родственников больного, которые привезли сюда профессора и сидели в коридоре, ждали ответа, решения, приговора. Сидели и ждали.

Наконец, они не выдержали и вошли.

– Простите, пожалуйста, профессор. Вы не можете сказать нам чтонибудь утешительное? Профессор, наверное, с неохотой отвлекся и перешел на другую тему.

Мишкин успокоился, закурил и подумал: «Разговор-то уже окончен, наверное».

Так оно и было – на сегодня этот разговор был окончен. Но почему бы профессору оставить мысль о научном руководстве над таким богатым материалом, лежащим к тому же в этом открытом для всех кабинете, в этой папке, брошенной на подоконник?

– Ну, что профессор? – спросил его после Онисов.

– Ругался, что материалы наши все, снимки валяются в открытом кабинете.

– А что?

– Что. Говорит, как же можно материал доверять пустому случаю. Не доверяет.

– Кому?

– Пустому случаю. Знаешь, к святому Серафиму пришел епископ и сделал выговор за то, что Серафим принимает у себя девиц наедине. Не доверяет Серафиму. А святой сначала не понял, а потом засмеялся. Ему и в голову ничего не приходило, он совсем в другом мире. Этот епископ еще не ручался за себя, потому и другим не доверял. Понял?

– Что понял? Это ты о ком?

– О тебе. Ты в другом мире и не понимаешь, что есть «пустой случай». И даже притчу не понимаешь.

– Ну, ты уникам! Давай закурим.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

МИШКИН:

Я сидел на подоконнике на лестничной площадке и разговаривал с Игорем Ивановичем. Парень он молодой, шустрый. Я, конечно, ничего не напишу, но у нас материала, все говорят, вот и Сергей Борисович тоже, материала до шута. Да и сам я вижу – пара докторских и с десяток кандидатских валяется. Это то, что я вижу, а у кого диссертательный глаз – да он тут с полсотни, наверное, наберет. Мне уже и поздно, да и зачем. Ну сделаю, скажем, кандидатскую – десятку получу в месяц лишнюю, ну, не лишнюю. Одно дежурство мое – та же десятка, больше даже, та же диссертация. Вот самоотчет для аттестации – это и реальнее и важнее, – не ровен час, без категории еще и не разрешат заведовать отделением. А Игорь вполне может набросать диссертацию. И статьи от отделения хоть пойдут, и ему степень обломится. Он еще молодой, может и в клинику податься. Глядишь, карьеру сделает. Я-то уж в клиники больше не ходок. Уже пробовал. Я неудачник. А ему в самый раз. Он может быстро пойти по лестнице. Вот только бы ему научного руководителя найти подходящего, надежного, да был бы, как говорится, аппендицит, а хирург найдется.

Вот сидим мы с Игорем разговариваем обо всем этом, вдруг слышу страшный крик внизу:

– А я говорю, выйдите!

– Да мне только снимки доктору передать.

– А я говорю, выйдите, не хулиганьте, а то милицию позову.

– Да что вы шумите зря? Мне доктору снимки передать надо.

– Ничего не знаю. Время будет – придете. А сейчас не положено.

– Доктор же просил сам меня принести ему.

– Выйдите вон! Вон, вам говорят. Хулиган вы!

Я спустился вниз. В дверях стоит человек, держит в руках свернутые в рулон снимки.

– Какому доктору? Давайте я передам.

– Она просила меня зайти. Отец у меня лежит. У Натальи Максимовны.

– Вот, Евгений Львович, все они врут. Им бы только пройти. А сейчас не время.

– Хорошо, хорошо. А пока перестаньте ругаться. Пусть пройдет.

Посетитель прошел.

– Ну вот, сами порядок нарушаете. А потом меня ругать будете. Что ни начальник, то свой приказ.

– А кто вам приказывал кричать? Это же больница. Надо было без крика сказать, что нельзя. А теперь я вынужден его пропустить.

– А он первый начал, Евгений Львович. Я сказала – нельзя. А он выяснять начал. Да что, да как. Пришлось, конечно, объяснять.

– Да вы же не объясняли, а кричали. Себе испортили настроение. Ему испортили настроение. Он придет – отцу испортит настроение, другим расскажет. К больнице заранее будут подходить с криком.

– Как прикажете, Евгений Львович. Мы люди маленькие. Нам как прикажут.

– Они ж не от хорошей жизни в больницу приходят. Все только с горем к нам. Вы подумайте, не ровен час, завтра сами в больницу попадете.

– Как скажете, Евгений Львович. Нам как прикажут. А завтра меня, может, и не будет.

Так плодотворно поговорив, я побежал к главной.

– До каких же пор у нас на справках и в раздевалке жандармы служить будут? Они ж только скандалы да конфликты создают. А отсюда, естественно, и жалобы. Помните, больной палец прищемил нашей, так сказать, привратнице в посетительской. Я сегодня послушал стиль ее. Наверняка тогда человека довела. Наверняка сама виновата.

– В чем дело, Женя, что у тебя опять стряслось?

– Да не у меня. У вас. В вверенной вам больнице гардеробщица – хуже надзирателя, капо из концлагеря. Она ж ведь ни одного посетителя не пропустит, чтоб не облаять. Больные сидят в посетительской – орет, почему долго. Ей-то что! Разрешено – пусть сидят. Никому ничего не объяснит – сразу орать, сразу крик. Есть же какие-то правила. И, как всегда, любое хамство имеет свою логику, свою правду. Если с точки зрения разума и целесообразности – то хамить можно. Она ж за порядок! Приструните вы ее. Или выгоните. Напишите ей сорок седьмую в трудовую книжку.

– Какой бойкий. Сорок седьмая статья кодекса о труде в трудовой книжке– это, может, хуже судимости. А ну я тебе сейчас дам ее трудовую книжку. Впишешь? Когда кого наказываешь, тут ты защитник. А вот сам, не моими руками. Готов?

– Ну ладно, не сорок седьмую. Все равно пусть убирается. И так забот хватает, а тут еще эти помогают.

– Убрать. Больно быстр. С врачей начинать. Врачи ведут себя с ними, как большие начальники, а у этих возможность проявить себя начальниками только над больными да родственниками их.

– Но ведь страшное дело, когда она при исполнении служебных обязанностей. Ведь ее нельзя оставлять.

– Ты не торопись. А у тебя замена есть? Где я возьму? В санитарки никто не идет. У меня восемь санитарок работают после отбытия срока. Где я тебе возьму. А девчонки не идут.

– Платите больше.

– Дурак ты, Мишкин. Я, что ли, плачу. Да и не в этом дело. она иногда может больше тебя получить. Я им могу сверхурочные выписать, а тебе нет. И две ставки легко дам. И еще они имеют то, что не имеешь ты. У них больше.

– Так и должно быть. Вы же сами попрекаете меня моральным удовлетворением.

– Недавно приходила девочка. Говорит, пошла бы в санитарки, если в трудовую книжку ей этого не напишут. Почему-то считается зазорным.

– Классы отменены и всякий труд считается почетным. Где ж ваше идейно политическое воспитание? Воспитаите. Молодым везде у нас дорога.

– Кстати, классы не отменены. На занятия надо ходить. Можно ерничать, а можно думать. Сейчас, кстати, время думать. Я ее взяла и в трудовую книжку написала «медсестра без образования».

– А не влетит?

– Не должно. А там посмотрим.

– Вот и поставьте ее в гардероб.

– Да у меня в терапии ни одной сапитарки нет.

– Но все равно нельзя ее оставлять в раздевалке. Выгоните вы ее.

– Ну хорошо, выгонишь ты ее. Она перейдет дорогу, устроится санитаркой в детской больнице.

– Там она тише будет.

– Наоборот. Она ж поймет: «Выгнали меня – а я вот вам».

– Значит, сорок седьмую пишете.

– Озверел. Кстати, и с этим возьмут – санитарок нет. Я вот что сделаю. Я ее переведу в приемное отделение, а в раздевалку у меня бабушка есть на временную работу. А дальше видно будет.

– В приемное. Там пьяные поступают – знаете, как она их заведет. Там иногда привезут пьяного тихого. А они, в приемном, как начнут: «Пьянь, сволочь, нажрался» – и все. Пока врач придет, уж там цирк. Вы бы с ней поговорили с позиций разумного эгоизма. Мол, сама попадет в больницу...

– Чудак... А как те дети, которые орут на стариков родителей, чтобы сдох там, да еще и бьют. Думаешь, они не знают, что-тоже скоро будут старыми родителями? Не помогает, видишь. Не в том дело. Она живет сегодняшней минутой. Сейчас она начальник – она орет. Она про завтра и не думает. А уж про болезни свои будущие...

– Вот и моя санитарка. Черт ее в палату занес. Я аж морду сначала хотел набить...

– А что случилось?

– А потом поговорил. Говорю, а если вы вот так же... Притихла.

– Когда? Что у тебя там?

– Сегодня утром она...

– Сегодня утром!.. Ну силен ты, Мишкин. Ну чистая пехота. Сегодня утром только – а ты уже «притихла». Еще посмотрим. А что она сделала?

– Больная позвонила, что-то попросила. Сестры не было. Дверь открыта была. Она увидела санитарку, попросила принести что-то. А та ей: «А ты рупь плати каждый день. Ведь за раковой кто ж так будет ухаживать». – Марина Васильевна схватилась за голову и даже застонала. – Хорошо, больная верующая, так только про священника говорит, для нее это не оказалось трагедией. Я пошел к санитарке. Говорю, а если бы вы так лежали и вам бы так сказали. А она, видите ли, за «рупь» извиняется. Я говорю, Бог с ним, с рублем, про рак-то зачем. А она дурочку неграмотную строит: «Не буду, милоч, не буду больше». Ведь звала всегда по имени-отчеству, а тут сразу – милоч. Но притихла.

– Зина, что ли?

– Она.

– Притихла. С ней это, Женя, не в первый раз. Вот ее я выгоню. Пусть устраивается как знает, но к больнице ее подпускать нельзя. Вот ей влеплю сорок седьмую. Я уж ее и в поликлинику переводила. А ведь как у нас прорыв, так она снова здесь. Нет, нет, с глаз ее долой.

Марина Васильевна позвонила и велела срочно прислать ей старшую операционную сестру и Зину.

Пришла старшая.

– А где Зина?

– Она занята, Марина Васильевна.

– Как это занята, когда главный врач вызывает, что за...

– Операция идет, Марина Васильевна.

Я наклонился и прошептал Марине Васильевне:

– Сначала вы кричите, а потом и они.

– Это правильно, – отшепнулась она, – согласна. – И громче: – Люда, она сегодня работает последний день. Выгоняю по сорок седьмой статье.

– Марина Васильевна! Ну плохо, что сказала. Мы уж все ее ругали, но у меня в операционной никого нет. Все девочки и так занимаются санитарской работой. И полы моют, и белье таскают в прачечную. Им же не платят. Еще и Зину гоните.

– Ты брось. Все, что можно, я плачу. Я вместо санитарок лишние ставки сестрам даю. Так?

– Верно. Но это же меньше людей получается.

– Управитесь. Но Зина здесь больше работать не будет.

– Марина Васильевна!

– Никаких «Марина Васильевна», человек в больнице сказал больному, что у него рак. Достаточно даже того, что деньги вымогал, а уж... Все, разговор окончен, Люда.

– А как мне работать?

– Как хочешь.

– Тогда и я подам заявление об уходе.

– Жду до пяти часов твое заявление. Иди. Уже я схватился за голову:

– Ну вот, и санитарка и старшая уходит. Как я буду работать!

– Не волнуйся. Старшая никуда не уйдет, а Зина не будет работать.

Марина Васильевна была права. И старшая никуда не ушла, а Зине действительно нельзя работать в больнице. Когда Зина стала просить не портить ей трудовую книжку, я, как дурак, стал просить за нее. Ну, уж тут главная надо мной покуражилась. А мне жалко стало. А вдруг не устроится. Ведь если под шестьдесят человеку, а она работает, значит, плохо дома. А Марина Васильевна говорит, что для старого человека статья эта большого значения не имеет. На работу она все равно устроится – людей нигде не хватает, куданибудь возьмут. Даже в санитарки могут взять, хотя если что случится – будут неприятности. А сорок седьмой она зря боится. Страх перед ней давно уже носит просто легендарный характер. Для неквалифицированного работника – это просто неприятность. А вот если врачу вклеить – вот это уже плохо. Найти работу по специальности трудно будет. А про заведование и говорить не приходится.

Сначала я жалел, что сказал ей про Зину. А может, и правильно, что сказал.

Да и с Игорем не договорил. Да и разговор противный – насчет диссертации. Когда еще наберусь сил поговорить с ним об этом. Впрочем, он, наверное, сам станет говорить. Защитит. Станет заведующим, а я у него буду ординатором. Наконец-то покой будет. Пусть пишет.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

«С низким материнским поклоном к Вам ко всем семья и родственники Колюшки Семенова.

Большое Вам спасибо за Вашу заботу о Коле, нет таких слов, которыми можно было бы по матерински выразить к Вам ко всем самое наилучшее уважение всему коллективу в период нахождения на лечении у Вас – Колюшки, и за наше постоянное нахождение у него до последнего его дыхания. От себя лично благодарю Вас лично стоя на коленях абсолютно перед всеми за то, что Вы дали мне возможность как матери скорбящей закрыть его голубые-хрустальные по юношески юные глазанки его веками – самому неповторимому – любимому по матерински сына.

Да! Судьба его почти трагична, невероятна в своей почти по юношески жизни. Надеюсь по матерински Вы разделяете наше горе и скорбь по поводу его ранней смерти.

Очень рада буду, если по возможности Вашей кто-либо ответит, это послужит памятью последнего эхо.

С уважением семья и родственники Колюшки Семенова».

Мишкин прочел, положил перед собой бумагу и задумался.

Когда пришло это письмо, он забрал его и сказал, что ответ напишет сам, но вот который раз садился, снова перечитывал письмо, а так ничего и не написал.

Что можно написать!

Он долго собирался с мыслями каждый раз, вспоминал, как все было, теребил ручку, рисовал петушков, кораблики, стрелки и букву «Д» почему-то, но так ни разу ни одного слова и не написал. В конце концов его звали либо в операционную, либо в перевязочную, либо в приемное отделение, к телефону, главврачу, и так до сих пор лежит это неотвеченное письмо на столе кричащим укором его необязательности, душевной черствости, жестокости, и еще много слов и определений придумывал он, клеймя себя.

Но что он может написать! Какие слова сочувствия, или Бог знает чего, он может найти... Если бы он мог, так же как она, не думать о словоподчинениях, запятых, падежах и прочей ерунде, которые у матери стерло горе. Но он думал, а какое обращение должно быть, с чего начать, поминать ли болезнь...

Он вспоминал, как позвонили ему из легочного хирургического отделения одной больницы и попросили взять на лечение этого мальчика. Уже по телефонному рассказу он понял, что лучше не связываться, что случай явно безнадежный, и взять на себя, на свое отделение эту не свою, эту чужую тяжесть он просто не имеет права. Он ведь не только за себя должен решать, но и за своих врачей, сестер, на которых ляжет тяжкая и совершенно бесперспективная работа. Но, сказав себе «бесперспективная», он вспомнил этот термин: «бесперспективный больной» – который резал ему уши, мозг, сердце, резал душу, – и он поехал посмотреть больного на месте.

Четыре месяца назад у мальчика заболел живот. Но он работал, готовился к институту и решил отложить свой поход к врачу, а пока потерпеть, перемогаясь домашними средствами. Он клал грелку, принимал пирамидон, белладонну и протянул так три дня, а на четвертый день, когда боли стали нестерпимыми, сказал матери и пошел к врачу. Его срочно отвезли в больницу и сделали там операцию. Был запущенный аппендицит и перитонит. Операцию он перенес хорошо, но потом начались осложнения: сначала ему вскрыли гнойник под печенью. Потом гнойник образовался в грудной клетке – его перевезли в легочную хирургию, там вылечили

и этот гнойник. Теперь появился гнойник в печени – это самое тяжелое из всех осложнений. Коллеги из легочной хирургии просили Евгения Львовича взять мальчика к себе.

Когда он увидел мальчика, посмотрел снимки, анализы – он окончательно решил не брать на себя, на свое отделение эту тяжкую работу. Не надо связываться. Да еще сколько это будет койко-дней, на них в отчете специальное объяснение надо писать, осторожно стал рассуждать с врачами о нуждах и делах медицины, о разных системах здравоохранения – «на себя» и «от себя», – правда, это он не сказал, а только подумал, потому как об этом и шел, собственно, разговор. Ну с какой стати он должен брать это на себя, а потом его товарищи по отделению, сестры справедливо будут ругать его. И операции здесь никакой интересной не сделаешь. И теплом своего тела здесь не спасешь. «Нет, не возьму».

Мальчика перевезли к Мишкину в отделение в тот же день.

Первый абсцесс печени Евгений Львович вскрыл на следующий день. Через несколько дней был обнаружен еще один гнойник. Затем он вскрыл еще три очага. Ясно, что поражена была вся печень. Ясно было, что он ничего не сделает. Все отделение ходило вокруг мальчика – ему становилось то лучше, то опять наступало ухудшение. Все врачи и сестры и из других палат стекались к этой маленькой палате на одного человека, обступая со всех сторон кровать и каждый раз обдумывая новую жизненную проблему. Да, как это звучит: «новая жизненная проблема»! – но так было буквально. То вдруг возникшее кровотечение из сосуда, то быстро распространяющаяся закупорка вен, то температура, сжигающая его целиком. Так продолжалось три месяца.

Коля лежал в отдельной палате: невзирая на все правила и инструкции, мать от него не уходила, ей было разрешено все. В лечении мальчика принимало участие все отделение поголовно. Все видели, что мальчик умирал, все его полюбили за характер, за достойное жизнелюбие, за мужество, постоянное желание помочь помогающим ему, за внешний вид его. Никто из персонала не плакал, хотя смотреть на происходящее было невыносимо. Никто в отделении ни разу не упрекнул Мишкина ни словом, ни помыслом. Не плакала и мать. И вот он умер.

Теперь плакали все. Теперь уже ничем помочь нельзя. Мать была еще здесь, но ее охватил уже другой ажиотаж – хорошо похоронить, чтоб было все как надо, чтоб поминки были достойные.

Но вот и эти спасительные действия закончились. Мать осталась одна, сама с собой. И стала писать письмо.

Мишкин конечно же никогда не плакал над больными. Не плакал он и в этот раз. Когда Коля умер, Евгений Львович был на операции. Он размылся в предоперационной, только тогда ему сказали. Забежал в свой кабинет. Быстро переоделся. И убежал из больницы.

Мать Коли он больше не видел никогда.

Он позвонил Володе, Филиппу, они где-то посидели, говорили Бог знает о чем. Они понимали, что раз он их вызвал, значит, ему этого хотелось.

Ребята (ребята – уже разменяли пятый десяток) так ничего никогда об этом юноше не слышали, не узнали. Ребята! Так и не видел он больше мать Коли.

А вот теперь надо на письмо отвечать. Так что ж ей ответить?

Он даже не помнит, как ее зовут. Он и не знал, как ее зовут.

А Коля был высокий, нет, длинный, – он же никогда его не видел в вертикальном положении, – ногам его всегда не хватало кровати, операционного стола, перевязочного. И Мишкину все эти предметы коротки.

А глаза действительно были голубые. А волосы каштановые. Но написать-то все-таки надо.

Он разгладил ладонью бумагу, взял ручку... «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино...»

– Евгений Львович, вас Игорь Иванович в операционную просит зайти.

– Иду.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Нина как бы вжалась в угол диванчика, подвернула под себя ноги, обтянула колени платьем и, как только ее собеседница закончила свой длинный словесный период, тут же вступила:

– Нет, нет, Анна Сергеевна, брючный костюм настолько удобен, что стал просто первой необходимостью. Это не мода-однодневка, это удобно, это останется на многие годы. И хорошая портниха может чудо сделать. Брюки могут скрыть многое ненужное для демонстрации...

– Или наоборот, могут выпятить недостатки.

– Обнаружить недостатки может все, если про свои недостатки не думаешь. Не думаешь, как их скрыть.

Разговор начинался хороший, серьезный, действительно важный, но тут в комнату вошел хозяин и, конечно, все испортил.

Нина после работы отвезла своего начальника Сергея Борисовича домой и задержалась по его просьбе. Они пообедали, потом пили чай, а потом сидели курили и вели обычный пустой застольный разговор. Сергей Борисович вышел к телефону, и начался разговор уже другой, актуальный. Обе дамы оживились, посерьезнели. Но вот опять пришел хозяин и все сбил на заботы и дела.

– Был, Ниночка, я у вашего приятеля в больнице. Я вам скажу существенную разницу: мы делаем так, чтоб человек, сотрудник, помощник, я – были заинтересованы в деле, в работе. А у него дело, работа заинтересованы в человеке, в работнике. Как это получается?! Я могу всех выгнать – ничто и никто на работе не пострадает при этом. У него не так. Какая-то паразитическая внутренняя ответственность за слово, даже за мысль неизреченную, так сказать: он как будто понимает, что каждое слово, мысль – чуть родившиеся только – быстро стремятся стать фактом, делом – хотим мы этого или не хотим. Я посмотрел его работу, снимки рентгеновские – крайне обидно. Весь материал пропадет. И он безвестен.

– Да, Сергей Борисович. А какой материал!

– Конечно. Может украсить любую клинику. И его жалко, он-то на все махнул рукой. А можно сделать человеком его.

– Но как ему помочь?

– Надо как-то заставить его обратиться за помощью к клинике, например к нам. Мы б ему подкинули людей, скажем аспирантов, они бы систематизировали все, сделали бы несколько статей, где он бы был первым соавтором. Было бы написано, что это наша клиника, – статьи бы получили зеленую улицу. Ему, в конце концов, можно сделать, вернее, написать диссертацию. Клиника только б выиграла от этого.

– Да он не хочет иметь дело с клиниками. Так он хозяин. А клиника его прижмет.

– Конечно. Прижать немножко придется. Он должен реже рисковать. Реноме его несколько сомнительное в нашем мире. Но зато весь материал будет опубликован – нам плюс, ему навар, миру помощь.

– А как привлечь его! Эти наши проблемы для него не проблемы. «No problems!» – частая шутка его.

Сергей Борисович усмехнулся:

– Проблемы есть проблемы, и для каждого его проблема самая серьезная. Надо ему объяснить на его языке. Не будут же спорить люди, больные один радикулитом, другой зубною болью, у кого болит сильнее. У каждого своя боль самая сильная. Один скажет, что у него будто весь зад забит зубами больными, а другой ответит, что рот его заполнен большой поясницей. Этот язык он поймет.

– Поймет. И поймет обоих, если помочь не может. Но не проникнется.

– Надо как-то создать ситуацию, чтоб он обратился к нам. Не хочу говорить даже, но вот как бы замарать чем-нибудь, что ли, чтоб можно было включиться и спасти. В конце концов, для его же пользы, для доброго дела, для добра, а не для зла. Поможем и ему и себе, а все общество наше будет знать его работы. А то ведь вон как его ошельмовали – и только потому, что не клиника. Надо ему помочь, Ниночка.

– И ума не могу приложить, хотя помочь ему очень хочется.

– Думайте, думайте. Вы ж хорошо к нему относитесь. И надо быть смелее, помнить свое истинное к нему отношение. Тогда все нормально будет.

– Да, очень хочется ему помочь. Только он не хочет ничьей помощи.

– Его ж материал – это клад! Знаешь, Анечка, мужик совершенно великолепный. Ты б увидела – тоже захотела б нам помочь. Ему помочь. А знаете, Ниночка, позвоните ему сейчас, попросите заехать, скажите, что я хочу посоветоваться с ним насчет жены. У нее холецистит, и скажите, что мне нужен здравый разум практического врача, не отвлеченного наукой. Скажите даже, так называемой наукой. Совет попросим. Он в немедицинской обстановке светский человек?

– Вполне.

– Так нет проблем! Звоните. – Нина сняла трубку.

– Можно Евгения Львовича? В больнице. Спасибо. Извините. Ушел в больницу.

– Позвоните туда. Опять взяла трубку.

– Можно Евгения Львовича? Женя, добрый вечер. Что у тебя случилось? После операции? Язва была?

Длинная пауза. Нина слушала, разводила руками, – мол, простите, не могу прервать. Сергей Борисович тоже замахал руками, мол, ничего, ничего.

– И опять свою кровь сдавал. Ну что за дурацкое пижонство. Ты уже просто кокетничаешь этим. И, по-моему, злоупотребляешь. Зачем тебе самоутверждаться собственной кровью... Ну хорошо, хорошо. Женя, я нахожусь у Сергея Борисовича, у него просьба к тебе: не мог бы ты приехать? Сейчас. Он хочет посоветоваться насчет своей жены... Не знаешь, что делать с больным?.. Вот заодно и посоветуешься с Сергеем Борисовичем.

– Правильно, на его языке надо, – улыбнулся Сергей Борисович.

– Не пижонь, не скромничай сверх меры без нужды. К тому же тебе после донорства твоего сладкий чай нужен. – Смеется. – Получишь. Гарантирую. А я за тобой заеду. Вот передаю...

Сергей Борисович взял трубку.

– Евгений Львович, Бога ради, извините. У жены моей холецистит, не острый, но мне бы хотелось посоветоваться с вами как с человеком, который обладает незаурядным практическим разумом врача. – Смеется. – Я понимаю. Расскажите нам. Это же интересно. Мы недалеко. Она вас быстро привезет. Уже уехала. Спасибо большое вам заранее.

Мишкин положил трубку, вытянулся в кресле, посмотрел на свою перевязанную руку донора.

Конечно, может, он и пижонил, но, с другой стороны, когда начался фибринолиз, когда свертываемость крови и в течение двадцати пяти минут не наступала, обязательно нужно было перелить теплую, свежую кровь. Какое же пижонство, если у них одинаковая группа крови. И в конце концов, когда перелили его кровь, процесс фибринолиза приостановился. Следующий анализ подтвердил это. Можно было, конечно, бегать по больнице и искать других с подходящей кровью, но хорошо бы он выглядел при этом. Просто не было другого выхода.

Мишкин снова начал вспоминать, как он работал в клинике. У него в подчинении тогда было несколько клинических ординаторов. Один из этих докторов приехал к ним учиться откуда-то с Дальнего Востока. Он много знал, много читал нашу и иностранную медицинскую литературу. Имел по каждому поводу свое мнение. На операции он очень любил советы давать. Вначале это Мишкина раздражало иногда. Доктор этот, Кирилл Власевич, вообще

много говорил. Говорил он спокойно, уверенно, больным это нравилось, по-видимому. Обычная манера Мишкина, с некоторой интонацией якобы неуверенности, годилась только для отдельных интеллигентов, а Кирилл Власич, как его все называли, а иногда и КВ, разумеется больше вспоминая коньяк, а не танки времен войны, Кирилл Власич им говорил, как отрубал, – и все становилось на свои места. Больные поэтому чаще обращались к нему, а не к Мишкину, хотя знали, что Евгений Львович главнее и все решает в основном он. Но вообще говорил КВ очень много. Например, в ординаторской. Зайдет, бывало, и вслух: «Что же мне надо сделать? Ах да, ручка мне нужна. Где ж она? А-а, вот и ручка. Та-ак. Теперь и записать можно...» – и все вслух. Так сказать, сам себе и про себя спортивный комментатор. Мишкин к этому относился благодушно. А как-то они вдвоем шли перед операцией по коридору, к КВ обратился больной с вопросом, на который по долгу службы мог лишь Мишкин ответить; но Кирилл Власич ответил, а Мишкин кивком головы утвердил. А потом они начали оперировать, и Кирилл все время советы давал. А шеф их ну и бил же своих ассистентов за советы, говорил: «Спросят – отвечай, а так – молчи». А Кирилл Власич увидит, кровь из сосуда бежит, так сразу и совет дает: «Евгений Львович, зажимчик тут надо». Ясно же: раз кровь, значит, зажим нужен. Подошли к желудку, взяли в руки, надо начинать мобилизацию его – он тут как тут с советом: а теперь мобилизовывать надо начинать. И вот подобными трюизмами заполнял воздушное пространство в операционной. Мишкин хоть и начинал злиться, но в отличие от шефа молчал. А КВ все советы дает и ему и сестрам. Сестры даже во время операции стали с вопросами к Кириллу обращаться. И эта операция так же шла, как обычно. Евгений, как обычно, раздражался. Да, а вспоминать он про это начал как раз потому, что после операции им тогда тоже теплая кровь понадобилась. А мишкинская кровь и КВ кровь одинаковая с больным. Возник спор, чью кровь переливать. Евгений Львович победил – сам дал. А КВ он сказал полусутоливо, чтобы поперед бабки в пекло не лез. Так сказать, на место поставил. Он его и так раздражал подсказками, а тут еще и кровь свою норовит сдать. И вообще Мишкин тогда негодовал на Кирилла – и подсказки, и самоуверенность, и решения, которые предлагает без тени сомнения в голосе. Ну ладно, читал много, память хорошая, все помнит, но практики-то маловато. Чего ж лезешь! А тут и кровь сдать норовит. «Нет, – думал тогда Мишкин, – тяжело с таким работать».

Ну, а больному кровь помогла тогда, выздоровел, кровотечение остановилось. Только и Кирилл тоже сдал свою кровь. Одной мишкинской не хватило.

Мишкин вспомнил, как в следующие дни у него началось сильное обострение псориаза. Он стал думать, искать причину, а потом понял, что Кирилла-то он просто ревнует. Тот действительно много знает, много читает – потому и уверен. А практика прибавится... Ну, много говорит, ну, утомительно немного...

«Ревность у тебя, Женечка, ревность несправедливая», – говорил он себе, разглядывая в зеркале новые участки обострения. Тогда он себя взнуздывал.

То переливание не было пижонством, но что-то было от выставления себя на первое место. Не жертвенность, не героизм – что-то наоборот. Вот и псориаз подтвердил.

Мишкин тогда рассудил, что он «просто профилактировал влияние КВ». Хотя не любил любую профилактику. Он даже профилактику болезней считал опасной вещью. В профилактических идеях, считал он, есть что-то от презумпции недоверия. «Так ведь любого можно начать считать больным, да и лечить будешь стараться всех подряд, лишних, не больных. Ходить будешь, так сказать, со шприцем наперевес. Чудак был. А на Кирилла я тогда, конечно, просто бочку катил, а никакой не героизм вовсе. Да и само понятие героизма! Он очень сомнителен в медицине. Героизм всегда не от хорошей жизни. Геройствовать приходится тогда, когда что-то упущено кем то. Нет уж, лучше без героизма, пусть серенько, но планомерно и надежно. Вот и сегодня этот героизм с переливанием: не было б лучше осложнения – и не было б героического переливания. Посмотрим еще, как будет с псориазом у меня. Посмотрим. Да а! Где сейчас КВ?

Уехал после ординатуры опять на Дальний Восток. Уехал. Но только меня в клинике уже не было».

Мишкин так увлекся своими воспоминаниями, что в какое-то первое мгновение удивился Нининому появлению. Но, естественно, быстро вспомнил.

После обычного светского вступления и предложений, что поездка его бессмысленна, что сказать ничего нового он не может, что вообще это «профессорская блажь» и «ну их всех», они пошли к машине.

У самой машины он задал Нине не понятый ею вопрос:

- Ну как, обострение будет или наоборот? Сумеешь вылечить?
- Что? О чем ты?
- О выделывании человека в человека.
- А-а! Милай! Это невозможно. Поехали.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

– Ох, иногда и трудно с вами, Марина Васильевна. То вы все понимаете, делаете добро, помогаете, то, как зверь...

– То как зверь завоюю я, то заплачу как дитя...

– Вот именно. Переменчива, как давление в первой стадии гипертонии.

– Ну и сравнения у тебя, Мишкин.

– А я не уверен, что вы правильно выбираете моменты, когда нужно выть, а когда плакать.

– А это никто никогда не знает. Когда страшно, тогда выть, а когда спокойно, можно поплакать. Вот, например, когда КРУ приходит – страшно. Они все могут: и выговоры, и начеты денежные, и что хочешь. Можно и под суд попасть за какое-нибудь финансовое нарушение. И не поймешь, за что. Правда, потом объяснят. Ты знаешь, что такое КРУ, кроме того, что это контрольно-ревизионное управление?

– Толком нет.

– Так молчи. Твои штучки чаще всего можно покрывать, но держать на мушке, так сказать, в зоне. А вот вы ни черта не понимаете и лезете в бутылку на ровном месте.

– Ну хорошо, Марина Васильевна, а откуда все понимаете вы? Где учились?

– А я тебе скажу. Мой отец работал в органах НКВД, потом ГБ, как тогда называлось – не помню. И когда я кончила институт, меня взяли в те же органы работать...

– Вот это новость! Я и понятия не имел об этом.

– Ты слушай лучше. Направили меня работать в лагерь военнопленных немцев. Приехала. Ехала я туда напряженная, ожесточившаяся, думала, никакой поблажки выродам. Какие там у них болезни могут быть, когда они столько людей перебили. Пусть, мол, вкалывают, думала я, отрабатывают свои грехи, гады. Была я молодая, красивая, тоненькая – не то что сейчас. На меня, Женя, смотреть приятно было. И не говори мне, пожалуйста, пустых слов светского чудака не на ту букву. Ну вот, значит, в таком духе думала я. Приехала. Сначала они не ходили ко мне. Потому что не болели, – там ведь не выбирали себе врача – и потому не ходили ко мне. Впрочем, в поликлинике у нас тоже не выберешь врача. Ходила, присматривалась. Смотрю, в общем-то нормальные ребята, есть хорошие, есть плохие, ничем особенным от нас не отличаются. Правда, меня все укоряли и говорили, что я так позволяю себе думать, потому что на фронте не была. Но не в этом дело. Пленные производили впечатление затравленных мальчиков. Больше всего было молодых, естественно. Смотрела я на них и думала, что вот эти бедные, затравленные ребята в угоду каким-то бесноватым и их идеям были собраны стадом и загнаны на бойню, где не только убиваем, но и убиваешь. И, как часто на войне бывает, когда законно убиваешь, – звереешь, теряешь человеческий облик. А тут еще им вдолбили, Бог знает что. Об арийском превосходстве, о жизненном пространстве, о необходимости убивать евреев, славян... Сам знаешь, что им говорили. И когда от их всепланетных идей, от превосходства придуманной не ими своей групповой общности ничего не осталось – просто жалкие, несчастные ребята. А работали они честно – много и хорошо. Этого у них не отнимешь. Жили надеждой на скорое возвращение в свой Фатерланд, причем ничего у них не осталось от идей своего Фатерланда с большой буквы. По-нашему с большой буквы – у них все с большой буквы. Тебе, как неграмотному, могу объяснить – каждое существительное у них пишется с большой буквы. Прости за ликбез. И вот я видела, как эти звери, как я думала когда то, поехали домой. Тогда приезжал в Россию Аденауэр, поговорили, договорились и всех отпустили. В те годы все лагеря опустели вокруг. Некоторые там жить остались, квартиры устроили в бывших лагерных бараках. Даже очередь на эти квартиры была одно время. Я еще некоторое время побывала там, да и поехала вскоре к дому, к родителям. Там-то я, Женечка, и научилась выть зверем; впрочем, это я и раньше умела, а научилась я там плакать как дитя. И если я уж пленных немцев

понимала, то уж вы мне ближе и еще понятнее. А когда непонятно что-то, может, и не выдерживаю, начинаю зверем выть.

– А в начальство как вас затащили? Вы ж лечащий врач были? Из реанимации – да вдруг в администрацию. Простите за неизящную форму. Это ж, наверное, тоже сдвиг психический. Теперь простите за грубость. Но реанимация – это ж так интересно.

– Да тоже, я тебе скажу, было дело. Лежала у нас в реанимационном отделении молодая женщина. Какая-то травма была, шок был, ну все как полагается. Клиническая смерть была. Оживили. Сердце заработало, а мозги-то... кора – пропала. Сначала она у нас была на искусственном аппаратном дыхании. Потом дыхание восстановилось. Сначала у нас были какие-то надежды, а потом стало ясно – не жилец. Да, по существу, она уже была мертвая, только сердце и легкие работали. Препарат дышащий – не человек. И стали мы замечать, что живот у нее растет. Сначала думали, водянка, вода накапливается, а потом выяснилось – беременность развивается. Беременность пять месяцев. Ты знаешь, Женя, страшно мне стало! Да и не одной мне, наверное, вот и Онисов со мной тогда там в реанимации работал. Ты его часто ругаешь, да и за дело, а мужик он тонкий, не для хирургии рожденный. Знаешь, какой след оставила эта история в его душе, или в мозгах, не знаю уж где. Короче, прости за высокопарность: человек, по существу, мертвый, а в нем жизнь новая растет. А что делать? Прекратить беременность? Опасно – умереть может, скажем так. Мы-то обязаны все ж до конца тянуть ее. А подойдут роды – ведь, если плод развивается, роды неотвратимы, как смерть за жизнью, – а уж тогда она точно не выживет. А другая проблема: может, на первое место в решениях ставить плод, а не ее. Тогда – кто нам дал право к ней относиться, как к препарату. В общем, думали, нервы себе портили, придумать ничего не могли, а больная к тому же моя была. Представляешь, каково мне писать каждый день историю болезни ее. Я уж эту реанимацию с тех пор, знаешь, в гробу видела. Опять прости за двусмысленность. Дай закурить, что ли. Пока мы мыслили, организм в конце концов не выдержал. Прекратилась и сердечная деятельность и дыхание, и плод погиб там. Все решилось. А если бы нет? Как? Не могла я больше работать там. И вообще я не могу, как ты, получать радость от лечебной работы. Мне предложили пойти в замы главврачей. Я пошла. И началось восхождение по этой линии. Взошла еще на ступеньку – стала главной. А потом и Онисов ушел из реанимации, пришел ко мне. «Возьми, говорит, в хирургию». За год до твоего прихода. Хирург он средний. Но оперирует. Стандартные операции, каких много, делает, помощь от него есть – терпи. Не очень-то он и любит хирургию. Да куда его деть? Администратор никакой. Пусть уж до пенсии у нас работает. Все таки оперирует на нормальном среднем уровне, только удовольствия от этого не получает. Вот я всегда считала, что медицина – это чистая мужская работа и неудачники врачи только женщины бывают, вроде меня. А вот тебе и мужской экспонат неудачника в медицине. И все равно в медицину надо идти мужикам. Это я решила для себя.

– Для себя – это как? За сына решили, что ли?

– Нет. Если бы. Я ему советовала. Не хочет. Он математику предпочитает.

– Видите, умница он у вас.

– Какой там. Математика-то легче. Там соображать только надо. Умница только тем, что понял: соображать – это еще не самое тяжелое. Я тебя прошу, ты Онисова не терзай. Ладно?

– А я и не терзаю. Он мужик забавный. Я его люблю даже. Свои операции делает. Мы с ним тут дежурили на днях. Он про Мазепу мне рассказывал. Читает сейчас как раз.

– В библиотеке, наверное, сидит. – Марина Васильевна сказала это даже с завистью.

– Не знаю. Потом про Карла XII говорил, что Карл не политик был, а воин и рыцарь. Ни одной победой не мог воспользоваться. Ему от войны, кроме славы, ничего не надо было. Война для славы только, говорит, еще больший грех, чем просто война. Это он, говорит, Онисов. А может быть, поэтому, говорит, за рыцарство-то Швеции и пожалован длительный мир. С тысяча восемьсот пятнадцатого года не воюют. Интересный мужик Онисов. Ну ладно, Марина

Васильевна, я чего хочу-то: разрешите Агейкину и Илющенко в расписании до двух ставок поставить.

– Не проси. Потом мне начет будет.

– Какой начет! До двух же разрешают. Ну некому дежурить. Ведь все равно дежурить будут, а бесплатно. Ну не дело – у врачей да еще и отнимать деньги. Вы же это знаете, оплату нашу знаете!

– Все я знаю. Но ты пойми, Женя, нельзя. Сегодня разрешают, завтра нет. Закона точного нет, а всякие письма – сегодня одни, завтра другие. А потом приходит КРУ, и по голове бьют и выгоняют. А куда я пойду? От лечебной работы отстала. Некуда. Как и Онисов твой – некуда ему идти. Некуда, – значит, держаться надо за все инструкции. А в ставках, кому можно и кому нельзя, ты ничего не понимаешь, а шумишь. Если бы оплата дежурств у нас в больнице была бы по дежурантскому фонду – тогда хоть сорок ставок. Но тогда профсоюз, охрана труда считает – сколько остается времени на отдых и восстановление сил. Если дежурство оплачивается, как у нас, то есть имеются ставки дежурантов, то не более полутора ставок. Мы же отказались от фонда ради ставок, чтобы не выкраивать бесплатные дежурства каждому. Понял? Вот мы и крутимся между финансами и профсоюзами. Выбирай.

– Профсоюзы! Онисов говорит, дали бы ему работать на три ставки, он бы подежурил через день месяца три, а потом бы несколько месяцев не работал. Пусть впроголодь, а просуществовал бы как-нибудь. Где-нибудь в тепле, на юге, в Крыму там или в Одессе.

– Эти я законы не знаю. Я ж не юрист.

– Ну разрешите, Марина Васильевна. Что надо для этого сделать?

– Пиши рапорт на имя райздрави, что в связи с нехваткой хирургов прошу разрешить этим двум оглоодам дежурить до двух ставок. Оба подпишемся и пошлем в райздрав на утверждение. Все вместе тогда будем отвечать.

– Ну вот и договорились. Хоть заплатят. А то ведь нет врачей. Можно, конечно, каких-нибудь совместителей на дежурство. Но неизвестные врачи... За наших больных еще не будут болеть как надо. Был же у нас печальный опыт. Ну спасибо, Марина Васильевна. Вот и спасибо.

– Ух, ты и плут, Мишкин. Но ничего, доберемся и до тебя. Погоди.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

- Аллю.
- Евгений Львович?
- Я.
- Здравствуйте, Евгений Львович. Женя, это Нина говорит.
- Ага! Здравствуйте. Как жизнь?
- Жизнь-то ничего. Я сразу к делу, Евгений Львович. У меня есть просьба к вам. В одной больнице, где работает ваша бывшая приятельница и сотрудница Майя Петровна Балдина и моя подруга тоже, сейчас лежит дальний родственник мой. У него обнаружен рак желудка. Заведующий их сейчас болен, а замещает его она. У меня большая просьба – очень хочу, чтобы его оперировали вы. И Майя Петровна просит.
- Евгений Львович, здравствуй. Это Майя. Я присоединяюсь к просьбе.
- Пожалуйста, присылайте.
- Евгений Львович, ты меня прости, а не могли бы вы приехать и сделать это в нашей больнице? Он у меня лежать будет. А?
- Можно и так. В пятницу, например, если ничего не случится. У нас плановых операций быть не должно.
- Спасибо большое, Евгений Львович. Родственники заедут за вами на машине.
- Нет, не надо. Сам доберусь, я знаю, где ваша больница.
- Евгений Львович, а вы не могли бы захватить с собой и анестезиолога, у нас очень плохо с наркозом в больнице. А вот Нина давать наркоз ему не хочет. – Засмеялась. – Она ведь любит добро делать, но чужими руками. Захватишь?
- Хорошо. Я ведь тоже люблю только со своим анестезиологом. Сейчас все от них зависит. Договорились. Только утром в пятницу позвоните в отделение. Вдруг у нас случится что. Если все в порядке, то я буду у вас что-нибудь около часа-двух. Ничего?
- Спасибо большое, Женя, спасибо.
- Мишкин пошел в операционную. Вера Сергеевна возилась с наркозным аппаратом. Разбирала его, чинила там что-то.
- Евгений Львович, ну хоть бы какого-нибудь техника, чтоб периодически следил за аппаратами. Я ж многого просто не умею и не понимаю.
- Мне скажите. Может, я смогу. А техника где я вам возьму? Слушай, Вера, звонила Балдина Майя, помнишь, работала с нами?
- Здрасьте. Конечно, помню Майку. Как я могу забыть.
- Она только что звонила, просила нас с вами приехать к какому-то родственнику одного врача, который нам как-то помог операцию сделать. Желудок. Рак. У них и с наркозом плохо.
- Сейчас?
- Да нет. В пятницу.
- А почему бы ей не перевести к нам?
- Я предлагал. Но она, по видимому, хочет сама за ним ухаживать, наблюдать. Живут там рядом. В общем, хочет.
- А мы как наблюдать будем?
- Никак! Съездим, если надо. Надо же помочь человеку.
- «Нам, врачам, в этом мире хорошо, лучше, чем кому бы то ни было другому. Мы можем оказывать благодеяния лично – вне зависимости от всяких организаций, учреждений, обществ. Так сказать, человеку человек. То есть все могут, но врачам это легче всего. Жизнь заставляет помогать другим, и, при прочих равных, мы, врачи, лучше становимся. Так сказать, по долгу,

по образу службы», – Мишкин глядел в окно операционной и философствовал сам с собой. Он забыл, что ждет ответа. Да они не ждал. Он был уверен в нем. А вокруг лишь узор из слов.

– Ну ладно. Хочет, так поедем туда.

* * *

Как и было условлено, в пятницу звонит Майя Петровна снова:

– Жень, у тебя все без изменения?

– Да. Все в порядке. Скоро выезжаем с Верой Сергеевной, с Верой.

– Ты учти, Евгений Львович, внизу тебя ждет машина. Брат больного на своей машине.

В посетительской у вас ждет.

– Ну и зря. И сами бы доехали. Сколько ж времени сидит уже? Зря ты это. Как он выглядит?

– Ты как спустишься, он сразу и подойдет. Ведь вы, Евгений Львович, личность достаточно узнаваемая, заметная, с прекрасными двухметровыми особыми приметам, а дополнительно я сказала, что с добрыми глазами. Разберется. Нинка хотела заехать, но с утра занята.

– Ну хорошо, хорошо.

– Правда, глаз он не разглядит – он низенький.

– Ну договорились. До встречи.

Мишкин сел в кресло и задумался. Вошел Илющенко с историей болезни в руках.

– Игорь, дай закурить.

– Пожалуйста, Евгений Львович. – Закуривают оба. – Евгений Львович, вот этого больного можно готовить к операции на понедельник?

– Давай посмотрим. Все ему сделано? Так. Анализы хорошие. Гемоглобин достаточный. Рентген есть. ЭКГ – приличная. Белки крови – тоже неплохо. Слушай, а почему у тебя нет реакции Вассермана? Ведь положено.

– Ни к чему вроде, Евгений Львович.

– Ну что за дурацкий разговор. Вчера родился, что ли? Положено. Закон такой. Как общий анализ крови – брать всем. Да это ведь и не прихоть пустая. Ведь на сифилис врач может наткнуться в любой ситуации, он же очень разнообразен. И самому заразиться можно.

– Да мы, как правило, делаем, Евгений Львович. Мишкин усмехнулся и продолжал:

– Будешь оперировать и уколешься. Ну ладно, назначай. А РВ возьми.

Мишкин потянулся, встал, облокотился о верх шкафа, сначала задумчиво, потом яростно где-то под потолком почесал затылок и наконец снял халат, взял книгу и вышел в коридор, где встретил Веру Сергеевну.

– Вера! Ну? Нас же ждут!

– Сейчас, сейчас, Евгений Львович, снимаю халат и бегу.

– Я у главной буду. Будешь готова, забежишь. Мишкин вошел в кабинет к Марине Васильевне.

– Ты что это, кум, в цивильном платье, без халата?

– А вот зашел отпроситься. Нам с Верой надо съездить в одну больницу.

– Что ж ты сначала подготовился к выходу, а потом пришел отпрашиваться? Да ладно, езжай. Я знаю про это.

– А вы откуда знаете? Вот служба! Не успеешь повернуться, уже все знают.

– Да ты не зазнавайся. Кому ты нужен? Кто про тебя докладывать будет?! Майка мне тоже звонила и просила разрешения. Она ж культурная, вежливая. Не то что ты – грубиян. Ладно, езжай.

Майя Петровна встретила их у входа:

– Здравствуйте, ребята. – С Верой поцеловались. – Женечка, посмотришь больного?

Мишкин. Он же ждет, наверное. Надо ему респект оказать. Конечно, пойдем к нему. Ну, а Вере надо вообще как следует его посмотреть. Наркоз давать – не операцию делать. Я, на худой конец, могу ограничиться снимками да анализами. – Они посмеялись.

Вера Сергеевна. Но вот кому необходимо посмотреть, так это больному на хирурга. – Опять посмеялись.

В кабинете надели халаты, затем...

Через полчаса операция уже начиналась. Вера стояла у головы, давала наркоз. Мишкин справа от больного нетерпеливо ждал разрешения начинать. Ждал команды – здесь фальстарт запрещен. Помогали ему Майя и здешний молодой хирург.

– Можно, Вера Сергеевна?

– Начинайте. Начали.

– А как вам тут работается, Майя Петровна?

– Ничего. Как везде. Правда, мы не делаем таких больших операций, как вы там, но работать все равно интересно.

– Да. Это верно. Оттяни крючком. Посмотреть здесь надо. Говоришь, интересно. Интересно-а-а.

– Наверное, все становится интересным, когда чему-то научишься. Не пропадать же добру.

Мишкин усмехнулся. Некоторое время работали молча.

– Рачок-то небольшой. Можно хорошо убрать, чисто и соединить напрямую. По Бильрот первому. А?

– Хорошо бы, если получится.

– Только посмотрим еще, можно ли от поджелудочной отойти. Поставь сюда зеркало, пожалуйста... Да-а... Все в порядке. Отойдем. Начинаем мобилизацию. Вера Сергеевна, все в порядке. Радикальная будет операция. Резекция будет. Как вас зовут, коллега? Алексей Иванович? Алексей Иванович, мы с Майей Петровной кладем зажимы, вы сразу же рассекаете между ними. Чтоб время не терять. Поняли?

Работали молча. Лишь вначале один раз он промурлыкал, что проходим неясно, почему он в этот непогожий день веселый такой. В новом месте неудобно было особенно-то разговаривать. Еще подведешь Майю. И спрашивать неловко – может, не хочет она при всех говорить. Хотя хотел спросить, придет ли Нина.

Осложнений по ходу операции не было. И меньше чем через полтора часа операция была закончена. В конце, когда он пропел, что «к сожаленью, день рожденья только раз в году», – Майя ему сказала:

– Идите, Евгений Львович, в кабинет. Мы зашьем сами. Идите, переодевайтесь.

– Спасибо, – сказал всем Мишкин и ушел из операционной. В кабинете его ждал брат больного, который привез их в больницу.

– Ну что вы нам скажете, Евгений Львович?

– Пока все в порядке. Опухоль убрали всю. Желудок почти весь. Так операция прошла более или менее благополучно. Если послеоперационный период пройдет хорошо – тогда посмотрим, тогда гадать начнем.

– Вы нас простите, Евгений Львович, мы вас вытащили в ваше свободное время, оторвали, так сказать. Нет слов, чтобы выразить вам благодарность, но все же... Извините нас, ради Бога, – и он протянул конверт.

– Да вы что! Нет, нет! Во-первых, я человек суеверный, а мы еще не знаем, как пойдут дела сегодня ночью или завтра. А во-вторых, есть же какая-то кастовая солидарность – как можно брать деньги у родственника врача, да еще с которым работал. Нет, нет. Прекратим разговор на эту тему. И в-третьих, вообще...

Родственник смутился. Стоял, не зная, куда сунуть свой конверт.

– Вы знаете, но нам так неловко. Если бы еще у вас в больнице, а то мы вас...

– Прекратите, пожалуйста. Вы не подождете немножко в коридоре, чтоб я успел переодеться до прихода Майи Петровны?

Этим, может быть, не слишком деликатным способом Мишкину удалось ликвидировать неловкую для них обоих ситуацию.

Родственник вышел, а Мишкин стал переодеваться, и, как всегда, мысли его потекли в русле только что происшедшего:

«Интересно, сколько там было. Неплохо бы мне их сейчас. Гале пальто надо зимнее. Да и за отпуск мы задолжали. Нам государство платит. Вообще-то после всякого большого нашего вмешательства, мало-мальски большого, ну хотя бы как сегодняшнее, человек этот государству уже не нужен. Он инвалид теперь. Мы фабрика инвалидов. В его жизни не заинтересовано производительное общество. Он же становится нагрузкой, обузой, пенсионером. Только потребителем, без какой-либо отдачи. Он может быть нужен только как человек, личность, а стало быть, нужен только близким, родственникам, друзьям, Нине, Майе. Хирургам надо платить только за аппендициты, грыжи, маленькие травмы, за операции при язве, а за эту, сегодняшнюю, можно много и не платить. А ведь этот мужик сегодняшний лег в больницу прямо с работы, наверное. А теперь уж на работу не выйдет. Во всяком случае, в более или менее ближайшее время. Конечно, в его жизни заинтересованы сейчас только его близкие. Действительно, вечно Нина благоденствия кому-то оказывает. Что-то я задумался не в ту степь. Небось просто жалко, что деньги не взял. Нет, нет. Нельзя».

В дверь постучали.

– Можно. Войдите.

Вошла Нина.

– Ну почему ты, Жень, не взял деньги?

– Да не буду я у твоих родственников деньги брать. Да еще неизвестно, выживет ли он, да и вообще...

– Подумай, в какое неудобное положение поставил ты всех. Сколько неудобств и неловкостей. Я вообще в полном дерьме. Они люди состоятельные. У тебя денег, естественно, нет, наверное, и для чего-то именно сейчас они позарез нужны.

– Интересно, а если б мне понадобилось и я б тебе позвонил, ты б не поехала, что ли? Ты-то нам помогала так.

– Я на работе была, на своей. И ты не для себя. А ведь в том-то и дело, что для себя ты мне не позвонишь. А! Не занимайся демагогией. Я ж тебя знаю. Завтра ты наверняка приедешь. Захочешь посмотреть. А нам теперь даже неудобно за тобой машину послать. И мне неудобно будет заехать за тобой. Люди ж должны за помощь реваншироваться как-то.

– Не надо.

В конце Нининой тирады вошла Майя Петровна:

– Все о себе только думаешь. Тебе так легче, а нам каково! А прислать за тобой машину – получится, что мы просто пьем, не думая, и твои силы и твоё время. И в результате, завтра же, всеобщее неудобство. И потеря лишних сил, времени и денег, поскольку еще, наверно, такси возьмешь. Мишкин засмеялся:

– Не морочь мне голову, Майка.

– Если б я еще не знала, как ты живешь! Нина, ну не кретин?! Глупо все это, глупо...

В дверь постучали. Вошел Алексей Иванович: «Запишем операцию?»

Майя Петровна. Ладно, мы сами потом запишем, без Евгения Львовича.

Мишкин. Хорошо было Швейцеру в стороне от всяких организаций и учреждений. Мог лечить и не писать ничего. Где на этой планете еще так можно?! Нигде. Ну, если запишете без меня, буду вам только благодарен. Страсть как не люблю эту часть нашей деятельности.

Алексей Иванович. Тогда я пойду, помогу Вере Сергеевне.

Мишкин. Пойдемте вместе. Я тоже зайду в операционную. Он еще там?

Алексей Иванович. Да, конечно.

Майя Петровна сняла трубку и стала набирать номер.

– Девонька, главная у себя?.. Соедини, пожалуйста... Это я. Балдина. Хорошо, я вас еще застала. У меня к вам вот какое дело. Сегодня мы оперировали моего родственника... Приезжий доктор. Да... Он отказался у них взять деньги. Как мы ему можем оплатить по закону, по государственной линии?.. Только консультативные... Нет, не кандидат... И анестезиолог без степени... Это ж около шести рублей на двоих!.. Нет, уж лучше совсем не надо... Может, все-таки можно придумать что-то... Ну ладно, я на всякий случай спишу у них паспортные данные... Ладно... Ладно... Завтра поговорим. – Майя Петровна положила трубку, посмотрела на Нину: – Ну не идиот? Уникум.

Вошли Мишкин и Вера Сергеевна.

Мишкин. Он хорош. Если швы держаться будут – полный ажур. Собственно, как всегда: как анастомоз. Ну, мы поедем, Майя. Его уже перевели в палату.

Нина. Я вас отвезу.

Вера. Я там все написала, Майя, что как лить. Если что – позвоните утром в отделение. Дома-то у меня телефона нет. Впрочем, сама позвоню.

Майя. Ребята, дайте мне ваши паспортные данные. Оформим ваш приезд как консультации.

Женя. Да ладно.

Майя. Ну зачем это-то? С какой стати!

Женя. Ты думаешь, я помню все эти номера? А с собой у меня нет.

Вера. У меня тоже нет. Завтра приедем – привезем.

Женя. А я даже не знаю, где он у меня. Он ведь редко бывает нужен.

Вера. Ну ладно. Поехали, Женя, домой.

Майя. Ты их отвезешь?

Нина. Разумеется. Я ж сказала.

Женя. Меня в больницу.

Майя. Вот видишь! Еще не сделал всего у себя. Как с тобой трудно. Удивляюсь, что не отказывался сейчас от машины: «Да мы сами доедем!» Ну чего ж ты? Ух, Женька, зла на тебя не хватает.

Нина. Я б ему сказала «сами доедем». – Засмеялась. – Простите, Евгений Львович. Реваншируюсь, дорогой мой «волшебник в голубом вертолете».

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

– Этот больной тяжелый, и я хочу с ним поговорить у себя. – Мишкин вышел из ординаторской, пошел по коридору, но вернулся. – Игорь, как зовут его?

– Сейчас посмотрю. Николай Михайлович.

Мишкин вышел опять. Больной сидел в конце коридора на корточках и курил.

– Николай Михайлович, можно вас на минуточку? Мне поговорить с вами надо. Выяснить кое-что.

Зашли в кабинет.

– Скажите, Николай Михайлович, вы сами-то считаете себя больным?

– Вот я вам скажу, Евгений Львович, что все у меня хорошо. Но вот есть я как следует не могу, конечно. А так я совсем здоров.

– Еще раз повторите мне, пожалуйста, когда вы все это почувствовали.

– Я и не помню точно, но месяца три-четыре, как стало мешать есть.

– И быстро эти ощущения у вас меняются?

– Как меняются?

– Вот появилось у вас ощущение препятствия при еде. Так?

– Ну?

– И вот так в одной поре или стало хуже, еще хуже глотать?

– Менялось, конечно. Сначала просто мешало есть. Потом твердое перестало проходить – я запивать стал, конечно. Запиваю. Я есть стал меньше и похудел.

– Есть стали меньше и поэтому похудели?

– Ну да! Поэтому. Но я не больной, конечно. Есть все равно хочется. Бывает, когда грипп – есть не хочется. Но как начинаю, да каждый глоток запивать надо... я и меньше ем, конечно.

– И вы все время работали, до последних дней?

– Я вот отработал, к примеру, сегодня, а потом пошел к вам. И остался в больнице.

Мишкин сжал руки между коленями: «Кто же мы в их глазах – спасители или фабрика инвалидов? Что он инвалидом был до больницы – не видно...»

– Дома-то сказали?

– Отсюда сыну на работу позвонил.

– А я не видел никого. Не приходят?

– Бывают. И сын бывает, и жена, конечно.

– И вы давно работаете здесь, на этом заводе?

– Да вроде бы с детства, и опять же недавно.

– Это как?

– Я до войны начал работать здесь. А потом в войну ушел – как все. Потом опять вернулся – работал здесь. А потом на целину уехал.

– Вы! На целину? Это молодежь все больше уезжала!

– А я с женой ругался тогда. Много не пил. Но гулял немного. Пришел как-то – она ругается, конечно. Я ж не маленький. Что такое! Пошел и подался с нашей молодежью. Три года. Вернулся вот. Работаю. Толстый был – приехал.

– А толстый почему? Пил там?

– Не очень. С полочки пили. По праздникам. С полочки всегда, конечно. Толстый был – похудел сейчас. Потом худеть стал.

– Давно худеете?

– Года два. Не меньше.

– А сейчас еще больше похудел?

– Не ем же. Мало.

- А на войне? Ранения были?
- Малость самую. В ногу вот – без кости. Живот еще – тоже не сильно, конечно.
- Сколько вам сейчас?
- Пятьдесят пять. Женина пенсия. Сейчас и пить не пью совсем. По праздникам с сыном.

Как вот приехал – с получки не пьем. Работаю – это да.

- И вы всегда в этом районе жили?
- Родился тут – где вам корпус строят, дома наши стояли. Бараки такие, двухэтажные.

Знаете?

- Ну да.
- Тут я родился. Рядом. А сейчас вот дом мой, девятиэтажный. Из окна виден. Видите?

На седьмом этаже мы с женой. Квартира. Одна комната. Сын на пятом. У него двое. Дед я. Двое у него.

- А у вас один?
- Зачем! Дочь еще. Она у мужа, конечно, не здесь.
- А что-нибудь болит сейчас?

– Нет. Вот с едой только трудно, глотать. Сейчас жить ничего. И моя успокоилась. Раньше, бывало, соседи с ней заведутся, пойдет на кухню. Сейчас на пенсию вышла. Телевизор смотрит, конечно. Сейчас спокойно нам.

- К сыну вниз ходит?
- Это да. А сын говорит, плохо сейчас. Раньше, говорит, квартира общая когда была, веселее. Придешь с работы, к кому зайдешь, выпьешь вместе, поговоришь. Это правда. И телевизор смотришь вместе, в коллективе, конечно. А потом во двор выйдешь вместе. А теперь все сидят у себя, у телевизоров, – и не видишь никого. Летом лучше. Во дворе столы. Домино. А сыну все мало. Пройдет. У него свои растут.

- Николай Михайлович, надо вам операцию делать.
- Понимаю, понимаю, Евгений Львович. А что там у меня? Может, и само пройдет?

Погодить?

- Нет. Надо. У вас и не проходит еда поэтому.
- А если запивать?
- Вы запиваете. Вам же хуже становится.
- Стало немного хуже. Но можно жить.
- У вас, Николай Михайлович, доброкачественная опухоль, как жировик, но в пищеводе.

Она закрывает ход. Ее надо убрать.

- Жировик. Не рак, значит?
- Не рак. Но оперировать все равно надо. Закроет совсем.
- А не опасно?
- Опасно. Но если будет очень опасно, то мы удалять не будем, а сделаем в желудке дырочку, и придется вам есть через трубочку.

- Какая ж еда!
- Временно. А поправитесь, наберете сил, тогда сделаем все как надо. Надо, Николай

Михайлович.

- А кто оперировать будет?
- Я буду.
- Ну ладно. А когда?
- На той неделе. Скажем еще. Пусть только ко мне ваши зайдут до операции.
- А жена, наверное, уж тут, ждет внизу, мы договорились, конечно.
- Вот сейчас пусть и зайдет тогда.

Мишкин остался в кабинете и стал рассматривать какую-то книгу. В дверь постучали.

- Войдите.

Жена полная. Трех надо сложить таких, как Николай Михайлович. Но он-то болен, он истощен. Он-то должен чувствовать полное отсутствие сил. Интересно, а до болезни какой он был. Раза в два, наверное, толще.

Мишкин объясняет жене.

– Да я и сама вижу, плохо. Тает мужик на глазах. Я ему говорила – пойди к врачу, может, рак, а он... Ну сейчас хоть не пьет. Сейчас хорошо все. Обязательно, товарищ доктор, операция? А то нам хорошо все сейчас. Сын рядом. А не умрет от операции, товарищ доктор?

– От болезни он точно умрет. У него рак.

– Я ему говорила. А он вот не ходил. А мне говорит – жировик там.

– Он не знает. И вы ему не говорите.

– Нет. Зачем? Не скажу. – Она вытерла глаза тылом кисти. – Не скажу. Сыну скажу.

– Сыну скажите. Операция опасная. Есть, правда, небольшой шанс, что там жировик, но вряд ли.

– Ну, если надо. Но он хороший сейчас. Вот худой только.

– Операция очень опасная, даже если мы сумеем убрать все, если опухоль небольшая. А если нельзя, надо делать дырочку в желудке и кормить через трубку.

– А нельзя без нее?

– Он умрет от голода.

– А как же сказать про дырочку?

– Не надо ему говорить. Это я сам.

– Значит, без этого нельзя?

– Если удастся – сделаем без трубочки.

– А без операции нельзя?

– Нет.

– А когда будет операция?

– На той неделе. Мы в пятницу, завтра, скажем ему. А он вам.

– Ну, раз надо. А то сейчас хорошо нам. И сын здесь, ниже. Внуки. Дочка бывает. Я на пенсии. Телевизор. А на сколько он здесь? Через сколько ему выписаться можно будет?

* * *

МИШКИН:

– Больной спит?

– Да. Уже. Интубируем.

– Ну, я моюсь тогда.

И я начал мыться. Рядом моется Игорь. Мы перекидываемся, как всегда, словами, чаще всего ничего не значащими. Третий ассистент – молодой врач, интерн – первый год врачевания. Им хорошо сейчас, молодым. Пять лет учатся, потом шестой год доучиваются на какой нибудь кафедре по избранной специальности, и еще седьмой год в больнице интерном, и лишь только потом уже выползают на самостоятельную работу. Семь лет. Хорошо. А нас выкидывали, катапультировали в работу. Меня, как щенка в воду, в деревню после пятого курса. Говорили, что это хорошо, быстрей, дескать, научусь. Про больных уж я не говорю. А вот что это нам стоило. Как говорится, нервные клетки не восстанавливаются. Если Сашка пойдет в медицинский, ему легче будет, когда кончит, если попадет. Если попадет. Куда мне сегодня идти надо? Не могу вспомнить. Хватит мыться.

– Давай, Игорь, кончай. Не баня.

Ну и халаты у нас. А мне и вовсе очень короток. Не на бал. Хорошо и так.

– Можно йодом его?

– Можно.

Ровно закрасил. Полтела закрасил. Теперь ребра посчитать. Где разрез сделаем? Здесь спиртом надо. Наметим.

– Дайте, пожалуйста!

– Что?

– Спирт!

Вот как теперь. Когда они сами знают, что дать, – лучше. Накрываю простынями.

– Я сверху. А ты снизу накрывай.

– Свет направьте.

Руками все приходится. А в институте кнопками свет направляют. Куда же я сегодня должен идти? Анестезиологи, по-моему, полностью готовы уже.

– Можно начинать.

Так. Сразу крючками, ребята. Правильно все. Кровь останавливать особенно не приходится. Ага, прошел.

– Пневмоторакс.

Если легкое не очень запаяно, к пищеводу подойдем быстро. Да. Вот. Потом. Темные простыни лучше. Сначала диафрагму рассеку. Шить надо. Дают, не спрашивая. Сейчас-то конечно. Почему каждая работа обезличена? У нас в душах, наверное, конвейер и комбинат. Раньше сестра играла большую роль. Операционная сестра. И сейчас большую, но не так. Личные качества не так уж важны. Важны, но не так, как раньше. Кто говорит, что очень важно, – это больше для форса треплются, наверное. Сестра нужна, чтобы стояла много и давала все, не спрашивая, что нужно. В маске она хорошенькая. Лучше, чем с открытым лицом. Лоб хороший. Здоровая опухоль. Отойду ли?

– Смотри какая. Наверное, не удалим. Тогда трубочку. Куда же я должен идти сегодня? Ух ты, и поджелудочная захвачена. И край печени. Узлы в клетчатке. Если здесь попробовать. И риск большой. Даже если удастся, работы часа на четыре минимум. Риск здоровый. И толстый кишечник, забрать участок придется. Это началось с желудка, потом на пищевод поползло. Работка! Я вам скажу! А! Конечно же с Ниной куда-то иду. Тот-то ее больной, родственник. Поправился. Позавчера звонила. Сейчас тридцать пять одиннадцатого. Она же говорила... Нет, ничего у меня здесь не выйдет. Трубочку поставим. А если отсюда попробовать подойти? Сплошняком все. Попробовать если? Смертельный риск. Смертельная вещь. Болезнь тоже смертельная. А здесь отойду? И здесь не подойти. Можно, конечно, но... Если аорта захвачена – тогда все просто и говорить не о чем. Кто-то предлагал, не помню кто: пищевод с куском аорты забирать. А потом пластика аорты синтетикой. Где-то статья была. Или, как говорится, личное сообщение. Хм. Здесь кровит.

– Дайте зажимчик. Теперь нитку. Вяжи. Ничего не выйдет у нас, наверное. Здесь давайте подсечем. Вяжи.

Если здесь иссечь, интересно, удастся ее убрать полностью? Уходит. Риск большой. Работы на целый день. Не выдержит. Риск. Рака не выдержит тоже. Нет. Лучше не делать. Пищевод выделился хорошо. Отошли. И от аорты отошли. Помрет. Риск большой. И меня ругать будут со всех сторон. Но надо делать. Все-таки, если есть шапс, надо его использовать. Все, говорит, по своим квартирам у телевизоров. Еще пару лет, а может, больше посидит у телевизора. Но не работник он навсегда, это точно. За что же мне платить – поставщику инвалидов, – если только все хорошо будет. Может и сейчас умереть. Сразу после операции. И меня ругать будут. Вот и здесь мобилизовать удалось. Уберу здесь. Большой риск. Не сказал он – от дочери тоже есть внуки? Вся опухоль, пожалуй, уйдет. Узлы эти с клетчаткой уйдут. Ну, что буду делать? Да я уже делаю! Черт! Зачем. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам...» Зря я это. Может, поживет.

– Надсеки здесь... Угу... Ну вот... так, значит...

Операцию эту Мишкин сделал радикально. Убрал и опухоль, и все узлы-метастазы, и все пораженные органы. Нарушу плавный хронологический ход сюжета: этот больной выздоровел и выписался впоследствии. И сколько лет продлится успех этот – неизвестно. Но пока Николай Михайлович сидит у своего телевизора, чуть выше сына своего, и доволен. Жена довольна тоже. И сын доволен. Внуки с дедом гуляют. А дочку Мишкин так и не видал.

Да и не Господь же он Бог, чтобы решать, кому и сколько жить. Как всякий эгоист, он думал, что может он, а что не может. Удалить опухоль он, оказывается, мог. Как всякий эгоист, он подумал, что он может или не может, а делал, что получается. Получилось. Он думал о себе – не о других. Не Господь же он Бог, в конце концов, чтобы решать за других, жить или не жить.

Но это будет.

А сейчас он кончил оперировать. Он помнил, что ему с Ниной надо идти в ее институт на выступление какого-то ученого, кандидата наук, гипнотизера. Вроде как бы он наукой занял этот вечер. – И еще они с Ниной должны заехать к кому-то, к знакомому ее. Посмотреть обещал. Опять у Нины кто-то болел. То ли ему хочет помочь, то ли больному.

И вот он уже в институте. Нина обещала отвезти его после в больницу. Надо же будет посмотреть этого больного, сегодняшнего.

В большом зале около пятисот человек. Лишь на сцене полусвет. Лектор, выступающий, гипнотизер – не знаю уж и как его назвать, человек ниже среднего роста, с чуть-чуть начинающейся лысиной, без очков и с вполне обычными глазами, без какой-либо особой пронзительности, первую половину встречи, вечера, лекции – не знаю, как это назвать, – рассказывал про гипноз, самогипноз, про массовый гипноз, про Месмера, про Мэри Беккер Эдди, про Сеченова и Павлова, про мозг, физиологию и сон. Временами казалось, что он совсем забывает о медицинском контингенте слушающих. А может, он с полным презрением относился к знаниям коллег. А может, просто такое снисходительно-презрительное отношение позволяло ему самому себе казаться сильным, и легче было их в дальнейшем подчинить. Кого подчинить, а кого и нет. Все равно это было интересно. Он готовил себя и зал ко второй половине, ко второму отделению, к художественной части – не знаю уж как и назвать все это. И это не знаю, как назвать. Во второй половине встречи, скажем так, он, по желанию присутствующих, стал проводить сеанс массового гипноза. Желающих было много. Много было и скептиков.

Мишкину была неприятна сама мысль о возможности гипноза, и, по-видимому, Нину он тоже заразил неприятием подобной демонстрации. Бездумное подчинение души и мысли, да еще массовое, да еще на виду. Пассивность и подчинение оперируемого все-таки где-то происходит за семью стенами и замками и, главное, один на один.

Сейчас Мишкин не был против этого сеанса, он не хотел сопротивляться, но ему заранее неприятно от возможного представления, он готов был даже самым первым отойти в призрачный мир подчинившегося сомнамбулы, лишь бы не видеть других в таком же положении.

Лектор ходил по сцене, держа в руках какую-то блестящую штучку на уровне своих глаз, и монотонно произносил наставления. Он предлагал поднимать руки, сцеплять их пад головой, сильнее сжимать пальцы, смотреть на эту блестящую штучку перед его носом. Он объяснял всем, что они хотят, что они чувствуют, что им надо делать. Некоторые очень быстро впали в сомнамбулическое оцепенение. После этого лектор стал ходить по краю сцены, продолжая свои монотонные указания, которые, казалось бы, нелепы и примитивны, но оказались крайне эффективны, он как бы всматривался и выискивал, кто там еще не подчинился обаянию всеобщего подчинения и на кого надо воздействовать активно и индивидуально. Впечатление, что он искал еще кого то, которого очень хотелось бы включить в число поверженных.

Мишкин сидел недалеко, и было впечатление, что гипнотизер – кандидат наук – увидел перед собой гиганта с мягкой улыбкой и добрыми глазами, к тому же гигант доброжелательно смотрел вперед и на него, на лектора, который, казалось, хотел сам побыстрее увязнуть в сетях гипноза. Лектор сосредоточился на этом мягком, податливом, несопротивлявшемся гиганте.

И Мишкин не сопротивлялся, не боролся, не говорил себе: не хочу, я против, не буду – у Мишкина были свои заботы. Что ему, в конце концов, бушующий вокруг гипноз. Он давно уже отвлекся, он сначала думал о больном в целом, потом о больном в операции, потом о нем же как о Николае Михайловиче. Потом он снова проигрывал всю операцию. Потом он начинал жалеть больного, поскольку он не мог этого делать во время операции.

Что ему какие-то полусверхъестественные, полумистические и эффективные воздействия на психику, когда у него свои заботы есть: он думал о больном и о себе. Он не думал о желаниях, нуждах, попытках как этого лектора, так и всех остальных находящихся в зале. Потом он думал о Гале, потом он думал о Сашке, потом опять стал жалеть больного. Он его жалел и за то, что они в операционной делали с ним что хотели; как только тот согласие на операцию дал, больной ничего не мог сказать уже – ни да, ни нет. Один лишь раз он только согласился.

А потом ученый лектор прекратил воздействовать на людей в поисках новых сомнамбул и занялся теми, кто ему уже подчинен. Человек восемь вывели на сцену, и там они по велению этого человека делали и представляли всякие несуразности и необходимости, с точки зрения этого ученого на сцене и, наверное, и с их точки зрения, если в такие периоды у этих людей бывает точка зрения.

Мишкин уже начал нервничать. Он хотел оставить это место, у него было дело, он спешил.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Опять выходной день. Мишкин уткнулся теменем в верхний край оконной рамы и смотрит вниз. Если взглянуть бы на него снаружи, наверное, никакой мысли не заметили бы. А может, ее сейчас и нет. Смотрит, а не думает.

Впрочем... Впрочем, именно это он и думает.

– Папа, а почему ящеры все вдруг умерли?

– Слишком большие были, – охотно отключился в беседу. – А шарик наш приспособлен для более невесомых тварей. А те никуда не спешили, а при таком верчении быстром земли нашей не поспешишь – вымрешь.

– А ты, пап, любишь спешить?..

– Женя, поедem к Мите на дачу. Люба давно нас зовет. У их Сашки сегодня день рождения. – Галя дала возможность не отвечать.

– Уumm, – неясный жест плечами и бровями.

– Что ты мычишь! Они ж ровесники. И Сашке нашему интересно.

– Верно! Поехали быстрей, пап.

– Уumm...

– Ну собирайся тогда.

– Ну что мы туда поедem?

– Поехали, Жень, поехали. О парне-то подумай хоть.

– Вот и зудишь и зудишь, никогда отдохнуть в воскресенье не дашь. Вечно шило у тебя. И не в себе, а в руке – для других, для меня. Отстань ты от меня. А?

– Поехали лучше, пап, а пап, поехали, а?

– Брось выпендриваться, Жень, какое шило, и Сашка, видишь, просит. Поехали.

– Отстаньте вы от меня. Кто мешает? Всей езды от дома тридцать минут. Садитесь и катайте.

– Мы ж вместе хотим, Жень. Не будь «грюбым и дикимь». Одевайся, брейся. Давай.

– И бритва у меня плохо работает.

– Бриться-то ею можно пока.

– Больно ты деятельная. А ты посиди лучше, подумай, посозерцай. Что-то делать, двигаться... делать ведь легче, чем думать.

– Думатель. Потому ты и хирургией занимаешься, что делать можно. Надо делать. Думатель.

– Я тебя прошу – не вставай между мной и работой!

– То-то ты и хочешь подумать, посозерцать. А на даче небо, трава, деревья, простор – сиди и думай, думатель. Ну, иди поделай.

– Дура. А куда Сашка пошел?

– В ванной переодевается.

– Ну вот и ежайте вдвоем, – опять активизировался Мишкин, глядя на Галю, словно моська на... – Давай так. Вы поедете сразу, а я пойду посмотрю больных в отделении и приеду следом. От больницы это не дольше пятнадцати минут.

– Ну зачем! Тяжелых больных нет. Чего пойдешь?!

– На даче ж нет телефона. Уеду. Так хоть посмотрю, не назревает ли чего.

Вошедший Саша также поддержал идею ехать раньше, не дожидаясь папы, – все ж там ровесник, товарищ, тезка. «А папа следом».

Галя с сомнением покачала головой:

– А может, вместе зайдем, подождем тебя? – Ясно было, что Галя сдала позиции, отступила и почти полностью истреблена. Его нежелание, его неохота были сильнее. Галя была права

– на работу звала «неохота» его. Последняя попытка, арьергардные бои: – Экий незаменимый! Незаменимых людей нет! – Тут она ошиблась и дала подставку, открыла клапаны для новых потоков и прений.

– В общественных отношениях, может, и нет незаменимых, а вот в личностных – еще как есть. А лечим мы не общество, а личностей. Потому и незаменим.

– Евгений, ты морализируешь, – значит, ты не прав!

– Здрасте. Точка зреньица.

– А что?!

– Да ничего!

– Гуманист! Гуманист абстрактный.

– Нет такого. Гуманизм абстрактный – абсурд. Гуманизм, как и любовь, может быть только конкретный, направленный на объекты, на личности, на больного, например. Вот.

– Ну, занудил, проповедник, моралист, сектант.

– Дура баба. Ну что тебе надо?! Езжай. Пойми ж ты меня правильно, ведь жизнь показывает, что мне надо и по выходным зайти туда.

– Вот-вот. Весь набор выдаешь. Сам говорил, что как только начинают просить правильно понять или апеллируют к тому, что жизнь покажет, – тут-то и ищи фальшь, или корысть какую, или просто лень и эгоизм. Нет, что ли?

– Ну что с бабой говорить! Пойти взглянуть я должен. Нет ничего – приеду следом. А если что есть, значит, не зря пришел. Все! Я пошел. Ждите меня там.

Как говорится, сказано – сделано, и Мишкин уже в отделении.

– Ну как, Игорь Иванович, дежурится?

– Как обычно.

– Спали, ели, гуляли?

– Разгуляешься. Сейчас вы за нас пойдете гулять.

– Это да. Придется. Раз так говоришь.

– У нас все в ажуре, Евгений Львович. Вот только этот с желтухой температурит.

– Там-то рак. Что сделаешь. Но желтуху надо ликвидировать, наверное. Не срочное дело, правда.

– А что, если мы сейчас? А, Евгений Львович? Ведь от желтухи, от интоксикации он может умереть. Еще до раковой смерти.

– Может, конечно, да неизвестно, что лучше.

– Но ведь желтуха с температурой. Может, лучше сегодня?

– А может, это и мысль. Тогда на завтра можно будет еще что-нибудь, кого-нибудь назначить.

– Или действительно вам лучше погулять.

– Нет, нет. Давай делать.

– А наркоз?

– Наркоз, наркоз. Позвони Вере Сергеевне. За полчаса доедет.

– Она звонила утром. Уехала на дачу куда-то. Может, сестры сами дадут? Или, может, Нину вашу позвать?

– «Вашу»! Не принимай возможное и вероятное за очевидное и свершившееся. Ее можно вызвать, только когда самый край и некуда податься. Понял? А то она тоже решит, как ты. «Ваша»! Уродонал Шателена.

– Что, что?

– Шателена, говорю, уродонал.

Несмотря на двухметровый рост Мишкина и на вполне приличный, во всяком случае выше среднего, рост Илющенко, они в своих креслах были похожи на двух гномов, замышляющих недоброе, хоть и праведное. Если смотреть сзади на спинки кресел, видны только белые

колпаки: остро поднятый и вытянутый кверху колпак Игоря Ивановича и закругленный, обтягивающий темечко колпак Евгения Львовича. Непонятными звуками выпадал кусками разговор в окно, если кто слушал на улице непосвященный.

– А вот если бы в детстве книги читал, знал бы, а не говорил глупости. Лекарство такое было в начале века от камней в почках. Читай «Конduit и Швамбрия». Как я эту книгу любил!

– Не понял, Евгений Львович, при чем тут.

– При том, что звучит противно – уродонал Шателена. Еще там было имя, тоже лекарство, кажется, – Каскара Саграда. А может, я путаю. А во-вторых, в книге этот уродонал подносился как враг всего номер один – некий адмирал Шателен. Противно, в общем. Сестры дадут. Командуй, адмирал.

И опять, как говорится, сказано – сделано.

Конечно, это оказался рак. И опухоль располагалась у самого начала протоков, так что желчь в кишку отвести не удавалось. И конечно, никакой срочности. Пришлось Мишкину выдумывать, как сделать обходной путь для желчи. Игорь проделал новый, другой ход из печени в желчный пузырь, а пузырь сшил с кишкой. Мишкин Игорю помогал. Все это было бессмысленно, так как рак был уже сильно запущен и больному в любом случае ничего не могло помочь, даже если осуществляются небольшие возможности после этой операции – уменьшить или даже совсем ликвидировать желтуху. Мишкин оставил Игоря Ивановича одного зашивать кожу, а сам пошел в ординаторскую.

Вскоре пришел и Игорь:

– Евгений Львович, а как называется это вот, что мы сделали?

– Напрасный труд.

– Ну, это понятно, а операция эта по автору ведь как-то называется?

Позвонил телефон. В приемное отделение привезли тяжелого больного. Игорь пошел.

Звонит:

– Евгений Львович, прободная.

– Желудка?

– Вестимо.

– Не передразнивай. Бери в операционную. В чем проблема? Соперируете с Агейкиным.

Агейкин! Кончай спать. Работа есть.

– Евгений Львович, отказывается. Больной отказывается.

– Ну и дурак. Он дурак. Уговори. Ты же доктор.

– Не хочет. Уговаривал.

– Клади в отделение. Разберемся.

Мишкин пошел к больному как тяжелая артиллерия. Как правило, после его разговора больные сдавались.

Больной лежит не шевелится. Лицо осунувшееся. Глаза запавшие. Стонет.

– Здравствуйте. Что случилось?

– Болит, профессор.

– Я не профессор, даже не кандидат, а потому на лишние слова время не тратьте. Когда заболели?

– Часов шесть назад. Как ножом в живот ударило.

Врачу всегда приятно, когда больные рассказывают классически, как написано в учебнике, как доктор и готов услышать. Мишкин удовлетворенно и как бы призывая и их быть свидетелями правильности и могущественности медицины поглядел на больных. Но они не оценили классики.

Живот при дыхании не двигался – тверд как доска. Чистый учебник.

– Язва давно у вас?

– Лет двадцать.

Дальше выяснять особенно Мишкин не стал. Все ясно. Он погладил больного по руке и сказал:

– Не волнуйтесь, все будет в порядке. Сейчас сделаем операцию, и все будет в порядке.

– Нет, доктор. Не надо делать операции. Пройдет.

– Да вы что! Пройдет. У вас уже перитонит. Шесть часов прошло. Больше. Тянуть нельзя.

Под наркозом же – все будет в порядке, не бойтесь.

– Мне говорили, лечить надо, оперировать не надо. – Больной говорил с трудом, перемежая слова стонами; но говорил и спорил, возражал.

– А оперировать – не лечить! Кто говорил?

– Профессор Семин меня лечил. Он говорил – не надо.

– Мы... Вы и так время потеряли. Не надо спорить. Надо срочно оперировать.

– Нет.

– Умрете.

– Нет. – Обычно при этом заболевании больные не спорят – слишком больно. Но никогда не бывает «всегда». Вот и этот больной отказывался для своего состояния слишком многословно. – Нет, доктор, профессор обсуждал со мной возможность операции: говорил, лечим пока.

– Но он же вас сегодня не видал. Он кто – терапевт, хирург?

– Семин – хирург. Вот в том-то и дело, что не видал. Мы звонили ему, звонили, а его нет. Воскресенье. Лето. На даче, наверное.

– Ну, все равно надо оперировать.

– Доктор, мне очень тяжело говорить. Больно очень. Помогите. Снимите боль. А я вынужден отбиваться от вас. Где же ваш гуманизм? Профессор Семин, надеюсь, достаточно понимает. Надеюсь, он авторитет и для вас. Больно мне!

Мишкин начал раздражаться. По правде говоря, его удивляло такое многословие. Больным с прободной язвой не до разговоров. Он опять сел и стал шупать живот.

– Да что вы, в конце концов! Я ответственно вам говорю – тянуть нельзя, надо оперировать срочно. Умрете.

– Мне больно. Я, наконец, требую обезболивания.

– Кем вы работаете?

– Я занимаюсь экономикой и планированием нашего хозяйства. Что-то я понимаю!

– Хорошо. Пусть жена ваша, если хотите, звонит кому угодно. Скажите ей. Подождем еще минут двадцать. – В раздражении Мишкин поднялся с кровати резко. Благодаря его росту раздражение проявилось в быстром, дальнем и скором отлете головы кверху от больного. Больной с удивлением резко перевел глаза под потолок. – Пусть звонит. Где жена?

Мишкин вышел в коридор. К нему подошла жена:

– Ну, что делать будем, доктор? Он так страдает.

– Конечно. Но он не хочет оперироваться. А надо срочно. У него язва лопнула. Он не хочет! Вы должны его уговорить.

– Как же я могу уговорить? Он же взрослый человек.

– Как хотите. Он умрет у вас. Или у нас, если хотите. Идите к нему и решайте. Все. Не тяните только сейчас.

– Его лечил профессор Семин...

– Знаю. Но профессор не сегодня его лечил. Такого же с ним никогда еще не было.

– Он очень верит профессору.

– Не тяните время, идите к нему договаривайтесь. Мишкин пошел к себе в кабинет. Следом пришли Игорь Иванович и Лев Павлович.

– Ну и пусть. Я для него, конечно, не авторитет. Он у профессоров лечится. А я какой-то врачешка без регалий. А ведь как быдло считает, как люмпен: хирургу – ему бы только резать. А у него перитонит уже. Хоть бы действительно нашелся какой-нибудь профессор. Он бы согласился. Нельзя же тянуть дальше. Да пусть жена любому профессору позвонит. Лева, пойди подскази ей какого-нибудь профессора. А то еще думать будут, Бог знает, сколько времени. Пойди, подскази.

– Какого?

– Любого. Был бы в чинах. Из любого института. Время жалко.

Мишкин сел на подоконник. Солнце стало жарить в спину.

– Спички есть? – Игорь дал огня. – Черт его знает. Я представляю, Игорь, своего деда или прадеда, который подходил к больному, садился рядом с кроватью в кресло, которое ему подвигали, а не на кровать, как я, верста, превращающаяся в зигзаг, брал больного за руку, вынимал из кармана часы, щелкал крышкой; и это вот лицедейство, этот ритуал, шаманский трюк сразу ставил больного и врача на разные уровни. Врач сразу же становился начальником, даже если больной император. А я! Ворвался в палату, сел на кровать, без особых разговоров сразу стал шупать и что-то скороспело изрекать – никаких ритуалов. Я ему ровня, коллега – в лучшем случае. Мы уравнины. Я могу его поразить только ростом, от которого я сам уже давно устал. Конечно, я могу купить карманные часы, даже, наверное, сделаю это, но как у деда... я никогда не смогу.

В конце этого вопля вошел Лев Павлович и с ходу, так сказать, не перестраивая боевых порядков, включился в беседу:

– Да, вот раньше земские врачи, говорят! Они были покрепче нас. Говорят, одними своими знаниями, руками, глазами...

– Ушами, – поддакнул Мишкин.

– Да, ушами. Все могли – и диагноз поставить, и лечить.

– И ногами?

– Что?

– Что банальности балаболишь? Люди они были хорошие, понял, люди. А любой самый средний врач сегодня намного сильнее самого хорошего врача прошлого. В общем, сильнее, лечить будет успешнее. Медицина ушла больно далеко. Ну, что жена?

Звонит?

– Звонит. Ничего я не подсказывал ей – у нее целый список профессоров. Кто-то ей по телефону сообщил. А мужик-то допоеется. Доходит, по-моему.

Игорь Иванович. Да! Евгений Львович! Совсем забыл. Звонила Марина Васильевна утром, просила напомнить, что завтра нашей больнице сдавать нормы ГТО. Надо максимальное количество людей завтра к девяти часам утра.

Мишкин раскрыл рот. Снова закрыл.

– ГТО сдавать?! Я лично оперировать буду и никого не буду гнать.

– А не будете гнать, никто и не пойдет.

– А это пусть работают общественные организации – им списки в райздрав сдавать после, не мне.

Агейкин. Никто не хочет.

Мишкин. Вестимо.

Илющенко. Надо же! Из райздрава вчера звонили, чтоб все вышли до пятидесяти лет. Агейкин. Побегаем.

Мишкин посмотрел на Илющенко и протянул в его сторону руку, скрученную в виде фиги:

– Вот я побегу. У меня операция с утра. Агейкин. А что вы кричите? Услышат.

Мишкин. И что? Когда наконец этот больной согласится? И он будет умирать, и мы вместе с ним. Пошли.

Все втроем пошли. Больной, естественно, в палате. Жены нет.

– А жена звонит?

– Да, наверное. Никого нет. Воскресенье, знаете ли. Очень мне жаль, что нет профессора Семина.

«Господи, при таких болях и такое многословие и цветистость», – опять подумал Мишкин и вслух:

– Надо оперироваться. – И опять подумал: «Возвратная форма этого глагола смешна».

– Нет, нет. Завтра профессор приедет. Завтра и решим. Мишкин шепнул Агейкину:

– Еще больше стал разговаривать. Это эйфория, уже перитонит. – Потом громко: – Ждать нельзя. Мы теряем время. – Снова пощупал пульс, живот, посмотрел язык, покачал головой: – Нельзя ждать, нельзя.

– А мне и легче уже. Напрасно вы. Ничего, ничего. Завтра. Вот приедет барин, барин нас рассудит.

Мишкин выскочил из палаты.

– Вы видите – это уже эйфория, это перитонит. Язык стал суше. Пульс за сто идет. Надо срочно оперировать. Пойди, Игорь, померь давление. Где жена его?! Пошли.

Жена в ординаторской у телефона. Только что положила трубку.

– Никого, Евгений Львович.

– Надо оперировать. У него развивается перитонит. Он умрет.

– Уговорите его, Евгений Львович.

– А вы согласны на операцию?

– Нет! Как же я могу? Он должен сам. Я за него не могу решать.

– Идите и уговорите его.

– Что вы, доктор! Я сказать ему могу, может быть, свое мнение. А решать он должен.

Как я могу.

– Он у нас два часа уже! Ну, идите к нему. Пришел Игорь:

– Давление держит. Сказал, чтоб лейкоцитоз взяли.

– А что он тебе даст? Наверняка высокий. А если нет? Все равно – это нам ничего не даст. Что делать?! Недавно было письмо министра, подтверждающее прошлые постановления, что больного можно оперировать, только получив у него письменное согласие. Письменное! А то бы мы...

Прошел еще час.

Никаких изменений. Больной отказывается уже с усмешкой. Усмешка – признак эйфории. Эйфория – признак перитонита. Перитонит – смерть.

Мишкин вспомнил Суворова и турок под Измаилом: «Двадцать четыре часа на размышление – воля. Первый выстрел – уже неволя. Штурм – смерть!» А ведь начинается штурм.

Прошел еще час. И еще. Мишкин нервничал, болтал, говорил с кем-то по телефону. Ругал знакомых, которые обращались за какой-то медицинской помощью, а когда им становилось легче, не звоня и не говоря, не предупреждая, не ходили, а врач, которого просили, как дурак сидел и ждал с мытой шеей, так сказать. Мишкин ругал их, обобщал, говорил про неинтеллигентность, хамство, говорил про быдло интеллигентное и про быдло сановное, и... видно было, что он уже на пределе. Он нервничает – дело к ночи. Галя с Сашкой уже, наверное, приехали с дачи. Он не звонил. Галя тоже. Обиделась, может быть. Он не звонил.

Потом Галя позвонила.

Мишкин нервничал.

К ночи профессора в домах также не объявились. Может, в отпуске.

Давление к ночи у больного стало несколько снижаться. Живот вздулся. Язык стал совсем сухой.

Жена также отказывалась от операции: «Раз он не хочет...»

Уже почти ночью Мишкин позвонил Гале, попросил ее приехать, дать наркоз.

Решил делать без согласия.

Илющенко. Зачем вы жену вызываете? Делаете вы не по закону, вопреки инструкциям. А если что случится?! Без согласия, да еще собственную жену вызвал наркоз давать. Скажут: дело нечистое!

Мишкин с удивлением посмотрел на Игоря:

– Да. Ты прав. Но Галя же ближе всех живет.

– По-моему, звоните вы лучше Вере Сергеевне. Пусть дольше, но это лучше.

Мишкин выпятил губы, пожал плечами, посмотрел на Игоря вроде бы с уважением и сказал:

– Ты дежурный, ты и звони.

Больному сделали укол в палате, он уснул, его взяли в операционную, сделали операцию. Да, была прободная язва желудка, был запущенный уже перитонит.

Надо было оперировать раньше.

Когда Марина Васильевна стала разбирать историю болезни, она с удивлением прочла, что больной от операции отказывался и что оперирован он без согласия.

– Зачем же ты это написал?

– А так было.

– Лучше же ничего по этому поводу не писать.

– Жена тоже не соглашалась. Говорила: «Как он».

– Ну, так жди жалобы. И ты действительно не имеешь права оперировать без согласия.

– Знаю. Но он умирал.

– А может, он хотел. Не тебе решать за него – жить или умирать.

– Больной у меня в отделении умирает, а я буду смотреть, что ли!

– Каждый человек, Мишкин, волен сам решать, жить или не жить. Это к самоубийству отношения не имеет. Ты пойми меня – про что я говорю.

– Пусть бы умирал дома. Кто против.

– Ему больно было. Поэтому приехал в больницу. Имеет право – налоги платит.

– Я выучен не для того, чтобы помогать человеку выбирать, жить или умереть. Если я на работе, значит, у нас с больным цель одна – жить. А когда не могу и знаю, что не могу, тогда я должен помочь умереть полегче.

– Ты же умный, интеллигентный парень, а болтаешь, огрызаешься, как стенгазета. Может, ты и прав. Но только я хочу тебе сказать, что о людях, даже когда они болеют, надо думать как о людях. Пусть они сами решают главное в своей жизни. Даже врач не имеет права насильно решать судьбу человека. Поэтому и письменное согласие надо брать. Дурак.

– Мы ж ни у кого не берем согласие.

– Знаю. Не привыкли, но зачем-то это правило существует, не с кондачка, наверное, его приняли или придумали.

– Сначала я буду уродоваться, уговаривать больного на операцию, а когда он согласится, я ему бумажечку-расписочку подсуну. Ничего себе!

– Ну и что! Только надо сначала людей предупредить об этом во всех газетах. А то они, конечно, пугаться будут, если с них расписочку перед операцией. Сейчас я разговор этот завела, потому что ты прямо написал на себя донос – «согласие не получил». Ты поступил, во-первых, неправильно по существу. Во-вторых, коль скоро ты все же решился на это, мог бы позвонить главному врачу и написал бы в истории болезни, что главный врач поставлен в известность. Тогда видно, что ты, так сказать, мыслил и страдал, подошел к этому со всей

ответственностью. А так видна безответственность, и бесшабашность, и легкомыслие, и наглая вседозволенность. Вы, дорогой Евгений Львович, судя по истории болезни, взяли на себя функции Господа Бога. «Я считаю, надо – делаю!» Все-таки не все нам позволено.

– Если больной умирает, я обязан его спасти. Теперь только время.

– Ну ладно, ты, по-моему, уже заиклился. Говоришь со мной так спокойно и уверенно, как будто больной у тебя уже выжил. Кстати, ты помни, что при разбирательствах в инстанциях преобладает презумпция виновности врача. Например, если больной отказывается от операции – виноват врач, не нашедший с больным контакта. Что-то у тебя с этим больным было не то. Мишкин, думай сам, ты кругом неправ. Неправ не только в делах бумажных. Да и больной-то еще очень тяжел. Если он останется жить – тогда ты король. В противном случае – будешь заслуженно есть дерьмо. В тюрьму тебя, естественно, не посадят, но ты неправ, друг мой. Ты лучше подумай, Женечка, в чем ты не прав. К тому времени, когда тебя будут разбирать за это, если будут, ты должен до чего-то додуматься. Впрочем, сроки ни при чем – додумывайся. Кстати, Женя, нам надо что-то делать с установкой рентгеновского аппарата в операционной, этого, вашего, для сосудов.

– Ну и устанавливайте.

– Женя, я хочу, чтобы у нас был аппарат, который ты ездил, выклянчивал, а теперь говоришь как молодой хам. Давай думать вместе.

– А что тут думать! Я понимаю. Аппарат есть, место есть. Устанавливайте.

– Порой мне кажется, Мишкин, что я тебя люблю. А иногда такое зло берет. Вылезает вдруг что-то бездарно-высокомерное, гнусное, не желающее вникать ни во что реальное...

– За что, Марина Васильевна, за что вы меня? Действительно не вижу проблемы.

– Этот аппарат не разрешит ставить в операционной рентгеновская городская служба – операционная не защищена от облучения. А защиту делать – минимум на два месяца ремонт, не оперировать. Город не закроет нас на такой срок.

– Вздор какой-то. У нас же стоит в операционной передвижной аппарат – он такой же мощности. А на передвижном мы заведомо чаще снимаем, чем будем на ангиографе. Посчитайте!..

– А я и без тебя все это знаю. Но есть инструкция: стационарный аппарат – защита помещения, передвижной – защита индивидуальная.

– Но мы не можем ремонт делать. Два месяца!

– Как же быть, Мишкин?

– Ерунда. Давайте установим, и все. Эта служба не ходит, но проверяет.

– Правильно говоришь, но рабочие, которые устанавливают эти аппараты, только у этой службы, стало быть, и знать будут.

– А, черт! А частно если установить?

– А деньги где возьмешь?

– За спирт.

– Это ж большая работа – нужны деньги.

– Сколько?

– Думаю, около трехсот рублей.

– Может, собьемся?

– Сколько ж человек! Я, ты да кое кто из отделения. У тебя есть такие деньги? И даже если ты пойдешь на это, как можно просить у других!

– А что ж делать нам? – Мишкин задумался, а Марина Васильевна смотрела на него с нежной и немножко иронической усмешкой. – Марина Васильевна! У нас же ставки санитарок свободны. Санитарок все равно нет – давайте выпишем на когонибудь якобы работавших, а деньги дадим рабочим.

– Умница! Если зайца бить, он и спички научится зажигать. Я-то это давно думаю. Но знаешь, что это такое? Это нарушение кодекса.

– Мы ж не себе.

– Мишкин, опять ты становишься в позу. Ты помнишь, я тебе рассказывала про одну главную врачессу «Волшебницу», про статью о ней и суд.

– Ну, помню.

– Ну так вот. Ты думай, Мишкин, думай. Позвонил телефон.

– Да. Я слушаю. Да, да. Есть. К сожалению, да (Марина Васильевна прикрыла трубку рукой: «Из горздрава».) Да. А что делать было?.. Конечно... Да, я понимаю, но надо же понять и докторов... Все понятно... Конечно, конечно. (Опять прикрыла трубку: «Уже жалоба. Уже известно им».) Хорошо. Пришлем. Понимаю... Понимаю... Понимаю.

Вошла сестра и что-то сказала Мишкину.

– Сейчас поднимусь. Иду.

Марина Васильевна, опять прикрыв трубку:

– Подожди.

– Идите, идите. Я сейчас буду. Марина Васильевна кончила говорить.

– Ну вот, теперь держать ответ. Надо внимательно проверить всю историю болезни...

– Конечно. Мы ее сейчас обязательно всю просмотрим. У меня больная есть – тяжелый холангит был. В желчных путях во время операции – сплошной гной, никакой желчи, один гной. Что делать – не знаю. И времени после операции уже много прошло. А какие-то кровотечения. За счет печеночной недостаточности, что ли?

– Кровотечения! Холемиа?

– Наверно.

– А печеночные тесты как?

– Относительно ничего... Надо еще раз их проверить.

– Вот и проверь. Ты, может, напишешь в истории, что с ним, с больным, трудно было войти в контакт?

– Да, он профессора ждал, вполне контактно. А печеночные пробы наверняка окажутся плохими. Что делать вот – не знаю.

– Что делать! Корректировать будешь. А о профессоре вы там пишете осторожно. Родственники-то присутствовали при этом?

– Надо узнать, что они написали. Когда наконец у нас будет лаборатория настоящая – ей необходимо электролиты исследовать, солевой баланс у нее надо проверить.

– Ты же знаешь, что на это надеяться нельзя, эту аппаратуру нам сейчас не дадут, сколько бы ты ни стенал. Пошли кровь в городской реанимационный центр. Попроси Христа ради. Они возьмут. Ты же все это знаешь. Первый раз, что ли! А текст жалобы они обещали прислать нам. Это, конечно, очень важно. Историей ты прямо сейчас займись.

– Будем знать жалобу, тогда и историей займемся. А без точных цифр электролитного баланса мы все делаем на авось. Из общих соображений: у больной много натрия, наверное, и мало калия – льем калий. А что ей на самом деле надо? Все умозрительно. Общие соображения. Точно надо знать.

– Вот и пошли им. Будет когда-нибудь и у нас. Не все сразу. Это ж не значит, что мы не можем лечить. А вот неприятности с этим больным уже налицо, ты же, я вижу, к этому серьезно не относишься.

– Вот и лечим «на авось» да за «Христа ради». Как тяжелый больной, так и начинаем прыгать как сумасшедшие.

– Хватит, Мишкин, у нас неприятности, и надо думать, как свести концы с концами.

– Тяжелая больная. Как сводить концы, когда я их не знаю. Никаких данных.

– Ты допрыгаешься до того, что тебе не понадобятся эти концы. Лишат вот тебя когда-нибудь диплома, и никакие твои сверхдеяния не помогут.

– Какие сверхдеяния! Лежит вот баба передо мной, а я не понимаю, что к чему. Кровь у нее понемногу отовсюду.

– Иди и работай... И думай. И прежде чем отсылать историю болезни, возьми и проверь. Как следует! И мне покажи.

– Давайте позвоню сейчас, – может, разрешат.

– Что звонить?! Они сказали, что пришлют, – значит, пришлют.

– Разрешат ли кровь прислать. Сейчас позвоню.

– Иди звони. Подожди. Историю же забыл. Проверить-то надо! На. Возьми.

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

«Ребята!

Привет!

Хирургам клинических высот от, так сказать, практического хирургического низа.

Прошло уже несколько лет, как я ушел и из клиники и из города вашего. Не буду лицемерить – не скажу, что я часто вспоминаю клинику. Мало – ни позитивно, ни негативно. Даже удивляюсь.

Не скажу, что вычеркнул из жизни и из памяти. Что было, то было. Не скажу, что нравлюсь я себе в те годы и в том месте.

Вспомнил я о нашем житье и работе сейчас, поговорив с Сашкой, который пришел из школы и рассказал, как учитель подымал на щит меня и мою работу. Был какой-то абстрактный час у них внеклассный, и посвятили его будущим профессиям и делам их. И говорил им учитель о благородстве и гуманизме медицины и сколь велика и благородна цель исцелять людей. Смешно, что цель и исцелять одного корня, а? И я вспомнил нашего шефа, нашу рабочую доктрину в клинике и сел писать вам письмо.

Сколько мы говорили о цели – спасать человечество, лечить больных от недугов.

Цель – вылечить.

Цель – спасать.

А всего-то надо было, как я сейчас понимаю, – получать удовольствие от каждой операции, удовольствие от своей конкретной работы. И тогда все в порядке – тогда ты хороший профессионал, только тогда и можно помочь, наверное. Получать удовольствие, а?

Написав все это, я понял, что не воспоминания меня подвигли на письмо. Не только воспоминания.

Сейчас у меня цель – спасти и вылечить хотя бы себя. Мой псориаз меня совсем замучил. И вроде бы нет ничего, что бы его обостряло, – а продолжает мучить. Временами даже во время операции он начинает отвлекать меня. От удовольствий, так сказать. Иногда сил уже нет совсем. Уже временами и местами просто болит. Как видно, любую гадость легко заработать и не так-то просто освободиться. Простите за трюизм, за банальность.

Может, у вас в Москве, в ваших корифейских клиниках, корифейских аптеках, есть какое-либо средство магическое? Поспрошайте.

Однажды я оперировал женщину с тотальным псориазом. Я ей удалил желчный пузырь с камнем – и этого оказалось достаточным. Псориаз вдруг исчез, и вот уже три года, как его нет. Уж я слежу. Но что соперировать себе? А я уже готов на все.

Ну ладно, если что узнаете – позвоните.

Если подумать, может, это и было основным поводом для письма. Чтоб не слишком уж хорошо думать о себе. Да и вам обо мне.

Жду вестей.

Привет всем, кто помнит и кто хочет получить удовольствие от моих приветов.

Мишкин»

ЗАПИСЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

– Ну, Евгений Львович! Ну спасите меня! Я ж вам открылась. мне больше некуда идти. А дома меня просто убьют.

– Ну не могу, Людочка. Ну как я могу! Во-первых, за всю жизнь я это делал, может, раз двадцать всего, да и то еще в районе, в деревне, сколько лет назад.

– Евгений Львович! Что мне делать! Ну подумайте сами, Евгений Львович! Мне ж семнадцать лет. Я ни к кому не могу пойти.

– Почему не можешь? Срок и правда чуть великоват. А ты в больницу ходила?

– До восемнадцати с матерью надо приходиться.

– Ты пойми, Людочка, я ж в тюрьму могу попасть. Да и опасно тебе делать сейчас неспециалисту. Срок великоват.

Какой уж раз приходила к нему Люда и пыталась уговорить. Мишкин отлично представлял себе и степень риска и степень ответственности. Представлял он себе и обстановку в семье, да еще и школа...

Он, как всегда, пошел к друзьям.

Володя. Ты что, одурел? Еще и думаешь! Ты же сам рассказывал, что в двух случаях тебя никто не спасет: если ты перелил не ту кровь и если сделал криминальный аборт. Так? Тебе, конечно, видней, но, по-моему, это чистое пижонство даже обсуждать это.

Филипп. Женька, девочка сейчас маленькая, сейчас у нее только ужас перед глазами, а потом все перемелется. Надо по-иному ей как-то помочь. Ты подумай как. Ведь это самый легкий путь. Тебя же никто не спасет – сам говоришь. Думай, а не делай. Придумаешь и ей основательнее поможешь.

Женя. Когда я работал в деревне, ко мне так же пришла девочка, чуть постарше, и говорит: если не сделаете – повешусь. Спокойно так сказала. А я – иди к родителям, повинись. И через полчаса ее нашли повесившейся.

Филипп. Я и говорю, ищи способ, как помочь. Возраст тяжелый, сам говорил, шизофренический возраст. Давай думать. Может, мы можем как-нибудь, подскажи.

Володя. А откуда на тебя свалилась эта девочка? Кто она?

Женя. Нинина дальняя родственница. Или знакомая.

Филипп. Какой Нины? Этой твоей анестезиологини? Ну, кум, знаешь ли! Но кто тебе эта девочка, чтобы так рисковать! Нина! А пусть она сделает. Она же доктор. Вечно она добро какое-то сочиняет.

Володя. Да ведь дело сейчас уже не в Нине. Ему девчонку непосредственно жалко.

Женя. В том и тяжесть. Она десятиклассница. Значит, не доучится. Вся дальнейшая учеба насмарку. Семья дремучая. А девочка не похожа на них. Короче сказать дома она не может. По слухам, да и по моему впечатлению, девочка тонкая, хорошо образованная, талантливая даже, говорят. Нина говорит, что удивительно, откуда в такой семье такой ребенок. А тонкость ее, сами понимаете, особенно опасна в этой ситуации. А сделать Нина и вовсе не может. Она этого вообще никогда в жизни не делала, в деревне не работала.

Володя. По-моему, вообще это пустой разговор. Ты даже технически не в состоянии все это сделать. Где? А инструменты у тебя разве есть? Нет. О чем болтаешь.

Женя. Нина предлагает у нее. И инструменты есть у нее, от отца остались.

Володя. Абсурд какой-то дикий. А Нина живет где-то рядом с тобой?

Женя. Совсем недалеко. Через несколько домов буквально.

Володя. И адрес забудь.

Филипп. Нет, Нина, конечно, лапонька, с какой стати уж так сразу. Но есть же люди, которые всем строят добро, а себе комфорт, но чужими руками. Только я тебе скажу, Женька,

ты не приспособлен для преступлений. Ты обсуждаешь, думаешь, совестишься. А сделаешь если вдруг – и вовсе загнешься. Преступления должны делать люди несовестливые. Раз это сейчас нужно – сделаем. И потом их это не заботит. Не кладется, так сказать, этот груз на шею, не гнет и не гнетет. А совестливые люди не приспособлены и попадают. Ты смотри, сколько ты обсуждаешь. Не для тебя это. Все не для тебя. Тебе что-нибудь попадается слева, тут же это левое дает что-то еще левее и еще, и ты запутался совсем. Не для тебя это.

Володя. Может, ты еще философское эссе напишешь сейчас. Люди конкретно о деле говорят, думают, как выйти из положения, как всех накормить, а ты развел... А что Нина лапонька – это да. Только из тех, что пьют, гуляют, но лишь запутывают всех, да и сами запутываются.

Разговор, конечно, ничем не окончился конкретным. Ребята сказали, что он и сам думал. И просили только воздержаться от решительных поступков.

Да он и сам понимал, что нельзя. И не просто этого не должно делать. Не должно. Плохо это.

Дома он даже не успел поесть. Позвонила Нина и в императивном порядке попросила срочно зайти к ней. И опять начались уговоры. И о таланте, и об учебе, и о семье, и о долге учителей и врачей, и о будущем члене общества, и о женской доле и девичьей беде, – все поднимала она в атаку на его твердость.

Сколько он ни кричал «отстань», «прекрати», «отвяжись», волны ее словоблудия накатывали на него и постепенно размывали его непоколебимую уверенность. Пойди-ка ты справишься с женщиной. Женя забыл: что позволено женщинам, нам и думать «не моги». Они могут все разрушать, ломать, рисковать, терять с несокрушимой верою в свою могучую созидательную силу. Все-таки они рожают детей. А это, по-видимому, главное в этом мире. Но так Мишкин думал много позже этих дней, вспоминая их. Пришла Люда. Нина тут же выкатилась в другую комнату.

– Евгений Львович, ничего не скажете мне, а?

– Люда, прекрати. Этого нельзя делать. Я тебя прошу, давай поедem ко мне в больницу, поговорим с гинекологами.

– Так они мать требуют.

– Я попрошу их. А может, мне или тете Нине поговорить с твоими родителями?

– Нет, нет. Ну что ж, спасибо за слова хотя бы и беседы. До свиданья, Евгений Львович.

Люда вышла из квартиры. Из-за двери раздалось: «Женя!» Он схватился за голову и побежал на лестницу.

– Люда! Вернись. И уже в квартире:

– Нина! Поставь воду с твоими инструментами. Я сейчас приду.

Дома он поел, переделся и вернулся. Гале он ничего не сказал. «Хорошо, что она на работе сейчас».

* * *

И со сроком Нина его обманула. Срок оказался еще больше, чем он предполагал.

Люда лежала бледная, покрытая холодным потом. Ни разу не пикнула! Она все стерпела. Мишкин никак не мог понять, откуда у этой девочки хватило сил терпеть адскую боль. Она молчала, когда он проткнул стенку и инструмент попал в живот. Если б она хоть вздрогнула, он бы обратил внимание и остановился. Она молчала и когда он потянул за кишку. Он заметил лишь тогда, когда разорванная кишка оказалась у него в руках.

Пульс слабый. Кровь хлещет, наверняка и в брюшную полость тоже.

– Нина! Звони немедленно ноль три. Вызови машину. Скажи, массивное кровотечение.

– Ты сошел с ума!

– Звони, тебе говорят! Людочка! Поедем в больницу. Надо делать операцию. Я тебе порвал кишку.

– Расскажут, Евгений Львович. Не могу.

– Люда! Все! Повезу к себе. Маме что-нибудь навру.

– «Скорая» выехала.

Подошел к телефону, набрал номер.

– Алло. Добрый вечер. Наталья Максимовна? Я тебя очень прошу приехать сейчас в больницу...

– Алло. Галя, я еду в больницу, задержусь там... Да. Тяжелый больной. Потом расскажу. До свидания.

В операционной сразу наладили переливание крови. Стало легче – давление поднялось, пульс стал лучше.

– Евгений Львович, вы сами будете?

– Не могу. Я помогу тебе.

– Но вы...

– Не могу. Не мучь меня. Помогать буду.

– А что вы написали в истории болезни?

– Все как было.

– Вы сошли с ума! Это ж тюрьма.

– Была бы жива.

– Может, после операции переделаем историю?

– Будет видно. Но ведь, может быть, придется матку убирать. Как это объяснить?

– Но так же нельзя написать.

– Ты как думаешь! Я хочу в тюрьму, что ли?!

– Ну ладно. Давайте начинать. Потом подумаем. Господи!

– Начинай же! Скорей! Что треплешься!

Пришлось удалить кусок кишки в десять сантиметров, матку удалось зашить.

Все!

Господи, сможет ли рожать?

Мишкин сидел около ее постели. В ногах стояла капельница. Кровь капала медленно, в одном ритме, и ему казалось, что этот ритм самый спокойный в мире, самый хороший, самый спасительный...

К пяти утра давление стало нормальным, и Мишкин пошел к себе в кабинет, где сидели Нина и Людина мама.

– Что там, Евгений Львович, что у нее?

– У нее нагноение кишки, флегмона кишки – маленький кусочек кишки отрезали. Может, обойдется все.

– Что ж такое, и не жаловалась никогда. Хотя плохая лицом была последнее время. Не опасно, Евгений Львович? Жива будет?

– Посмотрим. Всякая операция опасна. Хотите, пойдём к ней. А вы идите домой.

Следующую ночь он тоже провел около Люды, но это уже напрасно, из перестраховки: Люде стало лучше.

На четвертый день вроде бы и сомнения отпали.

Люда стала поправляться, но он все еще оставался в отделении и дома с тех пор еще ни разу не был.

Историю болезни Мишкин не исправлял. Она так и осталась с полной правдой, которую необходимо было скрыть от матери.

Мишкин все рассказал Марине Васильевне.

– Боже мой! Откуда ты на мою голову! Не то, так другое. Нельзя же мне так мучиться только для того, чтобы у меня была хорошая хирургия. Ведь ты же знаешь... – Сама же себя перебила: – О чем это я! Надо же что-то делать. А как девочка? Ничего?

– Прямой опасности для жизни нет сейчас.

– Жива будет, в общем?

– Скорее всего. Я сижу с ней все время.

– Родители не знают?

– Нет.

– Она не расскажет сама?

– Нет.

– Но мне-то как быть, я должна сама пойти на тебя заявить. Ты так все и написал в истории?!

– Все.

– А донос, значит, на меня переложил?

– Я сам напишу.

– Молчи, дурак. Каждый выполняет свою работу. И не лезь. Марина Васильевна обхватила руками голову. Она так всегда берегла прическу! – всю измяла.

– Вот я заявление принес. Прошу меня освободить.

– Освободить! Нет уж, сиди. Хорошо жить хочешь. И донос мне писать. И сам отсюда уйдешь. Конечно, дома-то сидеть, переживать не на людях спокойнее. Нашел выход. Я не могу по закону держать тебя насильно. Подписку о невыезде из больницы не возьмешь. Но если ты уйдешь – это будет непорядочно.

– Да вам же будет легче, если я уйду!

– Не тебе судить, Мишкин. Ты думай о своей легкости, а не о чужих облегчениях. Иди работай. С девочки глаз не спускай – выходи. А я поеду подумаю. Галя знает?

– Нет еще.

Марина Васильевна поехала к своему близкому знакомому, большому начальнику в медицине.

– Петр Семенович, выручайте.

– Что случилось, Маринушка?

– Доктор у меня есть, хирург. Всеобщий наш любимец в районе, гений...

– Гений!? Ну и натворил, наверное. Кто таков? К делу давай.

– Может, и слышали вы, Петр Семенович, Мишкин Евгений Львович, – знаешь, он один из первых удалил тромб из легочной артерии при эмболии...

– А, ты что-то мне рассказывала о нем.

– Ну да. Ну конечно же! А парень какой! Умен – а руки! Высок, статен. Но это все ладно – хирург он от Бога.

– Продаешь ты его, что ли! Несешь, несешь Бог знает что. Случилось что, рассказывай. Что?

– Аборт криминальный, Петр...

– Ты что! Изydi, сатана! Ты что! Не знаешь положение с абортами? Хотел хорошо жить – пусть расплачивается.

– Петр Семенович, он не брал денег! Знакомая девочка.

– Девочка! Тем более. Надо осмотрительней знакомиться. Скажи на милость! Да и не гинеколог к тому же. Пускай своих девочек в больницу посылает. Закон-то есть.

– Да это знакомая сестры его.

– Да какая разница! Что ты меня посвящаешь во все. Аборт! Дома! И все. Больше ничего не надо. Не надо делать плохо.

– Конечно, Петр Семенович, но...

- Какие «но»! Не морочь голову. Как у тебя дела вообще?
- Петр Семенович! Парня же упекут! А он ведь от доброты. Ему же в тюрьме сидеть придется. Я вас очень прошу. Просто личная просьба. Да и жалобы-то от родственников нет.
- Ну а что я могу сделать! Ты сама понимать должна.
- Я никогда, Петр Семенович, не просила вас так. Сейчас – крайний случай, Петр Семенович. Ну просто максимально униженно прошу. Ну, хотите, на колени стану.
- Ну, не морочь голову, говорю. Шутка, что ли! Криминальный аборт. А как узнали, раз не было жалобы? Случилось что?
- В том-то и дело! Перфорация матки, резекция кишки. Сам пришел сказал.
- Что?! Да-а. Это много лет. Что ж можно сделать! Это да, это много лет. Плохо, очень плохо. Хороший парень?
- Парень-то...
- Да-а... Развела ты у себя. Все мы, конечно, не без греха, но такое. Да тебе голову надо оторвать. А девочка-то как? Плохая?
- Сейчас опасности для жизни нет.
- Голову тебе оторвать мало.
- Виновата, Петр Семенович, виновата. Но там видно будет. Сейчас парня от тюрьмы спасать надо.
- Но ты его выгонишь?
- Не знаю. Может, и надо будет, если все благополучно обойдется. Но пострадает-то кто от этого? На нем же вся хирургия в районе держится. Ведь у нас же лучшая хирургия в городе. Лучше, чем в Москве. Ей-Богу, не боюсь это сказать. Сравни отчеты разных больниц в горздраве у вас.
- Незаменимых людей нет. Ты же знаешь.
- Есть, Петр Семенович, есть. Просто любого можно сменить.
- Дала ты мне задачу. А ты к кому-нибудь обращалась?
- А к кому же с этим обратишься? Только если вы сумеете помочь.
- А кто знает об этом?
- Никто пока. Я сама сообщить должна – пока молчу.
- Подожди еще денек, не сообщай. Запиши мне все обстоятельства дела, а фамилию мне его пока не записывай, от греха. Помни, ни одному человеку пока. Через меня же пойдет. Позвоню сегодня, посоветуюсь, что и как надо делать. А ты мне утром завтра позвони.
- Да я приеду к вам спозаранку, Петр Семенович.
- Не надо. Не суетись. А пусть-ка лучше он приедет. Я ему холку намылю.
- Не поедет сейчас. Ты знаешь, какой он. Пока у него больной тяжелый, он из отделения не выходит. А уж такой-то случай!.. Под угрозой расстрела он девочку не оставит.
- Договорились, аллах с тобой, завтра жду. Звони.

ЗАПИСЬ ТРИДЦАТАЯ

«Ребята, дорогие мои, простите это пафосно сентиментальное начало, но так получается. Я не писал вам, не знал, что писать и как писать, и не понимаю я, что теперь я.

Я, с одной стороны, вас недавно видел, когда лежал в больнице, но, с другой стороны, в больнице каждый раз было столько народу, что я ни разу не мог с вами поговорить. Лежу в этом лесном санатории – поправляю здоровьечко. Почему!

Почему черт меня понес в эту бешеную поездку, почему не дождался решения дела – будет ли дело, почему выздоровление девочки так быстро меня успокоило, хотя успокоиться я должен только тогда, когда Люда родит. Почему понесло меня в эту поездку! За что я устраивал себе подарки? Почему, выходя из автобуса, я не думал ни о шоссе, ни о машинах? Почему, думая о прошлом, я не глядел по сторонам на настоящее.

Наказан ли я за поездку, наказан ли за девочку, или все идет стихийно, неизвестно от какой-точки?

Так бессвязно, «импрессионистически», что ли, я могу писать только вам. Примите и терпите. Я хочу написать, что думаю о случившемся. Не о девочке. Это было плохое дело, не должное.

Этим мы уже тысячи раз изорвали свои души и свою, вернее, мою совесть. А вот сейчас что! А сейчас...

Я сижу за столом в маленьком павильончике-ресторане. Стены – почти сплошь окна. Снег – испоганенный лыжней. Дорога – следами машин. Дерево почему-то растет впрытык к стеклу оконному. Непонятно, как строили этот домик. Непонятно, что будет со стеклом, если дерево будет расти. Непонятно, зачем эти люди, числом около тридцати, приехали в этот загородный ресторанчик праздновать пятидесятилетие своей начальницы. А может, она не начальница. Нет, они ей улыбаются ртом, они ее приветствуют руками с рюмками, они желают все встретиться на столетием юбилее, они заглушают себя песнями и музыкой из автомата. Непонятно...

Впрочем, все вздор. Самое главное непонятное – это почему я здесь. Какого черта я, у которого такое неприязненное чувство вызывают шаблонные хитросплетения природы, приехал сюда. Меня так стукнуло, я даже не знаю чем, что на голове осталась вмятина; непонятно, почему я так забочусь о своем здоровье, что уже более двух месяцев, которые прошли после травмы, я не дотрагиваюсь до водки. Почему я так боюсь за свое здоровье, почему оно стало для меня столь драгоценным, что хорошему застольному приюточному общению с дорогими и близкими мне людьми я предпочитаю бережение анатомических отделов и их физиологическое функционирование.

Может, я действительно воспринял все это как знак, данный мне в ощущениях.

Знак мне, который еще и сам не знает, грозит ли ему суд, но думает и помнит о том, что девочка Люда, может быть, никогда не будет иметь детей. Знаки были в действиях моих, я сам их создавал себе, но я не имел глаз, чтобы видеть, ушей, чтобы слышать. Я поехал в этот вояж, в эту гонку, в эту спешку – за чем?! за чем гонка, – и посреди разговора, движения, смеха перестал существовать, но то, что я не существовал, я стал понимать после, когда я существовал снова.

Мы ехали – я смеялся, разговаривал и все равно думал о Люде, о себе, а потом я вышел, а потом меня не было, а потом я еще не понимал, что не существовал перед этим, я не пришел снова в жизнь, а вновь рождался. Сначала я себя увидел перед каким-то домом, а рядом стояли люди, которых я откуда-то знал, не помнил откуда, еще не знал, что это были и будут близкие мне люди; потом опять я не был в жизни – это как воспоминание из детства: кусочек жизни есть – ничего, потом опять кусочек – опять ничего. Затем было приемное отделение – я уже

узнавал. И опять ничего. Потом я в перевязочной – на столе лежит больной, я слышу дыхание неправильное, чейн-стоксовое, – узнаю. Думаю, что я на дежурстве, хочу помочь, смотрю на больного, смотрю на часы, стрелка прыгает по минуткам, я думаю, что для нас (в этот момент я себя, наверное, считал здоровым доктором) это минуты, а для больного – вечность, потом, кажется, я слышу это по дыханию, ему, этому больному, конец. Какие ж тут минуты? А про себя я еще ничего не знаю. Как в детстве.

Как люди будущего знают о прошлом, знают, какими кругами мир, тот прошлый мир, пойдет, пошел, – мы, врачи, как пророки, знаем иногда будущее больного, например этого больного, каким кругом он пойдет, уже пошел. А сколько ошибок! Не только у врачей, но и у пророков.

(Простите, ребята, но мне очень важно восстановить все, будто бы вам, а на самом деле для себя. Не обращайтесь внимания на словоплексу.)

А потом опять ничего. Меня опять нет, я пошел по тому кругу, о котором я ничего не знал и не думал, а кто-нибудь около меня знал, может быть, и думал, и, может быть, неправильно знал и думал.

Я уже лежу на кровати, и постепенно воспоминания приобретают стройность, как память о юности, череда событий непрерывная, – во всяком случае, перерывов я не помню.

И вот, в результате, я где-то за городом, блюду свое здоровье, забочусь о физиологии своей, боюсь наступления физиологии патологической. Я уже боюсь всего.

Я боюсь, что, учитывая мое прошлое, мои поступки, мою невыдержанность и резкость (я уже не могу вспомнить, была ли до травмы и резкость у меня, и невыдержанность), не может ли психиатр признать меня сумасшедшим. Я уже вижу себя, живущего с клеймом, ярлыком. Я вспоминаю свою манеру гнусную ставить людям отметки, а иногда даже с презумпцией неодобрения наклеивать им этикетки.

И вот я думаю, как быть и как жить, чтобы не задавать глупых вопросов, как это сделал я, когда, по словам людей, наблюдавших мое возрождение после травмы, спрашивал: «Куда мы едем?» – а на ответ спрашивал: «А зачем?» – когда даже в своем бессознательном состоянии понял я, что на вопросы мои получил исчерпывающие ответы, то все же не удержался и спросил: «А почему стреляют?» Вопрос был глупый и нереальный. То есть не нереальный, а детский, так как я был еще в стадии детства, а только дети могут задать безответный вопрос: для чего стрелять, – когда слышат выстрелы, пусть они даже нереальные. Но воспоминания мои тогда еще не приобрели характера непрерывности. Я просто и сейчас дискретно вспоминаю.

И вот сижу и смотрю я в этом ресторане на банкет. Целый стол пьет и шумно приветствует свою начальницу. А может быть, это и не начальница, а просто очередная моя этикетка. А что я имею к начальницам? Если бы все начальницы были как моя – жизнь была бы возможна, а значит, и прекрасна. Мне все время встречаются люди прекрасные, но живут они в какой-то странной круговерти, но и от нее отказываться нет мочи и не хочу.

Около меня пьют, напротив люди пьют, все шумят, веселятся, а я берегу здоровье, жду, когда мне принесут чай, бифштекс и какие-нибудь витамины.

Чую и боюсь я, как наступает у меня, что бывает в жизни людей, когда выходит наружу все мерзкое и плохо прожитое и нереальное, и все могут увидеть тогда это все мерзкое твое и нереальное.

Я хожу спокойно, не дай Бог, поскользнусь, я не иду на работу, я жду, когда восстановлюсь, и, главное, боюсь не испортиться, не стухнуть, не сгнить, не быть с гнильцой.

Простите меня, ребята, за это гнусное письмо, но либо я схожу с ума, либо уже сгнил. Ведь так нельзя жить дальше. Не подумайте, что меня заботит водка и ее отсутствие в моем рационе, но к ней отношусь я как к символу (или как к знаку). Я уже не знаю, буду ли работать, смогу ли работать или буду вечно думать о своем восстановлении. Нужна ли кому-нибудь моя жизнь, может быть, уже обуза ближним я, но, по случаю своей травмы черепной, ничего не

понимаю уже. Может, я уже лишний. Может, Сашке буду я чугунными веригами... Гале... Впрочем, лучше уж не надо.

Вот и вам уже я и письменно даже стал неприятен, наверное...

«Кончаю. Страшно перечесть...» – радуюсь всем проявлениям своей памяти. Но все же перечел и увидел – ничего не написал, что хотел. Что же я все-таки думаю о случившемся. Перечитал – противно».

* * *

МИШКИН:

Я сидел в комнате, в глубоком кресле для больных феодалов. В таком вот, по моим представлениям, умирал граф Безухов. Сидел я, смотрел в стенку и ничего не делал. Не могу сказать, думал ли. Наверное. Не думать же не получается – как дышать. От нас не зависит.

Галя лежала на диване сбоку от меня. Я любил смотреть на нее в халате и шапочке. Из под халата торчали длинные ноги и черная юбка. Почему мне видится сейчас только черная юбка – не знаю. Поясок халата затягивается туго, до рюмочной талии, – высший шик. Шапочка надета кокетливо, но на самом деле кокетлива прическа, а уж шапочка надевается как получится, чтоб прическу не испортить – денег жалко за прическу. Помню, как в больницах женщинам, и сестрам и врачам, не разрешали красиво и разнообразно форму медицинскую под свои формы приспособлять. Краситься не разрешали. Чтоб все одинаковы были. Сплошными белыми шеренгами. Теперь даже белый цвет, слава Богу, у нас не обязателен в больницах. Как больной могу сказать – красивая и красиво одетая женщина в больнице мне всегда была приятней, чем белая серота однообразная. Как бы ни было тяжело – лучше пусть будет накрашена, чем халда и кулема, как мы, больные, называли некоторых.

Вот, наверное, об этом я и думал тогда. Когда не помню, думал ли.

И вот в этот момент приехали ребята.

Володька с Филлом шумно очень приехали, но, по-моему, это наигранный шум, они не знают, как вести себя со мной, и им не помогает и наше постоянное тридцатилетнее общение. А тут еще это дурацкое письмо, которое я написал и от которого мне и самому сейчас стыдно.

Володя. То, что тебе пить нельзя, мы знаем, но игнорируем. Мы будем пить, а ты терпи.

Филипп. Надо привыкать к тому, что пить ты начнешь не раньше чем через полгода, а нам с тобой жить всю жизнь, и эти полгода тоже.

А во мне ходят волны: то почти слезы умиления от их слов и радости общения, то вот-вот готов взорваться, считая их бестактными, неправыми и грубыми. Но потом срабатывает профессионализм, и начинаю понимать, что эти реакции и есть классическое черепное поведение, поведение и реакции черепного травматика.

Галя пошла погулять. Правильно. Нас надо оставить одних.

Володя. Ну что, надоело выздоравливать?

Я. Вы получили письмо? Я уже жалел, что написал. Но после травмы на меня иногда нападает такая тоска, что хоть вешайся. Чего только не сделаешь! После травмы!

Филипп. Ты ж совсем хорошо. В чем дело? По-моему, травма практически не оставила никакого следа.

Я. Объективно – пока нет. Но субъективно... я не тот. И еще неизвестно, что будет и объективно.

Володя. То есть?

Я. Ребята с работы дважды приезжали. Обидел я их, наверное.

Володя. Почему ты так думаешь?

Я. Я их во второй раз расспрашивал, что делается у нас, не рассказывают ничего толком. Они мне совершенно ничего не рассказывают.

Филипп. Привет от Джеймса Форсайта. Просто они не хотят тебя дергать служебной круговертью, пока не поправишься.

Я. Нет. Обидел.

Володя. Да как ты их мог обидеть?

Я. Да мы заговорили что-то о Пирогове. Кто-то осудил его за то, что он велел пороть гимназистов. Ну я и завелся на ровном месте. Я говорю – не так это было. А он говорит – как не так: когда стал попечителем учебного округа, предлагал детей пороть. А я говорю – версия Добролюбова это. А он мне – как же Добролюбова, когда Пирогов написал «Правила поведения», где был пункт о провинностях, за которые полагалась порка.

Филипп. А чего ты сейчас петушишься?

Володя. Пижон ты, Женька. Болезнь ничего не изменила, ты-то субъективно прежний.

Я. Тут меня вдруг какая-то неприязнь захлестнула, и я выдал целую речь. Что он лишь за отдельные грехи оставил телесное наказание, что сразу все и нельзя переделывать, что должны быть этапы, а то стимулируешь роды на четвертом месяце.

Володя. Да Бог с ними, Женя.

Я. А они мне опять про Добролюбова, про его правильный подход, про Кабаниху, про Обломова.

А тут, оказывается, уже и Галя пришла и тоже говорит: «Брось, Женечка, пойдем погуляем». Я на Галю вызверился: «Отстань, говорю, уйди, дай с ребятами поговорить». Тут у меня в поле зрения появилось мерцающее пятно, прозрачное и колеблющееся, как теплый воздух. Пятно стало увеличиваться больше, больше. И дальше я не помню.

А дальше было так.

Женя. Обломов, говорю им. Добролюбов. Да Обломов самый приятный, самый положительный, самый незлобный; самый добрый, честный и чистый герой русской литературы. И умер Обломов в добре, в любви, окруженный любящими и любимыми людьми – женой и детьми, во сне, как святой, не мучаясь. Он русский язык любил, как никто. Он дважды «что» написать не мог.

Прекращал писать. И Ольга ему не нужна была. Она чужая. Ольга тоже Штольц...

Володя. Женька, мы не успеваем ни за твоими мыслями, ни выпить. Подожди. Не торопись.

Женя. Понимаете, они думают, я уникам, а что они вкладывают в это? Я им и сказал, что Гончаров сравнивал доброго и честного Обломова, за которого боялся, за которого переживал, с делягой, который холодно забирает у честных и добрых их имущество, их дело, их все. Но забирают они не существенное, не главное – ольг, а их ольги и сами штольцы стремятся лишь к делам. А Обломов получил главное – и любовь и будущее, то есть детей. А будущее Штольца – дело, а не люди...

Филипп. Женя, Женя, погоди...

Володя. Подожди. Помолчи.

Женя. Нет. Не могу молчать. Я их обижал. Обижал в том разговоре. Обижал их личности. Я для них уникам, а я их обижал. Не они не думают о людях – я не думаю о людях. Это я, я, я не думаю о людях.

Галя подошла к Жене, положила руку на голову и стала тихонько гладить.

– Женя, Женечка, перестань, пожалуйста, потом доскажешь. Филипп. Брось ты городить. Хорошо они к тебе относятся.

Ждут, когда выйдешь на работу. Ты же никогда не делал им пакостей.

– Я их оскорблял. Оскорблял как личности. Показывал, что они не знают, а я знаю.

Володя. Бог с тобой. Ты говорил о Пирогове, Добролюбове, Обломове, при чем тут...

Женя. Плохо говорил. И оперировал с сознанием, что они так не могут еще. А еще Люда.

Володя. Ну так считай, что тебя настигло возмездие. Тебе же Филл как раз об этом и говорил. Возмездие – удел совестливых...

Женя еще активнее, еще быстрее, еще отрывистее стал говорить о своей глобальной вине, потом стал кричать на ребят, а потом сказал: «А ты молчи, а ты молчи» – и наконец замолчал, откинулся в кресле.

Было непонятно, спит ли он, просто так, может быть, откинулся или потерял сознание.

Галя прижимала его голову к спинке кресла.

Ребята растерянно смотрели на него, не понимая, что происходит.

Галя. Травматическая эпилепсия, по-видимому. Но хоть без судорожных припадков. – Она отвернулась от них. – Не трогайте его сейчас. Он быстро придет в себя. А может, и не эпилепсия.

Минуты через полторы Женя открыл глаза.

– Голова болит. Страшно болит голова. Такие частые приступы, ребята, просто ужас.

Галя, дай горячее полотенце.

Женя прижал ладони к щекам и к вискам, как бы поддерживая грозящую упасть голову.

Галя положила мокрое полотенце на лоб.

– Ой, горячо, горячо, держи, держи. Не могу.

Лег на диван плашмя. Лежал не долго, поднялся – будто уложили затылок на шляпки вбитых гвоздей.

Поднялся, подошел к замерзшему окну и уткнулся лбом в стекло.

– Ох, кажется, легче. Нет. Опять. – Он оторвался от стекла и побежал в уборную.

Галя взяла стакан с водой и пошла следом.

– Сейчас рвота будет.

Филипп. Мне всегда после рвоты легче, когда мигрень бывает.

Володя. Может, правда легче станет.

Галя. Не та головная боль. – По краю нижнего века у нее была небольшая насыпь, вернее, налив прозрачной жидкости.

Вернулся Женя бледно-зеленоватого цвета.

– Сделай укол, Галя. Володя. Какой укол?

Женя. Не нервничай. Не наркотик. Анальгин. Все управлять норовите.

Галя вытащила из шкафчика металлический футлярчик со шприцем и иглками.

– У нас всегда стерильный шприц есть. В спирте лежит.

– Я, ребята, полежу немного. Минут через пятнадцать легче станет.

Филипп. А почему укол, а не таблетка, если тот же анальгин?

Галя. Рвота же будет. Какая ж таблетка.

Оба замолчали. Один стал смотреть в газету, другой в окно.

Что он там увидит, кроме хитросплетений морозных узоров на стекле, разве только в просвете узорном разглядит снежную решетку, закрывающую от них остальной мир.

Молчали.

Ждали.

Они увидели это в первый раз. А сейчас все увидели, все молчат, ждут, а я вспоминаю, что увидел во время приступа.

* * *

– Женя, привет, как ты себя чувствуешь? Мы ждем тебя. Временно твои обязанности исполняет Наталья Максимовна.

Это Марина Васильевна пришла. Это ее бодряческие интонации. Да кто ж меня там ждет. Вздор какой. Сейчас начнет рассказывать про что угодно, лишь бы обойти хирургические дела.

– У нас сейчас опять КРУ работает. Опять поднимают все ведомости. Да, Галочка. С удовольствием выпью чайку. Спасибо. Подняли все ведомости и сравнивают, не наслаиваются ли где дежурства у совместителей. Подняли ведомости и в других районах. Не дай Бог, где-то совпадут часы. Высчитывают – и начет или на врача, или на администратора. Вычли из дежурства полчаса на обед и полчаса в конце дежурства перед началом рабочего дня – говорят, отдыхать должны врачи перед работой. А еще пришел приказ...

Никто не заметил. Марина Васильевна продолжает рассказывать. Галя ее слушает и смотрит на меня. Она заметила. Наверное, ничего не было. Ведь не было перед глазами этого пятна. Я просто отключился на минутку. Было. Выло пятно опять.

Пошел, пошел опять теплый воздух. Сейчас, сейчас начнется.

– Женечка, чаю будешь?

Да. Я хотел чаю.

* * *

– Здравствуйте, Евгений Львович.

– О о! Здравствуй, Людочка. Как ты себя чувствуешь?

– Хорошо, Евгений Львович, скоро экзамены на аттестат. Уже готовлюсь.

– А в какой институт?

– Только в медицинский.

– Ничего у тебя не болит, Людочка?

– Что вы, Евгений Львович, у меня все, все в порядке. Даже отметки. Я вам так благодарна, Евгений Львович, вы мне ближе сейчас, чем отец. Ему-то я не могу открыться. Как же вас угораздило так? Вы же должны быть вечно здоровы, до самой смерти.

* * *

– Женечка! Я тебя сто лет не видала.

– Да, не было у нас основы для общения. А я тебя, Нина, вечность не видал. А что такое вечность?

– Ты какой мрачный, милый доктор. Неужели из за болезни? Это же все преходяще.

– Сейчас я уже совсем развеселился. Все преходяще. А что у тебя за книга, Нина? Это я по привычке спрашиваю. Читаю мало.

– Только что купила...

– Про любовь или про войну?

– Про зверей.

– А охотники там есть?

– Нет.

– Значит, про любовь. Я все, Нина, делю на «про любовь» и «про войну». Ведь если подумать – все делится только так. «Гамлет» – про войну, «Война и мир» – про любовь, «Отелло» – про войну, «Король Лир» – про любовь...

– Хватит, хватит, Женечка, перечислять.

– Книга про...

– Да, Женя, чуть не забыла.

– О чем?

– Тебе от Люды большой привет, у нее все...

– Она у меня была. Как ты считаешь, Нина, разве есть проблема «быть или не быть»? Конечно же всегда «быть». А если вдруг проблема возникает – опять же, значит, «быть». А кому «не быть», так у того ничего не возникает. «Быть или не быть» – вот в чем не вижу вопроса.

– А ты знаешь, Женя, я окончательно решила уходить на другую работу.

– Уходить или не уходить – куда? «Вот в чем вопрос». Куда?

– В нейрохирургическое отделение.

– Вот будешь мне наркоз давать. Оперироваться или не оперироваться – вот в чем вопрос.

– А зачем тебе оперироваться?

– Вот и я говорю – зачем. Не для меня. Не людское это дело, чтобы в мозги лазить. Но с другой стороны, гематома там, наверно, – приступы частые. Рубцы убирать надо, спайки. Не знаю, что-то надо, но ведь эти операции одни из самых негарантированных. Не хочу оперироваться. Не хочу. Это война в мозгах. Это не место для войны. Мне кажется, в мозгах все, Нина!

– Какая там операция, успокойся, Женя, подожди, все пройдет!..

Вот опять, опять. Пошло пятно в глазах, начинается. Опять вселенная поползла в глаза. И опять прошло. Вспоминаю.

– Не могу больше, Галя. Скажи, пусть никто больше не ходит. Не могу я на каждого, от каждого в мир иной уходить. Только ребята, только ради них я готов это терпеть. Нужна операция, Галя. Я не хочу операции. Был бы рак – можно вырезать или не вырезать. Я понимаю этот риск, а это... Все всегда легче идут на риск, который понимают. А этот я не понимаю. Я не хочу никого пускать в мои мозги. Я и сам в них влез сейчас сверх меры всякой, мне это тоже не надо. Но больше я не могу. Я ж не живу. Зачем я себе такой, Сашке зачем, тебе?

– Женечка, подожди. Подожди с операцией. Они пока не дают гарантии, им еще не ясно.

– Да и я не хочу. Но что мне делать?! Галя!

Галя стоит у кресла, гладит его по голове ласково, нежно, ему хорошо от ее руки. Но это ж не может быть вечным лекарством.

– Держи, держи, Галь. Какие гарантии?

– А невропатологи надеются, что может пройти само.

– Вот я приду к людям и говорю им: вот люди, смотрите, я ваш хирург! А они меня вязать – потому какой я им хирург. Я уже ни с кем не могу разговаривать. Вот опять идет, идет.

Неизвестно, что он видел в этот раз. Очнувшись, он закричал категорически и решительно:

– Все! Делаем операцию. Все. И все начинаем сначала. Но я не хочу операции! Не хочу! Но будем, Галя.

Решительно!

ЗАПИСЬ ПОСЛЕДНЯЯ

Я опять на дежурстве, я опять «играю на гармошке у прохожих на виду». А на дежурстве...

Красный цвет ярок, бросок, назойлив. Его, может быть, совсем немного, а впечатление, что он заполнил все, и мне, хирургу, страшен красный цвет. Он даже на черном, когда делает черное еще черней, все равно ярок, бросок и назойлив.

Я разговаривал с больной, когда услышал шум втаскиваемых носилок, шепоток сопровождающих и говор фельдшеров «скорой помощи» и наших сестер. Первое, что я увидел, – много красного. Первое, что я подумал, – плохо дело, на всю ночь.

Больной лежит неподвижно, не стонет – шок. Кровь на носилках, на черной одежде его.

Сколько уже было их, вот таких, в крови, и обездвиженных, и безмолвных. Кто выписан – и я не знаю, что с ними теперь. Выписываются, и как в воду... Но где-то живы, наверное.

А кто и умер. Часто мы боролись, дрались за них (как принято писать про наше успешное лечение), хотя перед самым началом этой борьбы чаще всего хотелось спать. А часто мы и не успевали бороться или просто – лечить. Так и не леченные, они успевали умереть. И если мы не успевали начинать лечить, то этот мертвый так и оставался для нас совсем чужим трупом. И оттуда, от этого совершенно чужого для нас предмета, мы шли к другому больному или, если это была ночь и не было тяжелых больных, – спать. Или, если это утро, шли докладывать на конференцию или к студентам. И никогда не шли домой. А если была возможность идти домой, например в воскресенье, то все равно невозможно сразу уйти домой, а надо посидеть, покалякать, собраться с силами, а уж потом идти. Впрочем, если мы еще не полечили больного, то нам не надо набираться сил, чтобы уйти отдыхать. И ох как надо добирать сил, когда это твой, уже леченный тобой труп. Как это нелепо – леченный труп. А как сказать? Леченный больной? Но ведь это уже труп. Впрочем, какая разница, как говорить. Важно, как писать в истории болезни. А такие вещи в истории болезни не пишут. Так что эта важная проблема снимается. Не снимается только мысль, что это твой труп. Опять странная формула. Ну как же можно – твой труп? Мой труп? Разве я могу сказать про свой труп – мой труп? Уж лучше я об этом совсем не буду говорить. Но все, что связано с трупом, так странно, так занимает мысли. Вся эта пустая болтовня и есть добирание ушедших или просто отсутствующих сил. Накапливание.

Я увидел живого человека, лежащего как труп и в крови. Полыхнуло в глаза красным, засосало что-то внутри, понял я, что пропала ночь, стало страшно мне – а вдруг что-нибудь не успею, а вдруг что-нибудь не смогу. С ужасом я смотрел на красного и черного человека. Красно мне в глазах и черно, а где красное сливается с черным, там еще чернее.

Мой молодой коллега, студент на практике, стоявший в коридоре приемного покоя и активно беседовавший с кем-то, мгновенно сорвался с места и побежал к нам. Он такой солидный, этот коллега, а как бежит! Все равно не в этом надо торопиться. Надо торопиться, надо все скоро с больным делать. Что делать? Что?! Что?! Ну, кровь – она наверняка нужна, переливать нужно. Лучше бы быстро переливание налаживал, а не ногами быстро передвигал.

Второй дежуривший со мной коллега, наверное, увидел носилки из окна, потому что тоже бежит по лестнице к нам. Надо будет быстро разрезать одежду, сразу же шинки и срочно блокады. Планирую! – а еще неизвестно, что там у него с ногами, руками.

Еще один доктор, со «скорой», вошел вместе с носилками в коридор и измеряет давление. У этого доктора руки уже красные. Давления-то, конечно, нет. Доктора что набежали! – мне сейчас сестры нужнее. Они будут налаживать всякие капельницы, различные переливания. Впрочем, и они все уже здесь. И уже налаживают. И уже разрезают одежды. И у всех уже руки красные, а у меня и халат тоже красный.

Уже десять часов вечера, а я еще домой хотел позвонить. Уже никому сегодня звонить не буду.

Началась обычная работа. И переливание, и снимки, и вливания, а потом был наркоз, был массаж сердца, было искусственное дыхание.

Он, больной, живет. Он – не труп. Мы его вывели из этого состояния. Опять все непонятно. Можно ли смерть, то есть остановку сердца и отсутствие дыхания, считать состоянием. Наверное, это уже не состояние. Опять болтовня – опять собирание сил.

Около операционной, в дверях, стоят две санитарки и смотрят. Интересно. Интересен им конечный результат – будет жив или нет. А я никогда не могу сказать: «Будет жив». Но всегда хочу.

Мы уже оперируем, а они ушли. Пошли вниз, в приемный покой, и сейчас рассказывают, что и как тут делалось. И если там сейчас нет больных, все собрались вокруг, слушают, охают, ахают, языками цокают и думают, гадают, откуда человек, и кто, и кто у него остался дома. Пока он пишется у нас как неизвестный, но скоро милиция найдет, откуда он, привезет документы и родственники приедут, извещенные милицией, которая в этот раз не уберет их сон, а вовсе даже нарушит. Но сейчас мне все их переживания, выяснения происхождения человека, что ждет его дома и как кого будут искать, совершенно безразличны. Вот если он умрет, то да, и я могу принять участие в этих стенаниях. А сейчас мне его не жалко – сейчас я его лечу. Вдруг мне скажут, что у него дома семеро детей, а мне руку ему придется отрезать. Подумаю невзначай: «Чем же он на хлеб им зарабатывать будет?» – и задержусь с отрезанием руки.

Я оперирую, я латаю его, сшиваю ему кожу, кладу шинки. Уже два часа ночи. Часы висят в операционной. Стрелки припадочно скачут с черточки на черточку. Я этого не вижу, но вдруг в слух врывается прыжок стрелки. Это когда очень тихо – я слышу время. И когда у меня момент есть, создающий возможность время слышать. Вот когда я сам лежал с разбитой головой в больнице, тогда я мог следить за стрелкой глазами.

Операция кончается. Все идет хорошо – проверяем всякие там рефлексы, зрачки, давления. Дело идет на поправку. Тело идет на поправку.

Опять вздор. Чье тело? Куда идет? Идет некоторая перекачка сил. Мы отдали свои силы ему. У него прибавилось немного жизненных сил, у нас убавилось, правда ненадолго. Мы – лечащие, а он – лечимый, обе стороны несколько уравнили свои силы. Когда-то со мной уравнивали силы. Сначала при травме, потом в нейрохирургии. Мне еще оставили сил. Я могу еще переливать их. Обе стороны несколько уменьшили естественное беспокойство. Не помню, где-то я читал, что направление времени – это направление к уменьшению беспокойства к покою, а стало быть, к отсутствию. Ну, можно переводить в палату, там ему будет покойнее. Правда, здесь сейчас он пуп земли, человек номер один – все для него, и только для него, для него одного. И там он будет один из многих. На него напялят удивительные пижамы, разные тапочки.

Так я и растрчивал свои силы, частично с пользой – переливая в больного, частично бессмысленно – занимаясь совсем другим и впрямь ненужным. И снова силы набирал в болтовне иногда, в удовольствиях, в любви.

Я подошел к двери операционной. За ней темнел коридор отделения. У самой двери, у столика постовой сестры, сидят их целых три постовых. Рокошет, скачет и щебечет их оживленный перешепот.

– Так комната у тебя теперь двадцать метров?

– Какой там двадцать! – дом-то панельный. Мой-то на заводе получил квартиру. А вообще ничего, хорошая. Ну, не такая, чтоб очень.

Дальше был длинный текст с подробностями...

– А мебель-то есть?

– Мебель я уже купила. Гарнитур составила. Все уже есть – и кровати, и шкаф, сервант, стол, ну, в общем, все.

– Теперь еще холодильник нужен?

– Это я еще раньше купила. Хотела сначала маленький, но потом решила – все равно, один раз в жизни ведь. Купила большой, красивый.

– Значит, у тебя все есть?

– Вот телевизора нет, но мне обещали достать. Какой-то новый, большой.

«А я не хочу телевизор», – подумал и тут же взорвался, тут же стало скучно, тут же надоело слушать. (Как будто меня кто-то приглашал.) Мне стало очень обидно. Просто очень обидно – мы там льем кровь, льем силы, а тут!.. Будто сейчас делать нечего.

Я злобно прервал их болтовню, чем несколько скрасил свою обиду, велел им забирать больного в палату. Я знал, что еще рано это делать. Я знал, что они сейчас придут с каталкой, а им скажут: «Рано приехали, ждите». И ждать еще не меньше получаса. Как минимум полчаса. Но я был злобен. Я бессмысленно вылил силы. И свои тоже.

И вот они уже ждут в предоперационной, стоят и опять о чем-то говорят. Но я не слышал. Я не слушал.

В половине пятого больному стало опять хуже. И все вливания и переливания начались опять, но уже в палате.

Постовые сестры на этот раз тоже вместе с нами принимали участие во вливаниях, переливаниях, переливались теперь и их силы. И мои. Может, они мне в нейрохирургии добавили сил даже больше, чем было. А? Голова не болит. Силы есть. Наверно, перелили много сил мне. А если даже нет? Все равно. Караван продолжает идти. Будет идти. Должен идти. Идет.

Больного снова надо оперировать. Я пошел мыться... «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверно, оставит мне в подарок пятьсот эскимо».